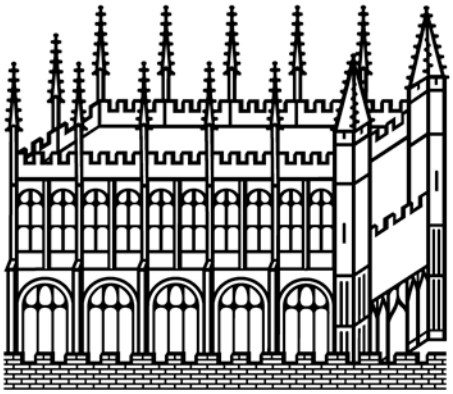


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

G3332.A1.1896 (3)
= Rep. Slav. 104
300 JJ
40

Presented to the Library
by Dr. Ivy Williams.
PROV.

Гоголь въ 1840-хъ гг.

(Съ маслянаго портрета Моллера.)

Сочиненія и письма

Н. В. Гоголя.

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій извѣстныхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Русскіе писатели:

Аксаковъ, С. Т., подъ редакціей *А. Г. Горнфельда;*
Андреевъ, Л. Н., со вступительной статьей проф. *М. А. Рейснера;*
Ан—скій, С. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Амфитеатровъ, А. В., подъ наблюденіемъ *автора;*
Айзманъ, Д. Я., подъ наблюденіемъ *автора;*
Гоголь, Н. В., подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Добролюбовъ, Н. А., подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
Достоевскій, Ѳ. М., съ многочисл. приложеніями;
Златовратскій, Н. Н., подъ наблюденіемъ *автора;*
Кольцовъ, А. В., подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
Крыловъ, И. А., подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Лазаревскій, Б. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Левитовъ, А. И., со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
Лермонтовъ, М. Ю., подъ ред. *Арс. И. Введенскаго;*
Максимовъ, С. В., со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
Мачтетъ, Г. А., подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго;*
Муйжель, В. В., подъ наблюденіемъ *автора;*
Невѣжинъ, П. М., подъ наблюденіемъ *автора;*
Никитинъ, И. С., подъ ред. *А. Г. Фомина*, со вступительной статьей *Ю. И. Айхенвальда;*
Немировичъ-Данченко, Вас. И., подъ наблюденіемъ *автора;*
Олигеръ, Н. Ф., подъ наблюденіемъ *автора;*
Осиповичъ, Н. М., подъ наблюденіемъ *автора;*
Островскій, А. Н., подъ ред. *М. И. Писарева;*
Помяловскій, Н. Г., съ біограф. очеркомъ *Н. А. Благовѣщенскаго*
Потѣхинъ, А. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Пушкинъ, А. С., подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
Соловьевъ, Н. Я., съ портретомъ *автора;*
Танъ, В. Г., подъ наблюденіемъ *автора;*
Толстой, Л. Н., подъ редакціей *А. М. Хирьякова;*
Шапиръ, Ольга, подъ наблюденіемъ *автора.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Сочиненія и письма

Н. В. Гоголя.

Редакція, вступительныя статьи и примѣчанія

В. В. Каллаша.

Томъ третій.

Арабески.

С.-Петербургъ.
Типо-лит. Акціонернаго О-ва „Самообразованіе",
Забалканскій просп., д. № 75.

LIBRARY OF THE TAYLOR INSTITUTION
UNIVERSITY
9 SEP. 1942
OF OXFORD

Бумага безъ примѣси древесной массы

Оглавленіе III тома.

	Текстъ	Примѣчанія.
	Стр.	
Вступительная статья	1	
Арабески, часть I:		
Предисловіе	10	407
Скульптура, живопись и музыка	11	408
О среднихъ вѣкахъ	17	408
Глава изъ историческаго романа („Гетьманъ“)	32	411
О преподаваніи всеобщей исторіи . . .	46	411
Портретъ	64	412
Взглядъ на составленіе Малороссіи . . .	117	413
Нѣсколько словъ о Пушкинѣ	130	413
Объ архитектурѣ нынѣшняго времени . .	138	414
Ал-Мамунъ (историческая характеристика)	164	414
Арабески, часть II:		
Жизнь	172	415
Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ	176	415
Невскій проспектъ	183	415
О малороссійскихъ пѣсняхъ	229	416
Мысли о географіи	239	416
Послѣдній день Помпеи (картина Брюлова)	251	416
Плѣнникъ (отрывокъ изъ историческаго журнала)	261	416
О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка .	269	416
Записки сумасшедшаго	303	416
Приложеніе. Портретъ (позднѣйш. редакція)	333	
Примѣчанія	407—416	

Списокъ иллюстрацій.

	Стр.
Гоголь въ 1840 гг. (съ маслянаго портрета Моллера)	1
Портретъ Н. В. Гоголя (работы А. А. Иванова)	16
Гоголь-студентъ въ 1827 г.	176
Яновщина. Домъ Гоголя	320

Вступительная статья.

Арабески.

Судя по предисловію къ „Арабескамъ", Гоголь придавалъ большое значеніе своему сборнику и во всякомъ случаѣ ждалъ для него успѣха. Надежды его не оправдались: „Арабески" шли очень туго, главнымъ образомъ, благодаря своему ученому багажу и не особенно сочувственному тону большинства рецензій.

Походъ противъ Гоголя открылъ Сенковскій въ своей „Библіотекѣ для чтенія" (1835 г., т. IX). Рецензенту очень не понравились и предисловіе Гоголя, и его ученыя статьи. „Не знаемъ, какъ и говорить о книгѣ. Мы думаемъ однако же, что молодой авторъ избралъ себѣ ложный путь... Книга его составлена изъ разнородныхъ статей, которыя можно раздѣлить на важныя и неважныя, т. е. на ученыя и шуточныя. Сперва объ ученыхъ. Все, что бы мы здѣсь ни сказали, не въ состояніи дать надлежащаго понятія объ уродливости сужденій и слога, о тяжкихъ грѣхахъ противъ вкуса, логики и простыхъ обыкновенныхъ познаній въ наукахъ и художествахъ, о напыщенности фразъ, внутренней пустотѣ мысли и дисгармоніи языка, какими отличаются эти „піесы, высказавшіяся отъ души, въ разныя эпохи жизни и не по заказу". Читаешь, и глазамъ своимъ не вѣришь!" Сенковскій смѣется надъ „любимыми куклами воображенія" Гоголя, готикой и средними вѣками. О повѣстяхъ, вошедшихъ въ „Арабески", Сенковскій отзывается глухо и слегка хвалитъ „Записки Сумасшедшаго" и „Невскій проспектъ".

Отзывъ Булгарина по своему тону и содержанію очень близокъ къ рецензіи Сенковскаго („Сѣвер. Пчела" 1835 г. № 73). Онъ злобно иронизируетъ надъ учеными претензіями Гоголя: „Авторъ, повидимому, обладаетъ обширными свѣдѣніями: онъ толкуетъ обо всемъ рѣшительно и смѣло, но, къ сожалѣнію, не всегда впопадъ. Часто онъ дѣлаетъ жестокіе промахи противъ общихъ

даже понятій о наукахъ и искусствахъ, противъ логики и истины, и почти всегда противъ языка и вкуса". Зато повѣсти кажутся Булгарину „замѣчательными во многихъ отношеніяхъ произведеніями". Въ „Портретѣ" видна „игривая, прихотливая и чудная" фантазія. „Нельзя не пожалѣть, что она не всегда управляется разборчивымъ вкусомъ и благородствомъ описываемыхъ предметовъ". Особенно хорошъ „Невскій проспектъ", въ которомъ „мастерски созданъ и развитъ характеръ живописца, характеръ фантастическій и чудовищный, достойный воображенія Гофмана". Пироговъ и нѣмцы очерчены тоже мастерски, но нѣсколько каррикатурно. Въ „Запискахъ Сумасшедшаго" „также много остроумнаго, смѣшного и жалкаго. Бытъ и характеръ нѣкоторыхъ петербургскихъ чиновниковъ схваченъ и набросанъ живо и оригинально".

Наиболѣе глубокій и интересный отзывъ объ „Арабескахъ" далъ Бѣлинскій въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя". Великій критикъ пришелъ въ восторгъ отъ „Невскаго проспекта". „Какой мастеръ г. Гоголь выдумывать... слова! Не хочу говорить о тѣхъ, о которыхъ и такъ уже много говорилъ, скажу только объ одномъ такомъ его словечкѣ, это — Пироговъ!.. Святители! Да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! О, единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ первообразовъ! Ты многообъемлющѣе, чѣмъ Шейлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! Ты представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые „любятъ потолковать объ литературѣ, хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча, и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ". Да, господа, дивное словцо этотъ — Пироговъ! Это символъ, мистическій миѳъ; это, наконецъ, кафтанъ, который такъ чудно скроенъ, что придется по плечамъ тысячѣ человѣкъ! О, г. Гоголь большой мастеръ выдумывать такія слова, отпускать такія bons mots! „Невскій проспектъ" есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу... Пискаревъ и Пироговъ — какой контрастъ! Оба они начали въ одинъ день, въ одинъ часъ преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ нихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ! Пискаревъ и Пироговъ! одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счаст-

ливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!.."

Нравятся Бѣлинскому и „Записки Сумасшедшаго". „Возьмите „Записки Сумасшедшаго", этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ, жалкою жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту каррикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира. Вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью; это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшитъ, и возбуждаетъ состраданіе".

Менѣе всего нравится Бѣлинскому „Портретъ".

„Портретъ" есть неудачная попытка г. Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ г. Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго живописи, потомъ эту мать, которая привела въ Черткову свою дочь, чтобы снять съ нея портретъ и которая бранитъ балы и восхищается природою, — и вы не откажете въ достоинствѣ этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно г. Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія".

Очень суровъ отзывъ Бѣлинскаго объ ученыхъ статьяхъ „Арабесокъ". „Я очень радъ, что заглавіе и содержаніе моей статьи избавляетъ меня отъ непріятной обязанности разбирать ученыя статьи г. Гоголя, помѣщенныя въ „Арабескахъ". Я не понимаю, какъ можно такъ необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать нѣкоторыя мѣста изъ исторіи Миллера, перемѣшать ихъ съ своими фразами значитъ написать ученую статью?.. Неужели дѣтскія мечтанія объ архитектурѣ — ученость?.. Неужели сравненіе Шлецера, Миллера и Гердера, ни въ какомъ случаѣ не идущихъ въ сравненіе, тоже — ученость?.. Если подобные этюды — ученость, то избавь насъ Богъ отъ такой

учености! Мы и безъ того богаты ею. Отдавая полную справедливость прекрасному таланту г. Гоголя, какъ поэта, мы, движимые чувствомъ той же самой справедливости, того же самаго безпристрастія, желаемъ, чтобы кто-нибудь разобралъ подробнѣе его ученыя статьи".

Подобно „Миргороду", „Арабески" стоятъ на перепутьи отъ романтизма къ реализму. Въ своихъ взглядахъ на исторію и народную поэзію, искусство, его роль въ жизни и отношенія къ дѣйствительности Гоголь всецѣло еще стоитъ на романтической почвѣ. Повышенная идеализація искусства, обостренный идеализмъ настроенія не могли не привести къ рѣзкимъ столкновеніямъ съ дѣйствительностью, болѣзненному разладу мечты и „существенности", глубокой грусти за мечту и ужасу передъ „потрясающей тиной мелочей" обыденной жизни. Не только въ научно-эстетическихъ статьяхъ, но и въ повѣстяхъ ярко проглядываетъ субъективное настроеніе автора; отношенія между искусствомъ и жизнью, мечтой и дѣйствительностью чаще всего рисуются ему въ видѣ безвыходнаго трагическаго конфликта: экзальтированный идеалистъ Пискаревъ гибнетъ при первомъ грубомъ столкновеніи съ пошлостью; гибнетъ Чертковъ, превратившій вслѣдствіе бѣдности и желанія иной, болѣе красивой и обезпеченной жизни искусство въ ремесло художникъ, написавшій портретъ ростовщика, платится; тяжелыми муками и душевнымъ спокойствіемъ за то, что перешагнулъ границы истиннаго реализма въ искусствѣ; экзальтація мечты, при слабости умственныхъ способностей, дѣлаетъ изъ мелкаго чиновника Поприщина Фердинанда VIII, короля испанскаго. Въ „Портретѣ" Гоголь даетъ даже апофеозъ религіознаго призванія искусства и поэта въ жизни, доходитъ до проповѣди эстетическаго аскетизма. Слѣдуя „романтической иронiи", онъ создаетъ „арабески" художественной фантазіи, капризную фантастику „Портрета".

Но въ то же время онъ, подчиняясь естественному развитію своего реалистическаго таланта, насыщенный впечатлѣніями петербургской жизни, даетъ яркія картины ея трагикомической призрачности, пошлой и вздорной суеты, удивительно рельефные типы петербургскихъ чиновниковъ, ремесленниковъ, столь знакомаго ему міра художниковъ; въ „Запискахъ Сумасшедшаго" уже ясно видны проблески общественной сатиры въ полномъ смыслѣ этого слова. Кое-что въ „Портретѣ" напоминаетъ романтическую повѣсть кн. Одоевскаго „Импрови-

заторъ", сказки Гофмана, ультра-романтическаго „Мельмота-Скитальца" Матюрена, но ростовщикъ въ значительной степени списанъ съ одного индѣйскаго купца, жившаго тогда въ Петербургѣ; заказчики Черткова взяты прямо изъ жизни. „Записки Сумасшедшаго" возникли изъ разсказа о сумасшедшемъ чиновникѣ, переданнаго случайно Гоголю и глубоко его заинтересовавшаго. Свѣжими наблюденіями надъ жизнью вѣетъ отъ картинокъ Невскаго проспекта и исторіи Пирогова.

Романтическая стихія все еще имѣетъ власть надъ душою писателя, но въ его творчествѣ уже вполнѣ опредѣлился поворотъ къ реальному изображенію дѣйствительности, глубокой общественной сатирѣ, „смѣху сквозь слезы". Въ этомъ заключается большой біографическій и историко-литературный интересъ „Арабесокъ".

Арабески.

Разныя сочиненія.

Собраніе это составляютъ піесы, писанныя мною въ разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Я не писалъ ихъ по заказу. Онѣ высказывались отъ души, и предметомъ избиралъ я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, безъ сомнѣнія, найдутъ много молодого. Признаюсь, нѣкоторыхъ піесъ я бы, можетъ быть, не допустилъ вовсе въ это собраніе, еслибы издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмѣсто того, чтобы строго судить свое прошедшее, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ настоящимъ. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. Притомъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще несказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго.

Я долженъ сказать о самомъ изданіи: когда я прочиталъ отпечатанные листы, меня самого испугали во многихъ мѣстахъ неисправности въ слогѣ, излишности и пропуски, происшедшіе отъ моей неосмотрительности. Но недосугъ и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли мнѣ пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смѣю надѣяться, что читатели великодушно извинятъ меня.

Часть первая.

Скульптура, живопись и музыка.

Благодарность Зиждителю миріадъ за благость и состраданіе къ людямъ! Три чудныя сестры посланы Имъ украсить и усладить міръ: безъ нихъ онъ бы былъ пустыня и безъ пѣнія катился бы по своему пути. Дружнѣе, союзнѣе сдвинемъ наши желанія и — первый кубокъ за здравіе скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посѣтила землю. Она — мгновенное явленіе; она — оставшійся слѣдъ того народа, который весь заключился въ ней, со всѣмъ своимъ духомъ и жизнію; она — ясный призракъ того свѣтлаго греческаго міра, который ушелъ отъ насъ въ глубокое удаленіе вѣковъ, скрылся уже туманомъ, и до котораго достигаетъ одна только мысль поэта. Міръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозами, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; міръ, несущійся въ стройной пляскѣ, при звукѣ тимпановъ, въ порывѣ вакхическихъ движеній, гдѣ чувство красоты проникло всюду: въ хижину бѣдняка, подъ вѣтви платана, подъ мраморъ колоннъ, на площадь, кипящую живымъ, своенравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающій чашу пиршества, изображающій всю вьющуюся вереницу граціозной миѳологіи, гдѣ изъ пѣны

волнъ стыдливо выходитъ богиня красоты, тритоны несутся, ударяя въ ладони, Посейдонъ выходитъ изъ глубины своей прекрасной стихіи — серебряный и бѣлый; міръ, гдѣ вся религія заключилась въ красотѣ, въ красотѣ человѣческой, въ богоподобной красотѣ женщины, — этотъ міръ весь остался въ ней, въ этой нѣжной скульптурѣ; ничто кромѣ ея не могло такъ живо выразить его свѣтлое существованіе. Бѣлая, млечная, дышащая въ прозрачномъ мраморѣ красотой, нѣгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человѣка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни было сильномъ порывѣ, но всегда въ ней человѣкъ является прекраснымъ, гордымъ и невольно остановитъ атлетическимъ, свободнымъ своимъ положеніемъ. Все въ ней слилось въ красоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаешь страдающій вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ, — такъ чувство красоты пластической, спокойной пересиливаетъ въ ней стремленіе духа! Она никогда не выражала долгаго глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свирѣпый гнѣвъ, мгновенный вопль страданія, ужасъ, испугъ при внезапности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собою нѣгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нѣтъ тѣхъ тайныхъ, безпредѣльныхъ чувствъ, которыя влекутъ за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бѣгущая, влача съ торжествомъ за собою толпу гордыхъ юношей. Она очарова-

тельна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ. Она родилась вмѣстѣ съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмѣстѣ съ нимъ. Напрасно хотѣли изобразить ею высокія явленія христіанства: она такъ же отдѣлялась отъ него, какъ самая языческая вѣра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной сладострастной наружности. Онѣ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двѣ сестры ея — живопись и музыка, которыхъ христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исполинское. Его порывомъ онѣ развились и исторгнулись изъ границъ чувственнаго міра. Мнѣ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... свѣтлѣе сіяй, покалъ[1] мой, въ моей смиренной кельѣ, и да здравствуетъ живопись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ своемъ убранствѣ, мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и обширная, какъ вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровеній. Никогда не были разлиты по ней тѣ тонкія, тѣ таинственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя, слышишь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вотъ мелькаютъ, какъ въ облачномъ туманѣ, длинныя галлереи, гдѣ изъ старинныхъ позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную отъ неумолимаго времени, и передъ тобою стоитъ, сложивши накрестъ руки, безмолвный зритель; и уже нѣтъ въ его лицѣ наслажденія,—взоръ его дышитъ наслажденіемъ не здѣшнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націи, — нѣтъ, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имѣетъ таинственно-высокій міръ

[1] Бокалъ.

христіанскій! Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: какъ вдохновенень и дологъ ясный взоръ ея! Она не схватываетъ одного только быстраго мгновенія, какое выражаетъ мраморъ; она длитъ это мгновеніе, она продолжаетъ жизнь за границы чувственнаго, она похищаетъ явленія изъ другого, безграничнаго міра, для названія которыхъ нѣтъ словъ. Все неопредѣленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредѣляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Страданіе выражается живѣе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она беретъ уже не одного человѣка, ея границы шире: она заключаетъ въ себѣ весь міръ; всѣ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человѣка съ природою — въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильнѣе шипи, третій покалъ мой! Ярче сверкай и брызгай по золотымъ краямъ его звонкая пѣна, — ты сверкаешь въ честь музыки. Она восторженнѣе, она стремительнѣе обѣихъ сестеръ своихъ! Она вся — порывъ; она вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ. Она властительно ударяетъ, какъ по клавишамъ, по его нервамъ, по всему его существованію и обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ, — онъ самъ превращается въ страданіе: душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ своею жизнію, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ, разлилась и дышитъ въ тысячѣ

разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣй и восторженнѣй подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремитъ она въ одно согласное движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружитъ и несется съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи остроконечной башни.

Какъ сравнить васъ между собою, три прекрасныя царицы міра Чувственная, плѣнительная скульптура внушаетъ наслажденіе, живопись — тихій восторгъ и мечтаніе, музыка — страсть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведеніе скульптуры, духъ невольно погружается въ упоеніе; разсматривая произведеніе живописи, онъ превращается въ созерцаніе; слыша музыку — въ болѣзненный вопль, какъ бы душою овладѣло только одно желаніе вырваться изъ тѣла. Она — наша! Она — принадлежность новаго міра! Она осталась намъ, когда оставили насъ и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынѣшнее время, когда наступаетъ на насъ и давитъ вся дробь прихотей и наслажденій, надъ выдумками которыхъ ломаетъ голову нашъ XIX вѣкъ. Все составляетъ заговоръ противъ насъ; вся эта соблазнительная цѣпь утонченныхъ изобрѣтеній роскоши сильнѣе и сильнѣе порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждемъ спасти нашу бѣдную душу, убѣжать отъ этихъ страшныхъ обольстителей и — бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, спасителемъ, музыка! Не оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй рѣзче своими звуками по дремлющимъ нашимъ чувствамъ! Волнуй, разрывай ихъ и гони, хотя на мгновеніе, этотъ холодно-ужасный эгоизмъ, силящійся овладѣть нашимъ

міромъ! Пусть, при могущественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствуетъ, хотя на мигъ, угрызеніе совѣсти, спекуляторъ растеряетъ свои разсчеты, безстыдство и наглость невольно выронитъ слезу предъ созданіемъ таланта. О, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зиждитель міра повергъ насъ въ нѣмѣющее безмолвіе своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человѣку, Онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествѣ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаетъ гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздитъ ее къ небу и повергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру послалъ Онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древній міръ обратился въ ѳиміамъ красотѣ. Эстетическое чувство красоты слило его въ одну гармонію и удержало отъ грубыхъ наслажденій. Вѣкамъ неспокойнымъ и темнымъ, гдѣ часто сила и неправда торжествовали, гдѣ демонъ суевѣрія и нетерпимости изгонялъ все радужное въ жизни, далъ Онъ вдохновенную живопись, показавшую міру неземныя явленія, небесныя наслажденія угодниковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый вѣкъ ниспослалъ Онъ могущественную музыку — стремительно обращать насъ къ Нему. Но если и музыка насъ оставитъ, что будетъ тогда съ нашимъ міромъ?

1831.

Портретъ Н. В. Гоголя работы А. А. Иванова.
(1841)

О среднихъ вѣкахъ.

Никогда исторія міра не принимаетъ такой важности и значительности, никогда не показываетъ она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе вѣка. Всѣ событія міра, приближаясь къ этимъ вѣкамъ, послѣ долгой неподвижности, текутъ съ усиленною быстротою, какъ въ пучину, какъ въ мятежный водоворотъ, и, закружившись въ немъ, перемѣшавшись, переродившись, выходятъ свѣжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразованіе всего міра; они составляютъ узелъ, связывающій міръ древній съ новымъ; имъ можно назначить то же самое мѣсто въ исторіи человѣчества, какое занимаетъ въ устроеніи человѣческаго тѣла сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходятъ всѣ жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразованіе? какія удержались въ немъ старыя стихіи? что прибавлено новаго? какимъ образомъ онѣ смѣшались? что произошло отъ этого смѣшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе вѣковъ новыхъ? — это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей исторіи. Все, что мы имѣемъ, чѣмъ пользуемся, чѣмъ можемъ похвалиться передъ другими вѣками, все устройство и искусное сложеніе нашихъ административныхъ частей, всѣ отношенія разныхъ сословій между собою, самыя даже сословія, наша

религія, наши права и привилегіи, нравы, обычаи, самыя знанія, совершившія такой быстрый прогрессивный ходъ, — все это или получило начало и зародышъ, или даже развилось и образовалось въ темные, закрытые для насъ средніе вѣка. Въ нихъ — первоначальныя стихіи и фундаментъ всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслѣдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ея похожи на посѣтителей фабрики, которые изумляются быстрой отдѣлкѣ издѣлій, совершающейся почти передъ глазами ихъ, но позабываютъ заглянуть въ темное подземелье, гдѣ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчокъ всему: такая исторія похожа на статую художника, не изучившаго анатоміи человѣка.

Отчего же, несмотря на всю важность этихъ необыкновенныхъ вѣковъ, всегда какъ то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь къ нимъ, всегда спѣшили скорѣе пройти ихъ и отдѣлаться отъ нихъ, и рѣдкіе, очень рѣдкіе, пораженные величіемъ предмета, возлагали на себя трудъ разрѣшить нѣкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? Мнѣ кажется, это происходило отъ того, что средней исторіи назначали самое низшее мѣсто. Время ея дѣйствія считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невѣжественнымъ, и оттого то оно и въ самомъ дѣлѣ сдѣлалось для насъ темнымъ, раскрытое не вполнѣ, оцѣненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величіи. Невѣжественнымъ можно назвать развѣ только одно начало, но это невѣжественное время уже имѣетъ въ себѣ то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліянія двухъ жизней, древняго міра и новаго, это рѣзкое противорѣчіе ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихіи стараго міра, которыя тянутся по новому пространству, какъ рѣки, впавшія въ

море, но долго еще не сливающія своихъ прѣсныхъ водъ съ солеными волнами; эти дикія, мощныя стихіи новаго, упорно не допускающія къ себѣ чуждаго вліянія, но, наконецъ, невольно принимающія его; это стараніе, съ какимъ европейскіе дикари кроятъ по своему римское просвѣщеніе; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще неопредѣленныхъ, не получившихъ ни образа, ни границъ, ни порядка; самый этотъ хаосъ, въ которомъ бродятъ разложенныя начала страшнаго величія нынѣшней Европы и тысящелѣтней силы ея, — они всѣ для насъ занимательнѣе и болѣе возбуждаютъ любопытства, нежели неподвижное время всесвѣтной римской имперіи подъ правленіемъ ея безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно занимались исторіею среднихъ вѣковъ, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней. На нее глядѣли, какъ на кучу происшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толпу раздробленныхъ и безсмысленныхъ движеній, не имѣющихъ главной нити, которая бы совокупляла ихъ въ одно цѣлое. Въ самомъ дѣлѣ, ея страшная, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться чѣмъ то хаоснымъ; но разсматривайте внимательнѣе и глубже, — и вы найдете и связь, и цѣль, и направленіе. Я, однакоже, не отрицаю, что, для самаго умѣнья найти все это, нужно быть одарену тѣмъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидѣть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Послѣ ихъ волшебнаго прикосновенія, происшествіе оживляется и пріобрѣтаетъ свою собственность, свою занимательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и безсмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно,

если только о немъ сохранились вѣрныя лѣтописи, выключая развѣ совершенное безстрастіе народовъ; вездѣ есть нить, какъ во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываетъ заткана утокомъ; какъ въ лучистомъ камнѣ есть невидимый свѣтъ, который онъ отливаетъ, будучи обращенъ къ солнцу — она исчезаетъ только съ утратою извѣстій. Такъ и въ первоначальныхъ вѣкахъ средней исторіи, сквозь всю кучу происшествій, невидимою нитью тянется возрастаніе папской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія происходили совершенно отдѣльно и блескомъ своимъ затемнили уединеннаго, еще скромнаго римскаго первосвященника; дѣйствовалъ сильный государь или его вассалъ, и дѣйствовалъ лично для себя, а между тѣмъ существенныя выгоды незамѣтно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандтъ только отдернулъ занавѣсъ и показалъ власть, уже давно пріобрѣтенную папами.

Исторія среднихъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живого дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готѳскія руны, на другомъ блеститъ римская позолота; арабская рѣзьба, греческій карнизъ, готическое окно— все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внѣшній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность,

дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тѣ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжетъ средней исторіи есть папа. Онъ — могущественный обладатель этихъ молодыхъ вѣковъ, онъ движетъ всѣми силами ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ мановеніемъ своимъ правитъ ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія папы. — Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проницательности и мудрости, — слѣдствія старческаго возраста, — его деспотизмъ и деспотизмъ безчисленныхъ легіоновъ его могущественнаго духовенства — ревностныхъ подданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желѣзныя оковы на всѣ углы міра, куда ни проникло знаменіе креста — представляютъ явленіе единственное, колоссальное и не повторявшееся никогда. — Не стану говорить о злоупотребленіи и о тяжести оковъ духовнаго деспота. Проникнувъ болѣе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидѣнія: не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанію народы — и Европа разсыпалась бы, связи бы не было; нѣкоторыя государства поднялись бы, можетъ быть, вдругъ и вдругъ бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосѣдямъ; образованіе и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновѣсія, которое такъ удивительно ее содержитъ; она бы долѣе была въ хаосѣ, она бы не слилась, желѣзною силою энтузіазма, въ одну стѣну, устранившую своею крѣпостью восточныхъ завоевателей, и, можетъ быть, безъ этого великаго явленія,

Европа уступила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, вмѣсто креста. — Невольно преклонишь колѣна, слѣдя чудные пути Провидѣнія: власть папамъ какъ будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолженіе этого времени юныя государства окрѣпли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнутъ возраста повелѣвать другими; чтобы сообщить имъ энергію, безъ которой жизнь народовъ безцвѣтна и безсильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть папы, какъ исполнившая уже свое предназначеніе, какъ болѣе уже ненужная, вдругъ поколебалась и стала разрушаться, несмотря на всѣ сильныя мѣры, на все желаніе удержать гибнущія силы свои. Власть ихъ въ этомъ отношеніи была то же, что подмостки и лѣсъ для постройки зданія: въ началѣ они выше и кажутся значительнѣе самого строенія; но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслію о среднихъ вѣкахъ невольно сливается мысль о крестовыхъ походахъ — необыкновенномъ событіи, которое стоитъ, какъ исполинъ, въ срединѣ другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдѣ, въ какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величіемъ? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порожденіе ненависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочокъ земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нѣтъ! ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не входятъ сюда: всѣ проникнуты одною мыслію — освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текутъ съ крестами со всѣхъ сторонъ Европы; короли, графы — въ простыхъ власяницахъ; монахи, препоясанные оружіемъ, стано-

вятся въ ряды воиновъ; епископы, пустынники, съ крестами въ рукахъ, предводятъ несмѣтными толпами — и всѣ текутъ освободить свою вѣру. Владычество одной мысли объемлетъ всѣ народы. Нѣтъ ли чего то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпріятіемъ. Не странно ли было бы, еслибы отрокъ заговорилъ словами разсудительнаго мужа? Они были порожденіе тогдашняго духа и времени. Предпріятіе это — дѣло юноши, но такого юноши, которому опредѣлено быть геніемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидѣнныя слѣдствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидѣть свѣтъ, который часто заслоняло отъ нея духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть свѣта, гдѣ потухающее аравійское просвѣщеніе силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжируетъ по Азіи. Не въ правѣ ли мы изумляться? Обыкновенно, какой-нибудь выходецъ изъ земли образованной одинъ приноситъ просвѣщеніе и первыя свѣдѣнія въ неизвѣстную страну и постепенно образуетъ дикарей; но образованіе это тянется медленно, неровно. Здѣсь же, напротивъ, народы сами, всею своею массою, приходятъ за образованіемъ и, несмотря на долгое пребываніе, не сливаются со своими учителями, ничего не перенимаютъ у нихъ роскошнаго и развратнаго, удерживаютъ свою самобытность, при всемъ заимствованіи множества азіатскихъ обыкновеній, и возвращаются въ Европу европейцами, а не азіатцами. Я уже не говорю о тѣхъ слѣдствіяхъ, тѣхъ перемѣнахъ въ феодальномъ правленіи, для которыхъ нужно было временное удаленіе многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другія происшествія, наполняющія среднюю исторію. Они хотя, въ сравненіи съ крестовыми походами, могутъ почесться

второстепенными, но тѣмъ не менѣе всѣ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ вѣкамъ какой то фантастическій свѣтъ, всѣ — порожденіе юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ сильныхъ и великихъ надеждъ, часто безразсуднаго, но плѣнительнаго и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку времени. Возьмемъ то блестящее время, когда появились аравитяне — краса народовъ восточныхъ. И одному только человѣку и созданной имъ религіи, — роскошной, какъ ночи и вечера Востока, пламенной, какъ природа близкая къ Индійскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великія пустыни Азіи, — обязаны они всѣмъ своимъ блестящимъ, радужнымъ существованіемъ! Съ непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигаютъ свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго моря. И воображеніе ихъ, умъ и всѣ способности, которыми природа такъ чудно одарила араба, развиваются въ виду изумленнаго Запада, отпечатываясь со своею роскошью на ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же внезапно, какъ въ ихъ сказкахъ, кипящихъ изумрудами и перлами восточной поэзіи. Вѣкъ впередъ — и уже онъ исчезъ, этотъ необыкновенный народъ, такъ что въ раздумьи спрашиваешь себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или онъ — самое прекрасное созданіе нашего воображенія?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противоположности появленіе норманновъ — народа, котораго гнѣвный Сѣверъ свирѣпо выбросилъ изъ ледяныхъ нѣдръ своихъ. Горсть людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся по пятамъ мрачный ихъ Одинъ и снѣговыя горы Скандинавіи, наводитъ паническій страхъ на обширныя государства! По Сѣверному океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъ начальствомъ морскихъ своихъ королей, — и все падаетъ ницъ передъ этими

малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бѣдностію Скандинавіи и дикою религіею.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе монголовъ были также дѣломъ почти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азіи, которая была скрыта отъ глазъ всѣхъ народовъ, освѣтилась вдругъ въ самомъ страшномъ величіи. Эти степи, которымъ нѣтъ конца, озера и пустыни исполинскаго размѣра, гдѣ все раздалось въ ширину и безпредѣльную равнину, гдѣ человѣкъ встрѣчается какъ будто для того, чтобы собою увеличить еще болѣе окружающее пространство; степи, шумящія хлѣбомъ, никѣмъ не сѣяннымъ и не собираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями, — степи, гдѣ пасутся табуны и стада, которыхъ отъ вѣка никто не считалъ, и сами владѣльцы не знаютъ настоящаго количества, — эти степи увидѣли среди себя Чингисъ-Хана, давшаго обѣдъ передъ толпами своихъ узкоглазыхъ, плосколицыхъ, широкоплечихъ, малорослыхъ монголовъ завоевать міръ, и — многолюдный Пекинъ горитъ цѣлый мѣсяцъ, милліонъ народа выстрѣливается монгольскими стрѣлами, государь тунгусскій гибнетъ съ сотнями тысячъ подданныхъ на замерзшемъ озерѣ, стада пригоняются къ границамъ Индіи, табуны кишатъ при Волгѣ. Словомъ, какъ будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстраго распростаненія тоже не видала ни древняя, ни новая исторія.

Я уже ничего не говорю о важной торговлѣ Венеціи, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималъ одинъ городъ, и городъ безъ государства, выжимая золото со всего міра, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими всѣ моря, и дворцами при Адріатическомъ морѣ, далеко превосходили многихъ монарховъ. Этого явленія я не считаю единственнымъ

и необыкновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измѣненіями. Несравненно оригинальнѣе жизнь Европы во время и послѣ крестовыхъ походовъ, когда въ ней все еще темны и неопредѣленны границы государствъ; когда еще государь звучитъ однимъ именемъ своимъ, и вмѣсто того милліоны владѣльцевъ, изъ которыхъ каждый — маленькій императоръ въ своей землѣ; когда вся Европа облекается въ неприступные замки съ башнями и зубцами, и твердыя крѣпости усѣиваютъ ея поверхность; когда воспитанная взаимнымъ страхомъ и битвами сила рыцарей дѣлается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ желѣзо, тяжести котораго еще не выносилъ человѣкъ, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и сдѣлать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. Но какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ совершенную противоположность съ ихъ нравами! это — всеобщее безпредѣльное уваженіе къ женщинамъ. Женщина среднихъ вѣковъ является божествомъ: для нея турниры, для нея ломаются копья, ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы; для нея суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бѣгуна своего, налагаетъ на себя обѣты изумительные и неподражаемые по своей строгости къ себѣ, и все для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ея на нравы и того болѣе. Все благородство въ характерѣ европейцевъ было ея слѣдствіемъ. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какую то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ

и приключеній каждому и произведшая впослѣдствіи въ европейцахъ жажду къ открытію новыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани и битвы, вѣчно неспокойное положеніе, вмѣсто того, чтобы ослабить всеобщій духъ и напряженіе, какъ то обыкновенно дѣлается въ періодахъ исторіи, когда роскошь разъѣдаетъ раны нравственной болѣзни народовъ, и алчность выгодъ личныхъ выводитъ за собою низость, лесть и способность устремиться на всѣ утонченные пороки, — вмѣсто этого, они только укрѣпили и развили ихъ! Пороки народовъ образованныхъ не смѣли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидѣніе бодрствовало надъ нимъ неусыпно и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдалять рыцарей отъ ихъ обѣтовъ и строгой жизни, подогрѣвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный, — какъ появившіяся чудныя, небывалыя никогда дотолѣ общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совѣстью передъ народами Европы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существованія, что всегда составляло цѣль обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человѣка, и жить для всего человѣчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себѣ одно — защиту вѣры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явленіе? Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ вѣковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться отъ своей цѣли и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ жи-

вѣе привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тѣхъ, за которыми наложили на себя сами же смотрѣніе, — какъ возникаютъ уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, какъ высшія предопредѣленія, являющіеся уже не совѣстью передъ вѣтренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни обширныя земли, ни даже самая корона не спасаютъ и не отмѣняютъ произнесеннаго ими приговора. Незнаемые, невидимые, какъ судьба, гдѣ-нибудь въ глуши лѣсовъ, подъ сырымъ сводомъ глубокаго подземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и дѣла того, которому, посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассаловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гдѣ въ мірѣ власть выше его. И если эти подземные судьи разъ произносили обвиняющее слово — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняетъ къ себѣ приближеніе, напрасно его золото залѣпляетъ уста и заставляетъ всѣхъ прославлять его — неумолимый кинжалъ настигаетъ его на концѣ міра, крадется мимо пышной толпы придворныхъ и разитъ его изъ-за плеча друга. Не составляетъ ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дѣйствуетъ человѣкъ, оторванный отъ общества, лишенный покрова законной власти, не знающій, что такое слово: „невозможность“.

А самый образъ занятій, царствовавшій въ срединѣ и концѣ среднихъ вѣковъ, — это всеобщее устремленіе всѣхъ къ чудесной наукѣ, это желаніе выпытать и узнать таинственную силу въ природѣ, эта алчность, съ какою всѣ ударились въ волшебство и чародѣйственныя науки, на которыхъ ясно кипитъ признакъ европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не развились и не достигли нынѣшняго совершенства! Самая даже

простодушная вѣра ихъ въ духовъ и обвиненія въ сообщеніи съ ними имѣютъ для насъ уже необыкновенную занимательность. А занятія алхиміею, считавшеюся ключемъ ко всѣмъ познаніямъ, вѣнцомъ учености среднихъ вѣковъ, въ которой заключилось дѣтское желаніе открыть совершеннѣйшій металлъ, который бы доставилъ человѣку все! Представьте себѣ какой-нибудь германскій городъ въ средніе вѣка, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые готическіе домики и среди нихъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся стѣнамъ котораго лѣпится мохъ и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говоритъ въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы докладываетъ о неусыпномъ бодрствованіи старца, уже посѣдѣвшаго въ своихъ исканіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою, — и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой, и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгарающееся даже отъ неудачи — первоначальная стихія всего европейскаго духа — которое напрасно преслѣдуетъ инквизиція, проникая во всѣ тайныя мышленія человѣка: оно вырывается мимо и, облеченное страхомъ, еще съ бо̀льшимъ наслажденіемъ предается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? Какое мрачное и ужасное явленіе! Инквизиція свирѣпая, слѣпая, владѣвшая безчисленными сводами и подземельями монастырей, не вѣрящая ничему, кромѣ своихъ ужасныхъ пытокъ, на которыхъ человѣкъ показалъ адскую изобрѣтательность; инквизиція, выпускавшая изъ-подъ монашескихъ мантій свои желѣзные когти, хватавшіе всѣхъ безъ различія, кто только

ни предавался страннымъ и необыкновеннымъ занятіямъ; подтвердившая великую истину, что если можетъ физическая природа человѣка, доведенная муками, заглушить голосъ души, то въ общей массѣ всего человѣчества душа всегда торжествуетъ надъ тѣломъ.

Не единственны ли всѣ эти явленія? Не даютъ ли они права назвать средніе вѣка вѣками чудесными? Чудесное прорывается при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ, — юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшіе о слѣдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имѣвшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все было въ нихъ — поэзія и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Перемѣна слишкомъ ощутительна, и состояніе души вашей будетъ похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мѣрно и стройно совершающія правильное теченіе. Дѣйствія человѣка въ среднихъ вѣкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія происшествія представляютъ совершенные контрасты между собою и противорѣчатъ во всемъ другъ другу; но совокупленіе ихъ всѣхъ вмѣстѣ, въ цѣлое, являетъ изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человѣка съ жизнію цѣлаго человѣчества, то средніе вѣка будутъ то же, что время воспитанія человѣка въ школѣ. Дни его текутъ незамѣтно для свѣта, дѣянія его не такъ крѣпки и зрѣлы, какъ нужно для міра, объ нихъ никто не знаетъ; но зато они всѣ — слѣдствіе порыва и обнажаютъ за однимъ разомъ всѣ внутреннія движенія человѣка, и безъ нихъ не состоялась бы будущая его дѣятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссаль-

ными событіями заключается время среднихъ вѣковъ! Великая имперія, повелѣвавшая міромъ, двѣнадцативѣковая нація, дряхлая, истощенная, падаетъ; съ нею валится полсвѣта, съ нею валится весь древній міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладіаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это ихъ начало. Оканчиваются средніе вѣка тоже самымъ огромнымъ событіемъ — всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ на воздухъ все и обращающимъ въ ничто всѣ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обнявшія. Власть папы подрывается и падаетъ, власть невѣжества подрывается, сокровища и всемірная торговля Венеціи подрываются, и когда всеобщій хаосъ переворота очищается и проясняется, предъ изумленными очами являются: монархи, держащіе мощною рукою свои скипетры; корабли, расширеннымъ взмахомъ несущіеся по волнамъ необъятнаго океана мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у европейцевъ, вмѣсто безсильнаго оружія, — огонь; печатные листы разлетаются по всѣмъ концамъ міра, — и все это результаты среднихъ вѣковъ. Сильный напоръ и усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только, чтобы сильнѣе произвесть всеобщій взрывъ. Умъ человѣка, задвинутый крѣпкою толщею, не могъ иначе прорваться, какъ собравши всѣ свои усилія, всего себя. И оттого то, можетъ быть, ни одинъ вѣкъ не представляетъ такихъ гигантскихъ открытій, какъ XV вѣкъ, которымъ такъ блистательно оканчиваются средніе вѣка, величественные, какъ колоссальный готическій храмъ, темные, мрачные, какъ его пересѣкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ разноцвѣтныя его окна и куча изузоривающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столпы и стѣны, оканчивающіяся мелькающимъ въ облакахъ шпицемъ.

Глава изъ историческаго романа [1].

Между тѣмъ посланникъ нашъ переѣхалъ границу, отдѣляющую нынѣ пирятинскій повѣтъ [2] отъ лубенскаго. Общихъ ѣзжалыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссіи, но почти каждому извѣстна была какая-нибудь проселочная, по мнѣнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, вѣшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня, слѣдъ означалъ ея уклоненія. Достаточно было только выѣхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлеговъ. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленнаго съ мѣстами, было то, что онъ долженъ былъ, на разстояніи 25 или 50 ружейныхъ выстрѣловъ, вывѣдывать и выспрашивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ повода и наклонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изрѣдка попадавшіеся кочки и пни срубленныхъ деревъ, заставляя спотыкаться вѣрнаго его товарища, борзаго коня, перерѣзывали разомъ

---

[1] Изъ романа подъ заглавіемъ: „Гетьманъ“. Первая часть его была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ; двѣ главы, напечатанныя въ періодическихъ изданіяхъ, помѣщаются въ этомъ собраніи. *Прим. Гоголя.*

[2] Уѣздъ

его думы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ низались въ головѣ его. Въ первый разъ еще случалось ему выполнять такое порученіе: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Глечикъ?... Какая нужда Казимиру до начальника какой то шайки, называвшаго себя полковникомъ миргородскаго полку?... Ему не объявлено было ничего удовлетворительнаго ни о характерѣ, ни о силѣ его, ни о томъ, какія онъ имѣетъ сношенія, и съ кѣмъ... Къ чему же эта осторожность, какую нужно было имѣть въ рѣчахъ съ нимъ? Зачѣмъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свѣдѣнія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чѣмъ могъ быть полезенъ такой отдаленный союзникъ?... Мысленно досадовалъ онъ на себя, что не вывѣдалъ обстоятельно объ этомъ отъ Бригитты: ей, безъ сомнѣнія, сколько-нибудь были извѣстны причины такого страннаго посольства. Солнце медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мѣняясь и разрываясь, летѣли по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тѣнь свою и притворяли мало-помалу ставни окошекъ, освѣщавшихъ свѣтлый Божій міръ. Въ это время путникъ нашъ, послѣ долгаго степного странствія, въѣхалъ въ лѣсъ. Раздѣтыя безжалостною осенью деревья сквозили, какъ рѣшето, и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объѣдки и битые ковши отъ недавняго пиршества, валялись неприбранные, и одинъ только шелестъ ихъ, ходя по лѣсу, давалъ знать о присутствіи въ немъ нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину лѣса темнѣло небо; рѣзкій вѣтеръ подымался съ поля и мчалъ заунывные свои вопли въ гущу лѣса. Путникъ поневолѣ задумался и остановилъ коня своего въ нерѣшимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла, и передъ нимъ торчалъ

одинъ только лѣсъ да неизвѣстность; какъ вдругъ громкій голосъ: „цобъ, цобъ!“ [1] поразилъ слухъ его, тяжело нагруженный возъ заскрипѣлъ, и пара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. Надобно вообразить себя на мѣстѣ путешественника, чтобы вполнѣ почувствовать радость такой встрѣчи. Луна въ это время вырѣзалась на небѣ. Серебряный свѣтъ, перепутанный тѣнью отъ деревъ, палъ рѣшоткою на землю, освѣтивъ далеко окрестность, и Лапчинскій увидѣлъ передъ собою дюжаго пожилого селянина. Сѣдые, закрученные внизъ, усы его гордо покоились на смугломъ, означенномъ рѣзкими мускулами лицѣ, которое такъ простодушно оттѣняла какая то азіатская безпечность. По чернымъ бровямъ серебрилась сѣдина, огонь вылеталъ изъ небольшихъ карихъ глазъ, и въ огнѣ томъ высвѣчивались поперемѣнно то хитрость, то простодушіе. На головѣ у него была черная казацкая шапка съ синимъ верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвѣтнымъ поясомъ, служилъ непроницаемыми латами отъ холода; сверхъ этого одѣянія, въ добавку, накинутъ былъ обыкновенный кобенякъ изъ толстаго смураго сукна, который и понынѣ носятъ малороссійскіе мужики. Изъ за пояса торчала пищаль и изогнутая татарская сабля, — оружіе, которое въ тогдашнія смутныя времена всякій казакъ, ратникъ и селянинъ почиталъ необходимостью всегда имѣть при себѣ.

— Помогай, Боже! — сказалъ онъ, остановивъ воловъ и обнаживъ увѣнчанную только на верхушкѣ кистью волосъ голову, въ знакъ того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымъ людямъ. Надобно припомнить, что Лапчинскій, въ избѣжаніе непріятностей, какимъ бы онъ неминуемо подвергнулся отъ жителей,

[1] Восклицанія, которыми въ Малороссіи погоняютъ воловъ.

не терпѣвшихъ всего, что только носило названіе ляха или принадлежало ляхамъ, принужденъ былъ перемѣнить щегольской костюмъ свой на скромное одѣяніе казацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвѣчалъ легкимъ наклоненіемъ головы на сіе привѣтствіе.

— Не знаешь ли, землякъ, — молвилъ онъ съ ласковымъ видомъ: — далеко ли отсюда до Ромодановскаго шляху?

— Не сумѣю, добродію, сказать вдругъ; повремените немножко! — Тутъ принялся онъ высчитывать, что выражали машинально сгибаемые имъ пальцы. — До Ромодановскаго шляху!.. Какъ бы вамъ сказать?.. оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что казаки наши немного было перетрусили: кто то пронесъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; такъ вамъ, добродію, чтобы не пришлось давать большихъ объѣздовъ. Впрочемъ, Богъ его знаетъ: я говорю это потому, что другіе говорятъ... такъ, можетъ быть, выберется и короткій путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Вотъ другое дѣло, еслибъ были поставлены столбы по дорогѣ, какіе, безъ сомнѣнія, сами, добродію, если бывали въ Польшѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ.

Не должно удивляться противорѣчіямъ, испестрявшимъ монологъ нашего поселянина. Кромѣ дѣйствительной неизвѣстности, малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ дѣлѣ. Малороссіянинъ и донынѣ ничего не скажетъ наобумъ, но разъ десять поправитъ себя, а иногда съ умысломъ запутаетъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленію своему, видитъ, что до такого то мѣста и далеко, и близко.

— Куда же, по крайней мѣрѣ, мнѣ теперь

держать путь? — спросилъ странникъ, вперивъ испытующій взоръ на своего наставника.

Тутъ селянинъ нашъ осмотрѣлъ его хорошенько съ головы до ногъ.

— А вы, добродію, хотите теперь ѣхать?

— Почему же не теперь?

— Богъ съ вами! теперь и нашъ братъ, здѣшній, уже, сильно подумавши развѣ, поѣдетъ. Знаешь, мосьпане[1], вѣдь намъ стоитъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ успѣетъ вымолотить полъ-копны жита, чтобы заслышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ!

Отъ такого предложенія нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидалъ.

— А куда, — спросилъ дорогою поселянинъ нашъ своего будущаго гостя: — лежитъ путь вамъ, мосьпане?

— Ѣду то я далеко, на ту сторону Ворскла, къ миргородскому полковнику Глечику. Что, землякъ, не знаешь ли и ты его?

— Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мѣстъ Богъ несетъ?

— Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею.

— Какъ же это, добродію, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею? — Тутъ вонзилъ онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотѣлъ выпытать его душу. — И то сказать! гдѣ уже мужику знать все про войсковыя дѣла; до нашего захолустья еще и слухи не дошли объ этомъ.

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розсказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ:

---

[1] Сударь.

— То есть, вотъ видишь, землякъ, навѣрное я еще не могу сказать. Въ самой то станицѣ я не былъ, а встрѣтившійся подъ Лохвицею запорожскій сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ѣду въ эти мѣста, далъ мнѣ грамотку къ миргородскому полковнику. Летѣлъ онъ, какъ угорѣлый; изъ разспросовъ его я ничего не могъ узнать навѣрное Недавно передъ тѣмъ возратился я изъ Варшавы... Видишь, онъ, можетъ быть, имѣлъ причины не довѣрять мнѣ... то есть.. онъ... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметъ то, что толкуютъ паны? Ей Богу, нѣтъ; гдѣ намъ понять! У насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чортъ знаетъ, что такое; больше на капусту похоже, чѣмъ на голову.

— О, да ты штука! — подумалъ про себя Лапчинскій и положилъ себѣ быть какъ можно осторожнѣе въ словахъ.

Онъ во все это время ѣхалъ шагомъ, уравнивая легкую поступь своего гордаго коня съ лѣнивою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шелъ селянинъ, помахивая батогомъ и потягивая коротенькую люльку [1]. Дымъ отъ нея обнималъ облаками смуглое лицо его, которое, освѣщаясь иногда вспыхивавшимъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и сѣявшимъ искры чуднаго огня. Это заставляло Лапчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобъ удостовѣриться, точно ли то былъ его товарищъ.

Но селянинъ нашъ самъ отгонялъ всякое насчетъ его сомнѣніе, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродію, про таковое диво?—

---

[1] Трубку. *Прим. Гоголя.*

говорилъ онъ, не выпуская изо рта своей трубки: — видишь ли сосну, вонъ далеко, далеко чернѣетъ передъ нами?

И путникъ, къ удивленію своему, точно, увидѣлъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей почти этой сторонѣ Малороссіи, на разстояніи, можетъ быть, по сту верстъ во всѣ стороны, взоръ не отыскивалъ этой суровой жилицы сѣвера? Невольно вперилъ онъ на нее глаза свои: она одна только по среди обнаженнаго лѣса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумія, которую съ изумленіемъ отыскиваютъ между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлѣніемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлетъ ее; но, Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается въ душу при взглядѣ на жалкій обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержать что то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а вотъ что диво. Лѣтъ за пятьдесятъ передъ тѣмъ, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть ли не на вотъ этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ великій панъ. Воевода ли онъ былъ, сотникъ ли какой, или просто панъ, этого я не умѣю сказать; знаю только, что онъ былъ ляхъ и не нашей вѣры. Жилъ онъ, какъ всѣ нечистые польскіе паны живутъ: домъ съ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пѣсенъ, и далече прохватывала дрожь крещенаго человѣка, когда онъ слышалъ раздававшіеся изъ лѣсу крики. Хлопцы изъ дворни его то и дѣло что наѣздничали по хуторамъ да обирали бѣдныхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дѣлали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы ихъ всѣхъ, добродію, — такъ нельзя, потому что дворни одной у нихъ было, можетъ, съ пол-

торы сотни, да и на каждаго бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Вотъ и вызвался одинъ дьяконъ, — какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ былъ, ей Богу, добродію, не знаю, — вызвался и пришелъ въ лѣсъ. Еслибы теперь не ночь и не засыпало листьемъ, то я, можетъ статься, показалъ бы вамъ останки этого дьявольскаго гнѣзда. На ту пору, — такъ, видно, самъ Богъ уже хотѣлъ, — былъ у нихъ какой то окаянный праздникъ. Дьяконъ шелъ уже на пропало, сказалъ: „Господи, благослови!“ и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толпившимся народомъ. Цымбалы и бандуры бренчали и гудѣли, словно на свадьбѣ, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидѣли дьякона, такъ, добродію, и закричали: „Зачѣмъ сюда принесло попа?“ А панъ говоритъ: „Гей, хлопцы, налейте-ка попу водки; пусть его танцуетъ съ нами, добрыми христіанами, краковякъ, да подгоняйте его хорошенько батожьемъ!“ Дьяконъ, исполнившись, видно, Святого Духа, началъ представлять нечестивымъ весь грѣхъ беззаконнаго житья ихъ, и какія на томъ свѣтѣ будутъ имъ муки, и какъ будутъ они плясать въ пеклѣ [1], только не по своей волѣ, а подгоняемые горячими вилами чертей. „А, такъ ты еще и проповѣдь читаешь! Гей, хлопцы! поднимите попа на крылосъ, а чтобъ не застудилъ горла, накиньте ему галстукъ на шею!“ И тутъ же челядь, съ нечеловѣчьимъ смѣхомъ и гиканьемъ, встащила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежитъ намъ путь. Позвольте, добродію: тутъ то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромами и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свѣтлицы. Вотъ, какъ ночь уже разогнала всѣхъ: кого на лавку, кого подъ лавку, пану на-

[1] Въ аду. *Прим. Гоголя.*

шему чудится, что на него каплетъ что то холодное. „Что за нечистый!“ подумалъ панъ: „отчего это каплетъ?“ Всталъ съ постели, глядитъ: колючія вѣтви сосны царапаются къ нему сквозь стѣну и, будто живыя, вытягиваются длиннѣе, длиннѣе и какъ разъ достаютъ до него. Перекрестился, можетъ быть, въ первый разъ отъ роду нашъ панъ, когда увидѣлъ, что изъ нихъ каплетъ человѣчья кровь, сначала холодная, какъ ледъ, а потомъ жжетъ да и только! Къ окну — такъ и ноги подкосились: сосна вся посинѣла, какъ мертвецъ, и страшно киваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думалъ панъ, не хмель ли бродитъ у него въ головѣ: такъ на слѣдующую ночь то же диво, и вся дворня въ одинъ голосъ, что по лѣсу то и дѣло, что отпѣваютъ усопшаго такимъ страшнымъ голосомъ, что всякаго морозъ дралъ по кожѣ, и волосы щетиною поднимались на головѣ. Чего ужъ не дѣлали: и погребли съ честью тѣло дьякона, и принимались было рубить сосну, — такъ сѣкира не беретъ: что ни ударятъ, топоръ вызубрится, а дерево стонетъ, будто дитя некрещеное. Рѣшились, наконецъ, бросить это окаянное мѣсто. Вотъ каждый день и соберется вся челядь, осѣдлаютъ коней, заберутъ все съ собою и выѣдутъ, еще черти не бьются на кулачки; ѣдутъ, ѣдутъ, до самаго вечера: кажись, Богъ знаетъ, куда заѣхали! остановятся ночевать — смотрятъ, знакомыя все мѣста: опять тотъ же дикій лѣсъ, тѣ же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вѣтви, словно руки, хватаетъ пана и обдаетъ его кровавыми пятнами, а черная всклокоченная борода такъ же жутко киваетъ ему...

Тутъ разсказчикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтилъ въ немъ впечатлѣніе, произведенное его разсказомъ. Дѣйствительно, пут-

никъ нашъ не могъ не ощутить какого то тайно врывавшагося въ душу страха и съ безпокойствомъ посматривалъ вокругъ.

Въ это время поравнялись они съ сосной. Серебряный свѣтъ падалъ на печальныя вѣтви ея, и отбрасывавшіяся отъ нихъ тѣни, будто продолженіе ихъ, переламливаясь о встрѣчныя деревья, ложились безконечною лѣстницею на землю. Вѣтеръ слегка покачивалъ вершину, и когда путникъ, немного проѣхавъ, оглянулся назадъ, то ему показалось, что какой то непріязненный духъ, принявъ дикій, величественный образъ, медленно слѣдовалъ за нимъ, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темнозеленыя объятія свои въ намѣреніи схватить его.

— Что же далѣе случилось? — спросилъ онъ умолкшаго разсказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустилъ всю свою дворню, сталъ схимникомъ и, какъ отправилъ пятьдесятъ двѣ панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же дѣлся послѣ того схимникъ, этого никто не скажетъ вамъ. Дня за три до Купала каплетъ съ этого дерева, день и ночь, роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья то душа таскается по лѣсу. Теща разсказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрѣтила однажды въ лѣсу дьявола въ красномъ жупанѣ, въ какомъ ходилъ и покойный панъ. Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вотъ мы, добродію, и пріѣхали.

Лапчинскій увидѣлъ дѣйствительно передъ собою низенькія ворота, рѣдко убитыя впоперекъ положенными досками, какія и теперь можно видѣть почти у каждаго малороссійскаго поселянина. Лай собакъ залился по лѣсу, и старая женщина, въ накинутомъ на плечи тулупѣ, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представился не-

большой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, нѣсколько сараевъ и хлѣвовъ, укрытыхъ такимъ же тростникомъ, и обыкновенная малороссійская хата. На дворѣ наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ многіе развѣшены были на деревьяхъ, нагибавшихъ со всѣхъ сторонъ любопытныя вѣтви свои во дворъ, какъ будто низкая буколическая [1] жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрѣлище. Позади двора тянулось еще какое то строеніе, котораго за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имѣніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному казаку: въ тогдашнія времена не у всякаго могло найтись подобное великолѣпіе.

Пока хозяинъ занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени разсмотрѣть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынѣ у простолюдиновъ Малороссіи: противъ дверей нѣсколько оконъ, передъ ними столъ, на которомъ замѣтилъ онъ ржаной хлѣбъ и соль, не снимавшіеся съ него никогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можетъ найти радушный пріемъ себѣ. Всю комнату обходили липовыя широкія и узкія лавки; у дверей громоздилась печь, съ отверзтіемъ внизу, заслоненнымъ частою рѣшеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, индѣйки и домашніе кролики. Каждый изъ сихъ безсловесныхъ жильцовъ суетился по своему: пищалъ, кудахталъ, гоготалъ и давалъ знать, что онъ нимало не послѣднее изъ твореній. На полу мальчишка лѣтъ четырехъ колотилъ огромнымъ подсолнечникомъ по опрокинутому горшку, между тѣмъ какъ другой, годомъ постарѣе, душилъ за горло кота, напѣвая какую то пѣсню, которую, вѣрно, отъ частаго повторенія его

[1] Идиллическая.

матери, заучилъ навѣки. Передъ большимъ, окованнымъ сундукомъ сидѣла дѣвочка лѣтъ одиннадцати, держа на рукахъ грудного ребенка, плакавшаго изо всѣхъ силъ, несмотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошедшимъ гостемъ. На стѣнѣ висѣли: серпъ, сабля, ружье, котораго замокъ былъ развинченъ и лежалъ близъ него на полкѣ (вѣроятно, отложенный для починки), сѣкира, турецкій пистолетъ, еще ружье, не отпущенная коса и коротенькая нагайка, — орудія, съ незапамятныхъ временъ вѣчно враждовавшія между собою, и которыя непонятный человѣкъ заставляетъ мириться, несмотря на несходныя ихъ свойства.

— Прошу не погнѣваться, добродію, что заставилъ васъ ждать немного! — сказалъ вошедшій хозяинъ: — такъ проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихъ поръ въ головѣ базаръ ходитъ. Счастье еще, что старухи моей нѣтъ дома, а то бы она вымыла мнѣ голову. Дома только насъ: я да теща.

При семъ словѣ вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. Съ какимъ то грустнымъ чувствомъ разсматривалъ ее путникъ. Казалось, передъ нимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человѣку всю ничтожность долголѣтія, къ коему такъ жадно стремятся его желанія. Могильное равнодушіе разливалось на усѣянныхъ морщинами чертахъ ея. Ни искры какой-нибудь живости въ глазахъ! мутные, они устремлялись порой на него; но тотъ бы обманулся, кто прочиталъ бы въ нихъ что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядѣли; имъ все казалось смутно, какъ не совсѣмъ проснувшемуся человѣку. Покамѣстъ предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отправилась на печь, всегдашнее

свое жилище, весь міръ свой, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всякій другой; а хозяинъ обратился къ дѣтямъ своимъ. „Ай да Ѳедотъ!“ говорилъ онъ, поднимая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: „гдѣ ты взялъ такой страшный сонечникъ?[1] Да этимъ ты какъ-нибудь человѣка убьешь! Ты что тамъ дѣлаешь, Карпо? кота душишь? Какой же я тебѣ гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что жъ ты стоишь и ротъ разинулъ? Вотъ, какъ видите, добродію, сто разъ толкую, что я его батька; до сихъ поръ не вѣритъ, ледача дѣтина![2] А ты, плакса, долго будешь ревѣть? А подайте мнѣ батогъ, вотъ я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчасъ за окошко: пусть тамъ съѣдятъ его волки, либо ляхи...“

— Тебя таки, землякъ, Богъ надѣлилъ дѣтьми? —сказалъ гость нашъ своему хозяину.

— Да, не безъ того, мосьпане! всѣхъ то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой сторонѣ, только чортъ знаетъ, какое приданое взяли за невѣстами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кромѣ полыни и бурьяну. Что жъ ты, Ѳедотъ, не скажешь спасибо? Панъ даетъ пряникъ, а онъ и не поклонится. Не извольте цѣловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мнѣ съ нимъ порядочныя хлопоты. Услышалъ, что ѣду на ярмарку. „Возьми и меня, тату!“[3] — „Да куда я тебя дѣну? тамъ тебя задавятъ!“ — „Нѣтъ, не задавятъ, возьми, да и возьми!“ — „Да тамъ теперь столько цыгановъ, что еще украдутъ тебя, и тогда поминай, какъ звали“. — „Возьми да и только!“ Что станешь дѣлать? плачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу унялъ его обѣщаніемъ привезти медоваго коня съ золотой голо-

---

[1] Подсолнечникъ, по малороссійскому произношенію. *Прим. Гоголя.*
[2] Негодный ребенокъ. *Прим. Гоголя.*
[3] Отецъ.

вою. Ну, Маруся, матери не зачѣмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять [1]; баба ужъ, вѣрно, спитъ!

Такъ до кого, добродію, — продолжалъ онъ, вдругъ оборотясь къ гостю и садясь за столъ: — говоришь ты, ѣдешь? У меня подъ старость голова, какъ дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, все пусто; сколько ни толкуй умныхъ рѣчей, все позабудетъ.

— Какъ, землякъ? развѣ я не сказалъ тебѣ, что до Глечика? — отвѣчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородскаго полковника? такъ нечего тебѣ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидитъ передъ тобою, мосьпане!

Еслибы въ это время пуля пролетѣла мимо ушей Лапчинскаго, онъ былъ бы менѣе удивленъ. Такъ внезапно, такъ неожиданно напасть на него врасплохъ, когда всѣ мысли его разбрелись... когда... Нѣтъ! не можетъ быть! онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, какъ бы желая удостовѣриться въ лживости того, о чемъ донесъ ему слухъ его.

1830.

---

[1] Ужинать.

О преподаваніи всеобщей исторіи.

I.

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значеніи, есть собраніе частныхъ исторій всѣхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цѣли, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видѣ, въ какомъ очень часто ее представляютъ. Предметъ ея великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинѣ все человѣчество — какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бѣднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынѣшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержалъ свободный духъ человѣка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невѣжествомъ, природой и исполинскими препятствіями — вотъ цѣль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно всѣ народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цѣлое, изъ нихъ составить одну величественную полную поэму. Происшествіе, не произведшее вліянія на міръ, не имѣетъ права войти сюда. Всѣ событія міра должны быть такъ тѣсно связаны между собою и цѣпляться одно за другое, какъ кольца въ цѣпи. Если одно кольцо будетъ вырвано, то цѣпь разрывается. Связь эту не должно принимать въ бук-

вальномъ смыслѣ: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связываютъ происшествія, или система, создающаяся въ головѣ независимо отъ фактовъ, и къ которой послѣ своевольно притягиваютъ событія міра. Связь эта должна заключаться въ одной мысли, въ одной неразрывной исторіи человѣчества, передъ которою и государства, и событія — временные формы и образы! Міръ долженъ быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ какомъ онъ являлся, проникнутый тѣми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочайшей степени, такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далѣе; чтобы онъ не въ состояніи былъ закрыть книгу или не дослушать, но еслибы и сдѣлалъ это, то развѣ съ тѣмъ только, чтобы начать сызнова чтеніе, чтобы очевидно было, какъ одно событіе раждаетъ другое, и какъ безъ первоначальнаго не было бы послѣдующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія.

II.

Все, что ни является въ исторіи: народы, событія — должны быть непремѣнно живы и какъ бы находиться предъ глазами слушателей или читателей, чтобъ каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія, которыя бы высказывали много, — черты самыя оригинальныя, самыя рѣзкія, какія только имѣлъ изображаемый народъ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простого глаза оттѣнки, нужно

терпѣніе перерыть множество иногда самыхъ неинтересныхъ книгъ. Но что уже одинъ узналъ, то другимъ передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь въ архивахъ.

III.

Преподаватель долженъ призвать на помощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т. е. для того только, чтобы показать мѣсто, гдѣ что происходило. Нѣтъ! Географія должна разгадать многое, безъ нея неизъяснимое въ исторіи. Она должна показать, какъ положеніе земли имѣло вліяніе на цѣлыя націи; какъ оно дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, вѣчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, измѣнила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустошительнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крѣпости народъ малочисленный; какъ это могучее положеніе земли дало одному народу всю дѣятельность жизни, между тѣмъ какъ другой осудило на неподвижность; какимъ образомъ оно имѣло вліяніе на нравы, обычаи, правленіе, законы. Здѣсь то они должны увидѣть, какъ образуется правленіе: что его не люди совершенно установляютъ, но нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли; что формы его оттого священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

IV.

Событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всѣми своими слѣдствіями, измѣнившими міръ: не такъ, какъ дѣлаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое то

происшествіе есть великое, тѣмъ и отдѣлываются, или приводятъ близорукія слѣдствія въ видѣ отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствѣ, вывесть наружу всѣ тайныя причины его явленія и показать, какимъ образомъ слѣдствія отъ него, какъ широкія вѣтви, распростираются по грядущимъ вѣкамъ, болѣе и болѣе развѣтвляются на едва замѣтные отпрыски, слабѣютъ и, наконецъ, совершенно исчезаютъ, или глухо отдаются даже въ нынѣшнія времена, подобно сильному звуку въ горномъ ущельи, который вдругъ умираетъ послѣ рожденія, но долго еще отзывается въ своемъ эхѣ. Эти событія должно показать въ такомъ видѣ, чтобы всѣ видѣли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетѣ.

V.

Теперь объ образѣ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей степени овладѣть вниманіемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекціи постороннимъ мыслямъ, то вся вина падаетъ на профессора: онъ не умѣлъ быть такъ занимателенъ, чтобы покорить своей волѣ даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное вліяніе происходитъ отъ того, если слогъ профессора вялъ, сухъ и не имѣетъ той живости, которая не даетъ мыслямъ ни на минуту разсыпаться. Тогда не спасетъ его самая ученость: его не будутъ слушать; тогда никакія истины не произведутъ на слушателей вліянія, потому что ихъ возрастъ есть возрастъ энтузіазма и сильныхъ потрясеній; тогда происходитъ то, что самыя ложныя мысли, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и

привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекутъ ихъ и дадутъ имъ совершенно ложное направленіе. Что же тогда, когда профессоръ еще, сверхъ того, облеченъ школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имѣетъ даже умственныхъ силъ доказать ихъ; когда юный, развертывающійся умъ слушателей, начиная понимать уже выше его, пріучается презирать его? Тогда даже справедливыя замѣчанія возбуждаютъ внутренній смѣхъ и желаніе дѣйствовать и умствовать наперекоръ; тогда самыя священныя слова въ устахъ, какъ то преданность къ Религіи и привязанность къ Отечеству и Государю, превращаются для нихъ въ мнѣнія ничтожныя. Какія изъ этого бываютъ ужасныя слѣдствія, это видимъ, къ сожалѣнію, нерѣдко. И потому то не должно упускать изъ вниманія, что возрастъ слушателей есть возрастъ сильныхъ впечатлѣній; и потому нужно имѣть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этотъ энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное; чтобы разсказъ профессора дышалъ самъ энтузіазмомъ. Его убѣжденія должны быть такъ сильны, такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидѣли истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажетъ на нее. Разсказъ профессора долженъ дѣлаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, долженъ быть простъ и понятенъ для всякаго. Истинно высокое одѣто величественною простотою: гдѣ величіе, тамъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться тѣмъ, что его нѣкоторые понимаютъ: его должны понимать всѣ. Чтобы дѣлаться доступнѣе, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія. Какъ часто понятное еще болѣе поясняется сравненіемъ! И потому эти сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное, и отвлеченное становится понятнымъ.

Онъ не долженъ говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вниманіе слушателей, и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадутъ возможности удержать всего въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непремѣнно должна имѣть цѣлость и казаться оконченною, чтобъ въ умѣ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видѣли вначалѣ, что она должна заключать въ себѣ и что заключаетъ; чрезъ это они сами въ своемъ разсказѣ всегда будутъ соблюдать цѣль и цѣлость. А это необходимѣе всего въ исторіи, гдѣ ни одно событіе не брошено безъ цѣли.

VI.

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, испытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего почитаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ, но сильныхъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобы они вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они не такъ скоро и не въ такой ясности постигнутъ весь механизмъ исторіи, — все равно, какъ нельзя узнать совершенно городъ, исходивши всѣ его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное мѣсто, откуда бы онъ виденъ былъ весь, какъ на ладони. Я набрасываю здѣсь эскизъ для того, чтобы показать вмѣстѣ, въ какомъ видѣ и въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ образомъ человѣчество началось Востокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ съ его древними патріархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таинственность, такъ непонятную для простого народа, кромѣ религіи евреевъ, между

коими сохранилось чистое первобытное вѣдѣніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградились другъ отъ друга, будто неприступною стѣною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводилъ невольно своею промышленностью въ сообщеніе эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свѣжимъ и сильнымъ народомъ, персами, подвергъ весь Востокъ своей власти и насильно соединилъ разнохарактерные народы; но нравы, религія, формы правленія остались въ государствахъ тѣ же, цари только обратились въ сатраповъ, и весь Востокъ видѣлъ надъ собою одну верховную власть царя царей, персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, вмѣстѣ съ своимъ царемъ царей, почти богомъ, невидимымъ для народа, поверглись въ азіатскую роскошь. — Здѣсь я останавливаюсь и обращаюсь къ другой части древняго міра, къ Европѣ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвѣтъ его, народъ греческій, съ живымъ, любопытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, поэтической религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важной таинственности Востока; какъ развернулось у нихъ просвѣщеніе въ такомъ необыкновенномъ блескѣ, и какъ, наконецъ, одинъ честолюбивый грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этотъ великій грекъ задумалъ гигантское дѣло: соединить Востокъ съ Европою и разнесть вездѣ греческое просвѣщеніе. И вотъ, чтобы связать тѣснѣе три части свѣта, строится городъ Александрія; герой умираетъ, всесвѣтная монархія падаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но подвиги его живы, плоды зрѣютъ: настаетъ знаменитый александрій-

скій вѣкъ, когда весь древній міръ толпится у гавани александрійской, когда греческіе ученые во всѣхъ городахъ, и національность опять исчезаетъ, народы опять смѣшиваются! А между тѣмъ въ Италіи, почти невидимо отъ всѣхъ, созрѣваетъ желѣзная сила римлянъ.

Я долженъ изобразить, какъ этотъ суровый, воинственный народъ покоряетъ одно за другимъ государства, обогащается награбленными богатствами, поглощаетъ весь Востокъ. Легіоны его проникаютъ въ тѣ земли Европы, гдѣ владѣніе уже не доставляетъ ничего нужнаго для человѣка. Уже Цезарь заноситъ ногу въ Британію, римскіе орлы на скалахъ Албіона... Между тѣмъ невѣдомыя степи средней Азіи извергаютъ толпы невѣдомыхъ народовъ, которыя тѣснятъ и гонятъ предъ собою другихъ, вгоняютъ ихъ въ Европу, сами несутся по пятамъ ихъ и грозно останавливаются на сѣверѣ, какъ зловѣщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ римлянъ германскими лѣсами и непроходимыми болотами. А между тѣмъ уже ни одного не остается независимаго царства. Весь міръ раздѣленъ на римскія провинціи. Римляне перенимаютъ все у побѣжденныхъ народовъ — сначала пороки, потомъ просвѣщеніе. Все мѣшается опять. Всѣ дѣлаются римлянами, и ни одного настоящаго римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрѣлищъ тиранствуютъ надъ міромъ,— въ нѣдрахъ его непримѣтно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірѣ зараждается новый! воплощается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и вѣчное слово, не понятое властелинами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таинственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ, на весь древній міръ непостижимо находитъ летаргическій сонъ, та страшная неподвижность, то ужасное онѣмѣніе жизни, когда просвѣщеніе не двига-

ется ни впередъ, ни назадъ, сила и характеръ исчезаютъ, все обращается въ мелкій, ничтожный этикетъ, жалкую, развратную безхарактерность. А въ Азіи, между тѣмъ, новый толчокъ, какъ электрическая искра, пробѣгаетъ по всей цѣпи: одинъ народъ тѣснитъ и гонитъ передъ собою другой, который въ свою очередь сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побѣдители міра употребляютъ всѣ усилія спасти себя: сначала откупаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляютъ себѣ войско защитниковъ, потомъ отдаютъ имъ, одну за другою, всѣ свои провинціи, — наконецъ, предаютъ имъ Римъ, и тѣ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бѣгутъ на востокъ; прочіе, невѣжественные и слабые, исчезаютъ въ сильныхъ толпахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европѣ, какъ основываются и принимаютъ крещеніе дикія государства въ границахъ, назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владѣніями, и какъ могущественный папа, прежде только римскій первосвященникъ, дѣлается государемъ, незамѣтно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свѣтскую. Между тѣмъ, на востокѣ остатки римлянъ тѣснятся и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ аравійскомъ полуостровѣ, подвигнутымъ до изступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупомѣшаннымъ энтузіастомъ — Магометомъ; какъ этотъ народъ, съ азіатской саблей въ рукахъ, распространялъ магометанство на мѣсто прежнихъ остатковъ греческаго просвѣщенія и какъ изумительно, быстро этотъ чудесный народъ изъ завоевателей дѣлается просвѣтителемъ, развертывается во всемъ блескѣ, съ своей роскошной фантазіей, глубокими

мыслями и поэзіей жизни, и какъ онъ вдругъ меркнетъ и затмевается выходцами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляетъ въ наслѣдство одно магометанство, какъ, почти въ то же время, въ Европѣ корсары сѣверныхъ морей, норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числѣ, грабятъ и овладѣваютъ цѣлыми государствами, наконецъ, перемѣняютъ дикую религію свою на христіанство и прибавляютъ Европѣ свою силу и нравы; а между тѣмъ папа мало-по-малу дѣлается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ нѣмецкій, котораго уважали всѣ народы, не смѣетъ противостать ему, и какъ, по мановенію его, цѣлые народы, вассалы, короли, оставляютъ свои земли, богатства, кладутъ пламенный крестъ на рамена и спѣшатъ съ энтузіазмомъ въ Палестину; какъ вся Европа, двинувшись съ мѣстъ, валится въ Азію, Востокъ сшибается съ Западомъ, и двѣ грозныя силы, христіанство съ магометанствомъ; какъ это великое событіе порождаетъ рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть вѣрными одной цѣли, и произошелъ самый сильно-религіозный христіанскій вѣкъ; какъ энтузіазмъ къ вѣрѣ перешелъ потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій эпизодъ всемірной исторіи: созидается безпримѣрная по величинѣ монархія Чингисханова, поглотившая всѣ азіатскія земли, неизвѣстныя европейцамъ. Въ Европѣ одни только монастыри имѣютъ землю и осѣдлость; все обратилось въ рыцарство, все кочуетъ, все неспокойно: каждый вмѣстѣ и воинъ, и полководецъ, и вассалъ, и повелитель, и слушается и не слушается, — вѣкъ величайшаго разъединенія и вмѣстѣ единства! Каждый управляется своей волей, и между тѣмъ всѣ согласны

въ одной цѣли и мысляхъ. Бѣдные поселяне, вытерпѣвъ чашу бѣдъ, наконецъ, рѣшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословіе гражданъ, города начинаютъ богатѣть, и на сѣверѣ Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзъ, связывающій всю сѣверную Европу своей торговлей. Между тѣмъ на югѣ возникаетъ порожденіе крестовыхъ походовъ — страшная торговлею Венеція, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Всѣ богатства Европы и Азіи невидимо перешли въ ея руки, и какъ папа религіозною властью, такъ Венеція непомѣрнымъ богатствомъ повелѣвала Европою. Духовный деспотъ употреблялъ всѣ силы убить ея торговлю, но все было напрасно, пока, наконецъ, генуэзскій гражданинъ не убилъ ее открытіемъ Новаго Свѣта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дѣйствій, какъ пала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью спѣшатъ въ Америку и вывозятъ кучи золота; Атлантическій и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время папскія миссіи проникаютъ въ сѣверо-восточную Азію и Африку — и міръ открывается почти вдругъ во всей своей обширности. Между тѣмъ въ Европѣ понемногу сомнѣваются въ справедливости папской власти, и какъ прежде торговлю Венеціи убилъ бѣдный генуэзецъ, такъ власть папы сокрушилъ августинскій монахъ Лютеръ. Какъ образовалась эта мысль въ головѣ смиреннаго монаха, какъ сильно и упрямо защищалъ онъ свои положенія! Какъ, при паденіи своемъ, папа становился грознѣе и изобрѣтательнѣе: ввелъ ужасную инквизицію и страшный невидимою силою орденъ іезуитскій, который вдругъ разсыпался по всему свѣту, проникъ во все, прошелъ вездѣ и тайно сообщался между собою на двухъ

розныхъ концахъ міра. — Но чѣмъ грознѣе становился папа, тѣмъ сильнѣе противъ него работали типографскіе станки. Вся Европа раздѣлилась на двѣ партіи, и эти партіи, наконецъ, схватились за оружіе, и война жестокая внутри и внѣ государствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не копьями и не стрѣлами производилась она, — нѣтъ! пушками, ядрами, громомъ и огнемъ, ужаснымъ и благодѣтельнымъ изобрѣтеніемъ монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнѣе. Я долженъ изобразить, какъ измѣнилась Европа послѣ этихъ войнъ. Государства, народы сливаются плотнѣе въ нераздѣльныя массы. Нѣтъ того разъединенія власти, какъ въ средніе вѣка. Она сосредоточивается болѣе въ одномъ лицѣ. И какъ отъ того сильные характеры становятся виднѣе, кругъ государей, министровъ, полководцевъ — обширнѣе! Самъ собою, невольно, завязывается въ Европѣ политическій союзъ, полагающій защищать оружіемъ неприкосновенность каждаго государства. А между тѣмъ неутомимые купцы-голландцы, вырвавшіе свою землю у моря, овладѣваютъ островами Восточнаго океана, берутъ милліоны за разводимыя на нихъ плантаціи драгоцѣнныхъ растеній Юга и, какъ прежде Венеція, схватываютъ торговлю всего міра, пока одинъ необыкновенный государь не подрываетъ ее и не покушается на неприкосновенность государствъ. Я долженъ изобразить блестящій вѣкъ, произведенный этимъ государемъ (Лудовикомъ XIV), когда Франція закипѣла издѣліями роскоши, фабриками, писателями, когда Парижъ сдѣлался всемірною столицею, куда съѣзжались со всей Европы, и французскій языкъ, французскіе нравы, французскій этикетъ и обычаи распространились по всей Европѣ. Но, нарушивши неприкосновенность чужихъ владѣній, этотъ честолюбивый король хотя

и разстроиваетъ торговлю голландцевъ, но вмѣстѣ разоряетъ свое государство и самъ убиваетъ свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне британскіе, которые до того медленно, но вѣрно близились къ своей цѣли, наконецъ, очутились почти вдругъ обладателями торговли всего міра: ворочаютъ милліонами въ Индіи, собираютъ дань съ Америки и, гдѣ только море, тамъ—британскій флагъ. Имъ преграждаетъ путь исполинъ XIX вѣка, Наполеонъ, и уже дѣйствуетъ другимъ орудіемъ — совершенно военнымъ деспотизмомъ; своими быстрыми движеньями оглушаетъ Европу и налагаетъ на нее желѣзное свое протекторство. Напрасно гремитъ противъ него въ англійскомъ парламентѣ Питтъ и составляетъ страшные союзы. Ничто не имѣетъ духа ему противиться, пока онъ самъ не набѣгаетъ на гибель свою, вторгнувшись въ Россію, гдѣ невѣдомыя ему пространства, лютость климата и войска, образованныя суворовскою тактикою, погубляютъ его. И Россія, сокрушившая этого исполина о неприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величіи на своемъ огромномъ сѣверо-востокѣ. Освобожденныя государства получаютъ прежній видъ и прежнія формы, утверждаютъ снова союзъ и неприкосновенность владѣній. Просвѣщеніе, не останавливаемое ничѣмъ, начинаетъ разливаться даже между низшимъ классомъ народа; паровыя машины доводятъ мануфактурность до изумительнаго совершенства, будто невидимые духи помогаютъ во всемъ человѣку и дѣлаютъ силу его еще ужаснѣе и благодѣтельнѣе, — и онъ, въ священномъ трепетѣ, видитъ, какъ Слово изъ Назарета обтекло, наконецъ, весь міръ.

Когда исторія міра будетъ удержана въ такомъ краткомъ, но полномъ, эскизѣ, и происшествія будутъ такъ связаны между собою, тогда ничто не улетитъ изъ головы слушателей, и въ умѣ ихъ не-

вольно составится цѣлое. Наконецъ, этотъ эскизъ, развившись въ великомъ объемѣ, составитъ полную исторію человѣчества.

VII.

Послѣ изложенія полной исторіи человѣчества, я долженъ разобрать отдѣльно исторію всѣхъ государствъ и народовъ, составляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Натурально, та же полнота, та же цѣлость должна быть видна и здѣсь въ обозрѣніи каждаго порознь. Я долженъ обнять его вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, когда было въ силѣ и блескѣ, когда и отчего пало (если только пало), и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится нынѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ на мѣсто его образовался новый и что принялъ отъ прежняго.

VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ память, по окончаніи курса необходимы повторительные обзоры. Но, чтобы повтореніе было успѣшнѣе, нужно стараться давать ему интересъ и занимательность новизны. Послѣ исторіи всего міра и отдѣльно каждой земли и народа, не мѣшаетъ сдѣлать обзоръ каждой части свѣта и тутъ показать все отличіе какъ ихъ, такъ и народовъ, въ нихъ находящихся, чтобъ слушатели сами могли вывесть результатъ:

Во-первыхъ, объ Азіи, этой обширной колыбели младенчествующаго человѣчества, землѣ великихъ переворотовъ, гдѣ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величіи народы и вдругъ стираются другими; гдѣ столько націй невозвратно пронеслись, одна за другою, а между тѣмъ формы правленія, духъ народовъ одни и тѣ же: все такъ же

важенъ, такъ же гордъ азіатецъ, такъ же быстро воспламеняется и кипитъ страстями, такъ же скоро предается лѣни и бездѣйственной роскоши. И вмѣстѣ съ симъ эта часть свѣта есть земля разительныхъ противоположностей и какого то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримомъ многолюдствѣ съ необозримыми табунами, а между тѣмъ на другомъ концѣ, гдѣ-нибудь въ пустынѣ, изступленный изувѣръ, изнуряя себя безконечнымъ постомъ, замышляетъ новую религію, которая впослѣдствіи обхватитъ всю Азію, одѣнетъ народъ, какъ непроницаемой бронею, своимъ изступленнымъ вдохновеніемъ и поведетъ его на разрушеніе; и тутъ же, можетъ быть, недалеко отъ него, находится народъ, уже перешедшій всѣ эти явленія и кризисы, уже погруженный въ роскошь, утомленный азіатскимъ пресыщеніемъ. Только здѣсь можетъ находиться та странная противоположность, которой дивимся въ деревѣ юга, гдѣ на одной вѣткѣ, въ одно время, одинъ плодъ цвѣтетъ, между тѣмъ какъ другой наливается, третій зрѣетъ, четвертый, переспѣлый, валится на землю.

Потомъ о Европѣ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдѣ существованіе народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдѣ все, напротивъ, порядокъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ въ тактъ, какъ регулярныя европейскія войска; государства всѣ почти въ одно время растутъ и совершенствуются: при всѣхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видно общее единство, и каждая изъ нихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенно понятною только въ соединеніи со всей Европою, и вся Европа кажется однимъ государствомъ. И въ этой небольшой части свѣта рѣшилась долгая тяжба: человѣкъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ искусство; самая

бѣдность и скупость ея вызвали наружу весь безграничный міръ, скрывавшійся въ человѣкѣ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше земного, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній христіанства, и необъятная мысль, осѣненная небеснымъ знаменіемъ креста, витаетъ надъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкѣ, представляющей, въ противоположность Европѣ, смерть ума, гдѣ природа всегда деспотически властвовала надъ человѣкомъ; гдѣ она во всемъ своемъ царственномъ величіи и всегда почти возвращала его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную; гдѣ ни одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на міръ; гдѣ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою африканскою: чѣмъ далѣе погружались они въ Африку, тѣмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ, объ Америкѣ, этой всемірной колоніи, вавилонскомъ смѣшеніи націй, гдѣ столкнулись три противорѣчащія части свѣта, смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще не имѣющей покамѣстъ никакого единства, даже единства религіи; не взирая на частную характерность, не получившей общаго характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей изъ первоначальныхъ стихій, разложенныхъ началъ; несмотря на независимыя государства, все еще похожей на колонію.

Быстрый обзоръ исторіи каждой части свѣта, во всей ея рѣзкой характерности, не поверхностный, но глубокій, результатъ вѣковъ и событій, потому необходимъ, что онъ наводитъ на мысль и заставляетъ слушателей думать. Умъ тогда быстрѣе развивается, когда самъ предлагаетъ себѣ великій

и поэтическій вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тѣмъ болѣе еще необходимъ, что показываетъ часто съ новой стороны тѣ же предметы. А для полнаго уразумѣнія нужно, чтобы предметъ былъ освѣщенъ со всѣхъ сторонъ. „Только тогда вы знаете хорошо исторію“, говоритъ Шлецеръ: „когда знаете ее и вдоль, и поперекъ, и вкось, и во всѣхъ направленіяхъ“.

IX.

И для того, въ видѣ эпилога, послѣ окончанія курса хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь міръ по столѣтіямъ. Тогда всеобщая исторія представитъ у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непремѣнно показать, чѣмъ ознаменовано начало, средина и конецъ каждаго столѣтія, потомъ— духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждый вѣкъ и избѣгнуть монотонности чиселъ, я назову его именемъ того народа или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утвержденію въ памяти слушателей современности событій, лицъ и явленій.

X.

Мнѣ кажется, что такой образъ преподаванія будетъ дѣйствительнѣе и ближе къ истинѣ. По крайней мѣрѣ, глубоко понимающій величіе исторіи увидитъ, что онъ не произведеніе мгновенной фантазіи, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не брошено здѣсь для красоты и мишурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе лѣтописей міра; что составить эскизъ общій, полный исторіи всего человѣчества, хотя даже столь краткій, какъ здѣсь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и по-

стигнешь самыя тонкія и запутанныя нити исторіи, и что одна любовь къ наукѣ, составляющей для меня наслажденіе, понудила меня объявить мои мысли; что цѣль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательной опытностью, которую развертываетъ исторія, понимаемая въ ея истинномъ величіи, сдѣлать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ,—сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастіи, ни въ несчастіи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ — быть вѣрными Отечеству и Государю.

1832.

Портретъ.

Повѣсть.

§ I.

Нигдѣ столько не останавливалось народа, какъ передъ картинною лавкою на Щукиномъ дворѣ. Эта лавка представляла, точно, самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго пѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка — вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Къ этому нужно присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы [1] въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. — Двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками тѣхъ картинъ, которыя свидѣтельствуютъ самородное дарованіе русскаго человѣка: на одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой — городъ Іерусалимъ, по домамъ и церквямъ котораго

[1] Персидскій принцъ, пріѣзжавшій послѣ убійства Грибоѣдова отъ имени шаха персидскаго для извиненій передъ русскимъ правительствомъ.

безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но зато зрителей — куча: какой-нибудь забулдыга лакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ ними, вѣрно, уже стоитъ солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ сурьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смѣются и дразнятъ другъ друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спѣшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чертковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинами; наконецъ, невольно овладѣло имъ размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаричей, на объѣдалъ и обпивалъ, на Ѳому и Ерему — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ пестрыхъ,

грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его униженіе? Еслибы это были труды ребенка, покоряющагося одному невольному желанію, еслибы они совсѣмъ не имѣли никакой правильности, не сохраняли даже первыхъ условій механическаго рисованія, еслибы въ нихъ было все въ карикатурномъ видѣ,— но въ этомъ карикатурномъ видѣ просвѣчивалось бы хотя какое-нибудь стараніе, какой-нибудь порывъ произвести подобное природѣ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ. Какое то тупоуміе старости, какая то безмысленная охота или, лучше сказать, неволя, водила рукою ихъ творцовъ. Кто трудился надъ ними? И трудился, безъ сомнѣнія, одинъ и тотъ же, потому что тѣ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку. Онъ все такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядѣлъ на нихъ, но уже совершенно не глядя, между тѣмъ какъ содержатель этого живописнаго магазина, сѣренькій человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, разсказывалъ ему, что „картины самый первый сортъ и только что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ, и въ рамки не вставлены. Смотрите сами, честью увѣряю, что останетесь довольны“. Всѣ эти заманчивыя рѣчи летѣли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозяина, онъ поднялъ съ полу нѣсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамильные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти машинально началъ онъ съ одного изъ нихъ стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лицѣ его, — краска, которая означаетъ тайное удоволь-

ствіе при чемъ-нибудь неожиданномъ. Онъ сталъ нетерпѣливо тереть рукою и скоро увидѣлъ портретъ, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались нѣсколько мутными и почернѣвшими. Это былъ старикъ съ какимъ то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженіемъ лица; въ устахъ его была улыбка, рѣзкая, язвительная и вмѣстѣ какой то страхъ; румянецъ болѣзни былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмѣстѣ съ этимъ въ нихъ была замѣтна какая то странная живость. Казалось, этотъ портретъ изображалъ какого-нибудь скрягу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучитъ счастіе другихъ. Лицо вообще сохраняло яркій отпечатокъ южной физіогноміи. Смуглота, черные, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просѣдью — все это не попадается у жителей сѣверныхъ губерній. Во всемъ портретѣ была видна какая то неокончательность; но еслибы онъ приведенъ былъ въ совершенное исполненіе, то знатокъ потерялъ бы голову въ догадкахъ, какимъ образомъ совершеннѣйшее твореніе Вандика очутилось въ Россіи и зашло въ лавочку на Щукинъ дворъ.

Съ біющимся сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глупымъ счастьемъ попалъ между нихъ. Наконецъ, Чертковъ спросилъ о цѣнѣ.

Пронырливый купецъ, замѣтивъ по его вниманію, что портретъ чего-нибудь стоитъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ:

— Да что? вѣдь десять рублей будетъ за него маловато.

Чертковъ протянулъ руку въ карманъ.

— Я даю одиннадцать! — раздалось позади его.

Онъ обратился и увидѣлъ, что народу собралась куча, и что одинъ господинъ въ плащѣ долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось, и губы тихо задрожали, какъ у человѣка, который чувствуетъ, что у него хотятъ отнять предметъ его исканій. Осмотрѣвши внимательно новаго покупщика, онъ нѣсколько утѣшился, замѣтивъ на немъ костюмъ, ни мало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ:

— Я дамъ тебѣ двѣнадцать рублей, картина моя.

— Хозяинъ! картина за мною, вотъ тебѣ пятнадцать рублей! — произнесъ покупщикъ.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: — двадцать рублей.

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Народъ гуще обступилъ покупающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновенная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда имѣющій сильный интересъ, даже для постороннихъ. Цѣну, наконецъ, набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: „пятьдесятъ,“ вспомнивши, что у него вся сумма въ 50 рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ, хотя часть, заплатить за квартиру, и кромѣ того, купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ его въ это время отступился: сумма, казалось, превосходила также его состояніе, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросилъ ее въ лицо купцу и ухватился съ жадностью за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея, пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вмѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною

силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе глаза. Они были неподвижны, но, вѣрно, не были бы такъ ужасны, еслибы двигались. Какое то дикое чувство — не страхъ, но то неизъяснимое ощущеніе, которое мы чувствуемъ при появленіи странности, представляющей безпорядокъ природы, или, лучше сказать, какое то сумасшествіе природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всѣхъ. Съ трепетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дѣйствіе, произведенное портретомъ, было всеобщее: народъ съ какимъ то ужасомъ отхлынулъ отъ лавки; покупщикъ, вошедшій съ нимъ въ соперничество, боязливо удалился. Сумерки въ это время сгустились, казалось, для того, чтобы сдѣлать еще болѣе ужаснымъ это непостижимое явленіе. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болѣе. Не смѣя и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбѣжалъ на улицу. Свѣжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освѣжилъ его, но душа была все еще сжата какимъ то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ необыкновеннымъ явленіемъ. „Что это?“ думалъ онъ самъ про себя: „искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность, — та ужасная дѣйствительность, на кото-

рую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ то постороннимъ толчкомъ, — та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?“ Съ такими мыслями вошелъ онъ въ свою маленькую комнату, въ небольшомъ деревянномъ домѣ, на Васильевскомъ островѣ, въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученическіе его начатки, копіи съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художникѣ стараніе постигнуть фундаментальные законы и внутренній размѣръ природы. Долго разсматривалъ онъ ихъ, и, наконецъ, мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствовалъ онъ то, о чемъ размышлялъ!

„И вотъ годъ, какъ я тружусь надъ этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! Стараюсь всѣми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго, быстраго вдохновенія. Только тронутъ они кистью, и уже является у нихъ человѣкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ созданъ природою; движенія его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а мнѣ должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслѣдовать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвѣтной, не отвѣчающей на чувства работѣ. Вотъ мои маранья! Они вѣрны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдетъ совсѣмъ не то: нога не станетъ такъ вѣрно и непринужденно; рука не подымется такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовѣки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль,

а тѣ невыразимыя явленія... Нѣтъ, я не буду никогда великимъ художникомъ!“

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, парнемъ лѣтъ осьмнадцати, въ русской рубашкѣ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова сапоги, который былъ погруженъ въ свои размышленія. Этотъ парень, въ красной рубашкѣ, былъ его лакей, натурщикъ, чистилъ ему сапоги, зѣвалъ въ маленькой его передней, теръ краски и пачкалъ грязными ногами его полъ. Взявши сапоги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко:

— Баринъ, свѣчу зажигать или нѣтъ?

— Зажги, — отвѣчалъ разсѣянно Чертковъ.

— Да еще хозяинъ приходилъ, — примолвилъ кстати грязный камердинеръ, слѣдуя похвальному обычаю всѣхъ людей его званія упоминать въ P. S.[1] о томъ, что поважнѣе: — хозяинъ приходилъ и сказалъ, что если не заплатите денегъ, то вышвернетъ всѣ ваши картины за окошко вмѣстѣ съ кроватью.

— Скажи хозяину, чтобы не безпокоился о деньгахъ, — отвѣчалъ Чертковъ: — я досталъ деньги.

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всѣ деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбѣжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись ничтожнаго случая, и не взялъ съ собою ни денегъ, ни портрета. Завтра же рѣшился онъ идти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно въ правѣ отказаться отъ такой покупки, тѣмъ болѣе, что его домашнія обстоятельства не позволяли сдѣлать никакой лишней издержки.

---

[1] Въ припискѣ къ письму, послѣсловіи

Свѣтъ луны яркимъ, бѣлымъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стѣнѣ. Всѣ предметы и картины, висѣвшія въ его комнатѣ, какъ то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вѣчно прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ то нечаянно онъ взглянулъ на стѣну и увидѣлъ на ней тотъ же самый странный портретъ, такъ поразившій его въ лавкѣ. Легкая дрожь невольно пробѣжала по его тѣлу. Первымъ дѣломъ его было позвать камердинера-натурщика и разспросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему портретъ; но камердинеръ-натурщикъ клялся, что никто не приходилъ, выключая хозяина, который былъ еще поутру и, кромѣ ключа, ничего не имѣлъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствовалъ, что волосы его зашевелились на головѣ. Сѣвши возлѣ окна, онъ силился себя увѣрить, что здѣсь не могло ничего быть сверхъестественнаго, что мальчикъ его могъ въ это время заснуть, что хозяинъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Короче, онъ началъ приводить всѣ тѣ плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непремѣнно такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себѣ не смотрѣть на портретъ, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прилипалъ къ странному изображенію. Неподвижный взглядъ старика былъ нестерпимъ: глаза совершенно свѣтились, вбирая въ себя лунный свѣтъ, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрылъ свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на рѣсницахъ старика; свѣтлыя сумерки, въ которыя владычица-луна превратила ночь, увеличивали дѣйствіе: полотно пропадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядѣло изъ рамъ, какъ будто изъ окошка.

Приписывая это сверхъестественное дѣйствіе лунѣ, чудесный свѣтъ которой имѣетъ въ себѣ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другого міра, онъ приказалъ подать скорѣе свѣчу, около которой копался его лакей; но выраженіе портрета ничуть не уменьшилось: лунный свѣтъ, слившись съ сіяніемъ свѣчи, придалъ ему еще болѣе непостижимой и вмѣстѣ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портретъ, свернулъ ее втрое, чтобы онъ не могъ сквозь нее просвѣчивать; но при всемъ томъ — или это было слѣдствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряженіемъ, получили какую то бѣглую, движущуюся сноровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ сквозь полотно. Наконецъ, онъ рѣшился погасить свѣчу и лечь въ постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидалъ онъ сна: мысли самыя неутѣшительныя прогоняли то спокойное состояніе, которое ведетъ за собою сонъ: тоска, досада, хозяинъ, требующій денегъ, недоконченныя картины — созданія безсильныхъ порывовъ, бѣдность — все это двигалось передъ нимъ и смѣнялось одно другимъ. И когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ, то чудный портретъ властительно втѣснялся въ его воображеніе, и, казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствовалъ онъ на душѣ своей такого тяжелаго гнета. Свѣтъ луны, который содержитъ въ себѣ столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и проноситъ младенчески-очаровательные полусны надъ его изголовьемъ, — этотъ свѣтъ луны не наводилъ на него музыкальныхъ мечтаній; его мечтанія были болѣзненны. Наконецъ, впалъ онъ не въ сонъ, но въ какое то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ глазомъ видимъ

приступающія грезы сновидѣній, а другимъ — въ неясномъ облакѣ окружающіе предметы.

Онъ видѣлъ, какъ поверхность старика отдѣлялась и сходила съ портрета, такъ же, какъ снимается съ кипящей жидкости верхняя пѣна, подымалась на воздухъ и неслась къ нему ближе и ближе, наконецъ, приближалась къ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться, — но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горѣли и впились въ него всею магнитною своею силою.

— Не бойся, — говорилъ странный старикъ, и Чертковъ замѣтилъ у него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалила его своимъ осклабленіемъ и яркою живостью освѣтила тусклыя морщины его лица. — Не бойся меня, — говорило странное явленіе: — мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумалъ весьма глупое дѣло: что тебѣ за охота цѣлые вѣка корпѣть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь, — при этомъ лицо его странно исковеркалось, и какой то неподвижный смѣхъ выразился на всѣхъ его морщинахъ: — ты получишь завидное право кинуться съ Исакіевскаго моста въ Неву или, завязавши шею платкомъ, повѣситься на первомъ попавшемся гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, накупивши ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается на свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажутъ; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чѣмъ болѣе смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и

славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебѣ такіе совѣты; я тебѣ и денегъ дамъ, только приходи ко мнѣ.

При этомъ старикъ опять выразилъ на лицѣ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смѣхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицѣ. Собравши всѣ свои усилія, онъ приподнялъ руку и, наконецъ, привсталъ съ кровати. Но образъ старика сдѣлался тусклымъ, и онъ только замѣтилъ, какъ онъ ушелъ въ свои рамы. Чертковъ всталъ съ безпокойствомъ и началъ ходить по комнатѣ. Чтобы немного освѣжить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжаніе дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Чертковъ увѣрился, наконецъ, что воображеніе его слишкомъ разстроено и представило ему во снѣ твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошелъ еще разъ къ портрету: простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ, и, казалось, только маленькая искра сквозила изрѣдка сквозь нее. Наконецъ, онъ заснулъ и проспалъ до самаго утра.

Проснувшись, онъ долго чувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло, непріятная мокрота сѣялась въ воздухѣ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или натянутымъ грунтомъ. Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для богатыхъ умильное лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ

жилъ Чертковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонѣ или въ отдаленномъ углу Коломны, — твореніе, какихъ очень много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ; уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался; любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по своей комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу съ ключомъ въ рукѣ для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ конуры, куда онъ запрятывался спать, — однимъ словомъ, былъ человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладной, остаются однѣ пошлыя привычки.

— Извольте сами глядѣть, — сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и разставляя руки,— извольте распорядиться и объявить ему.

— Я долженъ вамъ объявить, — сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руки за петлю своего мундира: — что вы должны непремѣнно заплатить должныя вами уже за три мѣсяца квартирныя деньги,

— Я бы радъ заплатить, но что жъ дѣлать, когда нечѣмъ? — сказалъ хладнокровно Чертковъ.

— Въ такомъ случаѣ хозяинъ долженъ взять себѣ вашу движимость, равностоящую суммѣ квар-

тирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же выѣхать.

— Берите все, что хотите, — отвѣчалъ почти безчувственно Чертковъ.

— Картины многія не безъ искусства сдѣланы, — продолжалъ квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторыя. — Жаль только, что не кончены, и краски то не такъ живы... Вѣрно, недостатокъ въ деньгахъ не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?

При этомъ квартальный, безъ церемоніи подошедши къ картинѣ, сдернулъ съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяютъ себѣ вольность тамъ, гдѣ видятъ совершенную беззащитность или бѣдность. Портретъ, казалось, изумилъ его, потому что необыкновенная живость глазъ производила на всѣхъ равное дѣйствіе. Разсматривая картину, онъ нѣсколько крѣпко сжалъ ея рамы, и такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько отзываются топорной работою, то рамка вдругъ лопнула: небольшая дощечка упала на полъ вмѣстѣ съ брякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нѣсколько блестящихъ кружковъ покатилось во всѣ стороны. Чертковъ съ жадностью бросился подбирать, и вырвалъ изъ полицейскихъ рукъ нѣсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

— Какъ же вы говорите, что не имѣете, чѣмъ заплатить, — замѣтилъ квартальный, пріятно улыбаясь, — а между тѣмъ у васъ столько золотой монеты.

— Эти деньги для меня священны! — вскричалъ Чертковъ, опасаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. — Я долженъ ихъ хранить, онѣ ввѣрены мнѣ покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобы васъ удовлетворить, вотъ вамъ за квартиру! — При этомъ онъ бросилъ нѣсколько червонцевъ хозяину дома.

Физіогномія и пріемы въ одну минуту измѣни-

лись у хозяина и достойнаго блюстителя за нравами пьяныхъ извозчиковъ.

Полицейскій сталъ извиняться и увѣрять, что онъ только исполнялъ предписанную форму, а, впрочемъ, никакъ не имѣлъ права его принудить; а чтобы болѣе въ этомъ увѣрить Черткова, онъ предложилъ ему призъ табаку. Хозяинъ дома увѣрялъ, что онъ только пошутилъ, и увѣрялъ съ такою божбою и безсовѣстностію, съ какою, обыкновенно, увѣряетъ купецъ въ Гостиномъ дворѣ.

Но Чертковъ выбѣжалъ вонъ и не рѣшился болѣе оставаться на прежней квартирѣ. Онъ не имѣлъ даже времени подумать о странности этого происшествія. Осмотрѣвши свертокъ, онъ увидѣлъ въ немъ болѣе сотни червонцевъ. Первымъ дѣломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была какъ нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ высокія комнаты, большія окна, всѣ выгоды и удобства для художника! Лежа на турецкомъ диванѣ и глядя въ цѣльныя окна на растущія и мелькающія волны народа, онъ былъ погруженъ въ какое то самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбѣ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на чердакѣ. Недоконченныя и оконченныя картины развѣсились по стройнымъ колоссальнымъ стѣнамъ; между ними висѣлъ таинственный портретъ, который достался ему такимъ единственнымъ образомъ. Онъ опять сталъ думать о причинѣ необыкновенной живости его глазъ. Мысли его обратились къ видѣнному имъ полусновидѣнію, наконецъ, къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его къ тому, что какая-нибудь исторія соединена съ существованіемъ портрета, и что даже, можетъ быть, его собственное бытіе связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началъ его внимательно разсматривать: въ рамѣ находился ящикъ, прикрытый тоненькой дощечкой,

но такъ искусно задѣланной и заглаженной съ поверхностью, что никто бы не могъ узнать о его существованіи, еслибы тяжелый палецъ квартальнаго не продавилъ дощечки. Онъ поставилъ его на мѣсто и еще разъ на него посмотрѣлъ. Живость глазъ уже не казалась ему такъ страшною среди яркаго свѣта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себѣ что то непріятное, такъ что онъ постарался скорѣе отъ него отворотиться. Въ это время зазвенѣлъ звонокъ у дверей, и вошла къ нему почтенная дама пожилыхъ лѣтъ съ таліей въ рюмочку, въ сопровожденіи молоденькой, лѣтъ осьмнадцати; лакей въ богатой ливреѣ отворилъ имъ дверь и остановился въ передней.

— Я къ вамъ съ просьбою, — произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какимъ обыкновенно онѣ говорятъ съ художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. — Я слышала о вашихъ дарованіяхъ... (Чертковъ удивился такой скорой своей славѣ.) — Мнѣ хочется, чтобы вы сняли портретъ съ моей дочери.

При этомъ блѣдное личико дочери обратилось къ художнику, который, еслибы былъ знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную исторію ея: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до обѣда и послѣ обѣда, желаніе побѣгать въ платьѣ послѣдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетерпѣливость увидѣть свою пріятельницу для того, чтобы ей сказать: „Ахъ, милая, какъ я скучала“, или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдѣлала уборку къ платью княгини Б... Вотъ все, что выражало лицо молодой посѣтительницы, блѣдное, почти безъ выраженія, съ оттѣнкою какой то болѣзненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу, — продолжала дама, — мы можемъ вамъ дать часъ. — Чертковъ бросился къ краскамъ и кистямъ, взялъ уже готовый натянутый грунтъ и устроился, какъ слѣдуетъ.

— Я васъ должна нѣсколько предувѣдомить, — говорила дама: — насчетъ моей Анетъ, и этимъ облегчить нѣсколько вашъ трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всѣхъ чертахъ лица всегда была замѣтна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и признаюсь, я никогда не даю ей читать новыхъ романовъ! (Художникъ смотрѣлъ въ оба и не замѣтилъ никакой томности.) — Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее просто въ семейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣни, чтобы ничто не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ.

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ не пропускали ни одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышленіи, какъ согласить эти небольшія противоположности; — наконецъ, рѣшился избрать благоразумную средину. Притомъ его прельщало желаніе побѣдить трудности и восторжествовать надъ искусствомъ, сохранивъ двусмысленное выраженіе портрета. Кисть бросила на полотно первый туманъ, художническій хаосъ: изъ него начали дѣлиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ приникъ весь къ своему оригиналу и уже началъ уловлять тѣ неуловимыя черты, которыя самому безцвѣтному оригиналу придаютъ, въ правдивой копіи, какой то характеръ, составляющій высокое торжество истины. Какой то сладкій трепетъ началъ имъ одолѣвать, когда онъ чувствовалъ, что, наконецъ, подмѣтилъ и, можетъ быть, выразитъ то, что очень

рѣдко удается выражать. Это наслажденіе, нетерпѣливое и прогрессивно возвышающееся, извѣстно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ будто невольно пріобрѣтало тотъ колоритъ, который былъ для него самого внезапнымъ открытіемъ; но оригиналъ началъ такъ сильно вертѣться и зѣвать передъ нимъ, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеніями постоянное его выраженіе.

— Мнѣ кажется, на первый разъ довольно, — произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотѣли разгуляться. Повѣсивши голову и бросивши палитру, стоялъ художникъ передъ своею картиною.

— Мнѣ, однакожъ, сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ, — произнесла дама, подходя къ картинѣ: — а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы пріѣдемъ къ вамъ завтра въ это же время.

Молчаливо выпроводилъ своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тѣсномъ чердакѣ никто не перебивалъ ему, когда онъ сидѣлъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотѣлъ заняться другими недоконченными работами. Но какъ будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замѣстить новыми, въ которыя еще не успѣло влюбиться наше воображеніе? Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тѣмъ, что передъ нею бѣжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свѣжая душа доступна тысячѣ разныхъ наслажденій; и потому Чертковъ разсѣялся почти въ одну минуту. Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ — и что не во власти исполненной силъ юности. Притомъ русскій человѣкъ, а особливо дворянинъ или художникъ, имѣетъ странное свойство: какъ только за-

велся у него въ карманѣ грошъ — ему все трынъ-трава и море по колѣно. У него оставалось еще отъ денегъ, заплаченныхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и всѣ эти тридцать червонцевъ онъ спустилъ въ одинъ вечеръ. Прежде всего онъ приказалъ себѣ подать обѣдъ отличнѣйшій, выпилъ двѣ бутылки вина и не захотѣлъ взять сдачи, нанялъ щегольскую карету, чтобы только съѣздить въ театръ, находившійся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кондитерской трехъ своихъ пріятелей, зашелъ еще кое-куда и возвратился домой безъ копейки въ карманѣ. Бросившись въ кровать, онъ уснулъ крѣпко, но сновидѣнія его были такъ же несвязны и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ будто чувствовала на себѣ что то тяжелое. Онъ увидѣлъ сквозь щелку своихъ ширмъ, что изображеніе старика отдѣлилось отъ полотна и съ выраженіемъ безпокойства пересчитывало кучи денегъ; золото сыпалось изъ его рукъ... Глаза Черткова горѣли; казалось, его чувства узнали въ золотѣ ту неизъяснимую прелесть, которая дотолѣ ему не была понятна. Старикъ его манилъ пальцемъ и показывалъ ему цѣлую гору червонцевъ. Чертковъ судорожно протянулъ руку и проснулся. Проснувшись, онъ подошелъ къ портрету, трясъ его, изрѣзалъ ножомъ всѣ его рамы, но нигдѣ не находилъ запрятанныхъ денегъ; наконецъ, махнулъ рукою и рѣшился работать, далъ себѣ слово не сидѣть долго и не увлекаться заманчивою кистью. Въ это время пріѣхала вчерашняя дама съ своею блѣдною Анетою. Художникъ поставилъ на станокъ свой портретъ, и на этотъ разъ кисть его неслась быстрѣе. Солнечный день, ясное освѣщеніе дали какое то особенное выраженіе оригиналу, и открылось множество дотолѣ незамѣченныхъ тонкостей. Душа его загорѣлась опять напряженіемъ. Онъ силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую

желтизну и неровное измѣненіе колорита въ лицѣ зѣвавшей и изнуренной красавицы съ тою точностью, которую позволяютъ себѣ неопытные артисты, воображающіе, что истина можетъ нравиться такъ же и другимъ, какъ нравится имъ самимъ. Кисть его только что хотѣла схватить одно общее выраженіе всего цѣлаго, какъ досадное „довольно“ раздалось надъ его ушами, и дама подошла къ его портрету.

— Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали? — вскрикнула она съ досадою: — Анетъ у васъ желта; у ней подъ глазами какія то темныя пятна: она какъ будто приняла нѣсколько склянокъ микстуры. Нѣтъ, ради Бога, исправьте вашъ портретъ: это совсѣмъ не ея лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время.

Чертковъ съ досадою бросилъ кисть; онъ проклиналъ и себя, и искусство, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидѣлъ онъ въ своей великолѣпной комнатѣ и не имѣлъ силъ приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ схватилъ первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Психея, поставилъ ее на станокъ, съ намѣреніемъ насильно продолжать. Въ это время вошла вчерашняя дама.

— Ахъ, Анетъ, посмотри, посмотри сюда! — вскричала дама съ радостнымъ видомъ. — Ахъ, какъ похоже! Прелесть, прелесть! И носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасный сюрпризъ? Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподнята! Я вижу, что вы, точно, тотъ великій художникъ, о которомъ мнѣ говорили.

Чертковъ стоялъ, какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Психею за портретъ своей дочери. Съ застѣнчивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразить Психею; но дочь приняла это себѣ за

комплиментъ и довольно мило улыбнулась; улыбку раздѣлила мать. Адская мысль блеснула въ головѣ художника, чувство досады и злости подкрѣпило ее, и онъ рѣшился этимъ воспользоваться.

— Позвольте мнѣ попросить васъ сегодня посидѣть немного подолѣе, — произнесъ онъ, обратясь къ довольной на этотъ разъ блондинкѣ. — Вы видите, что платья я еще не дѣлалъ вовсе, потому что хотѣлъ все съ большею точностію рисовать съ натуры. — Быстро онъ одѣлъ свою Психею въ костюмъ XIX вѣка; тронулъ слегка глаза, губы, просвѣтилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посѣтительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художникъ стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту. Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которая заставляетъ, если не истреблять, то, по крайней мѣрѣ, скрывать отъ свѣта тѣ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видитъ несовершенство, которая заставляетъ скорѣе вытерпѣть презрѣніе всей толпы, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя. Ему казалось, что уже стоитъ передъ его картиною грозный судія и, качая головою, укоряетъ его въ безстыдствѣ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за дамою, вырвать портретъ изъ рукъ ея, разорвать и растоптать его ногами, но какъ это сдѣлать? Куда идти? Онъ даже не зналъ фамиліи его посѣтительницы.

Съ этого времени, однакожъ, произошла въ жизни его счастливая перемѣна. Онъ ожидалъ, что безславіе покроетъ его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, разсказывала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникѣ, и мастерская нашего Черткова напол-

нилась посѣтителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображеніе. Но свѣжій, еще невинный, чувствующій въ душѣ недостойнымъ себя къ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько нибудь загладить и искупить свое преступленіе, рѣшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, рѣшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производитъ чудеса. Но намѣренія его встрѣтили непредвидѣнныя препятствія: посѣтители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были большею частію народъ нетерпѣливый, занятой, торопящійся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсѣмъ обыкновенное, какъ уже вваливался новый посѣтитель, преважно выставлялъ свою голову, горя желаніемъ увидѣть ее скорѣе на полотнѣ, и художникъ спѣшилъ скорѣе оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рожденіи своемъ, наконецъ, отвыкло навѣщать его. Наконецъ, чтобы ускорить свою работу, онъ началъ заключаться въ извѣстныя, опредѣленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тѣ фамильныя изображенія старыхъ художниковъ, которыя такъ часто можно встрѣтить во всѣхъ краяхъ Европы и даже во всѣхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены со сложенными на груди руками и держащими цвѣтокъ въ рукѣ, а кавалеры — въ мундирѣ съ заложенною за пуговицу рукою. Иногда желалъ онъ дать новое, еще не избитое положеніе, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть плодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, смѣлое выраженіе, постигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно

было ему долго думать, отвративши глаза отъ всего окружающаго, унесшись отъ всего мірского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ былъ изнуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновеніе; міръ же, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, былъ слишкомъ обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубоко размышляющее и вмѣстѣ неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блѣдное, съ натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество другихъ, уже черезчуръ обыкновенныхъ — вотъ все, что каждый день мѣнялось передъ нашимъ живописцемъ. Казалось, кисть его сама пріобрѣла, наконецъ, ту безцвѣтность и отсутствіе энергіи, которою означались его оригиналы.

Безпрестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнаціи и золото, наконецъ, усыпили дѣвственныя движенія души его. Онъ безстыдно воспользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ ихъ изображеніямъ, готовы простить ему всѣ недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству.

Чертковъ, наконецъ, сдѣлался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всѣхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостиныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту вѣрной истинѣ природы, брошенную жаркимъ вдохновеніемъ: это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ художникѣ, но никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человѣка, — ничего такого, что бы отзы-

валось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Нѣкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событію, потому что видѣли въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта, и старались разрѣшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть во цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескѣ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная вѣрить, что все въ свѣтѣ обыкновенно и просто, что откровенія свыше въ мірѣ не существуетъ, и все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходитъ до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣе въ его заманчивую музыку и мало-по-малу, нечувствительно, позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ насытить и дать наслажденіе тому, который укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цѣлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его и, какъ всякій, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ превратиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыя иногда попадаются въ мірѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный энергіи и страсти человѣкъ, и которому они кажутся жи-

выми тѣлами, заключающими въ себѣ мертвеца. Но, однакоже, одно событіе сильно потрясло его и дало совершенно другое направленіе его жизни.

Въ одинъ день онъ увидѣлъ на столѣ своемъ записку, въ которой Академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенною силою труженика погрязъ въ немъ всею душою своей и для него, оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ, бросился, безъ всякихъ пособій, въ неизвѣстную землю; терпѣлъ бѣдность, униженіе, даже голодъ, но съ рѣдкимъ самоотверженіемъ, презрѣвши все, былъ безчувственъ ко всему, кромѣ своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Чертковъ, принявши значительную физіогномію знатока, приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло передъ нимъ произведеніе художника. И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни, — никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чер-

тахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; — и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осѣнившей его мысли. Вся картина была — мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой то безмолвный гимнъ божественному произведенію. Неподвижно, съ отверзтымъ ртомъ, стоялъ Чертковъ передъ картиною, и, наконецъ, когда мало-по-малу посѣтители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя; хотѣлъ принять ривнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ: что произведеніе хорошо, и въ художникѣ виденъ талантъ, но желательно, чтобы во многихъ мѣстахъ лучше была выполнена мысль и отдѣлка, — но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стоялъ онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ быть, теплившагося въ груди, можетъ быть, развивавшагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ быть, такъ же

исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ, весь обратился онъ въ одно желаніе и, можно сказать, загорѣлся одною мыслію: ему хотѣлось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывались неправильностью и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу постепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадѣ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты всѣ труды свои, означенные мертвою блѣдностью поверхностной моды, заперъ дверь, не велѣлъ никого впускать къ себѣ и занялся, какъ жаркій юноша, своею работою. Но, увы! на каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначащій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Иногда осѣнялъ его внезапный призракъ великой мысли, воображеніе видѣло въ темной перспективѣ что то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдѣлать необыкновеннымъ и вмѣстѣ доступнымъ для всякой души; какая то звѣзда чудеснаго сверкала въ неясномъ туманѣ его мыслей, потому что онъ, точно, носилъ въ себѣ призракъ таланта; но, Боже, какое-нибудь незначащее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цѣпенѣлъ, неразсказанный,

неизображенный. Кисть его невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ! Потъ катился съ него градомъ, губы дрожали, и послѣ долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его всѣ чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ лѣтъ труднѣе изучать скучную лѣстницу трудныхъ правилъ и анатоміи, еще труднѣе постигнуть то вдругъ, что развивается медленно и дается за долгія усилія, за великія напряженія, за глубокое самоотверженіе. Наконецъ, онъ узналъ ту ужасную муку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ раждаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, — ту страшную муку, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ на ужасныя злодѣянія. Имъ овладѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душѣ его возродилось самое адское намѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою цѣною, осторожно приносилъ въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопровождая ужаснымъ смѣхомъ адскаго наслажденія. Едва

только появлялось гдѣ-нибудь свѣжее произведеніе, дышащее огнемъ новаго таланта, онъ употреблялъ всѣ усилія купить его, во что бы то ни стало. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотые мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый мститель. И люди, носившіе въ себѣ искру божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловѣчно лишены тѣхъ святыхъ, прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человѣку часть исполненнаго звуковъ и священныхъ тайнъ его внутренняго міра. Нигдѣ, ни въ какомъ уголкѣ не могли они сокрыться отъ его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникалъ всюду и находилъ даже въ заброшенной пыли слѣдъ художественной кисти. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаивался въ пріобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгнѣванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой то страшный колоритъ на его лицо: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшія брови и вѣчно перерѣзанный морщинами лобъ придавали ему какое то дикое выраженіе и отдѣляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую

ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣли имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ этотъ двоился, четверился въ его глазахъ, и, наконецъ, ему чудилось, что всѣ стѣны были увѣшаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядѣли на него съ потолка, съ полу, и, вдобавокъ, онъ видѣлъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространнѣе, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже нѣсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и пронзительнымъ, невыразимо-раздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портретъ съ живыми глазами, котораго мѣсто онъ описывалъ съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли всѣ старанія, чтобы отыскать этотъ чудный портретъ. Все было перерыто въ домѣ, но портретъ не отыскивался. Тогда больной приподнимался съ безпокойствомъ и опять начиналъ описывать его мѣсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и проницательнаго ума; но всѣ поиски были тщетны. Наконецъ, докторъ заключилъ, что это было больше ничего, кромѣ особенное явленіе безумія. Скоро жизнь

его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

§ II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъѣздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ Гостинаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ нѣмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и физіогномія были здѣсь какъ то тверже, вольнѣе и не означались тою приторною услужливостію, которая такъ видна въ русскомъ купцѣ. Они вовсе не чинились, несмотря на то, въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ значительныхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимые посѣтители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитающіе обязанностью

не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія отъ 12 до 1-го часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно, безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотрѣть, чѣмъ что кончится: кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ и за кѣмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владѣтеля, который, вѣрно, не имѣлъ похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старинныя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона странно: въ немъ все отзывается чѣмъ то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ то мраченъ; окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ всѣхъ, и голоса: „сто рублей, рубль и двадцать копеекъ! четыреста рублей и пятьдесятъ копеекъ,“ протяжно вырывающіеся изъ устъ, какъ то дики для слуха. Но еще болѣе производитъ впечатлѣніе погребальный голосъ аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпѣвающаго панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь, искусствамъ.

Однако же, аукціонъ еще не начинался; посѣтители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тѣмъ небольшая толпа остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою странною жи-

востью глазъ, что невольно приковалъ къ себѣ ихъ вниманіе. Въ художникѣ нельзя было не признать истиннаго таланта; произведеніе хотя было не окончено, однако же, носило на себѣ рѣзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человѣка. Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного, уже нѣсколько пожилыхъ лѣтъ, посѣтителя. „Ахъ, это онъ!“ вскрикнулъ онъ въ сильномъ движеніи и неподвижно вперилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе, натурально, зажгло во всѣхъ любопытство, и нѣкоторые изъ разсматривавшихъ никакъ не утерпѣли, чтобы не сказать, оборотившись къ нему:

— Вамъ, вѣрно, извѣстно что-нибудь объ этомъ портретѣ?

— Вы не ошиблись, — отвѣчалъ сдѣлавшій невольное восклицаніе. — Точно, мнѣ болѣе нежели кому другому извѣстна исторія этого портрета. Все увѣряетъ меня, что онъ долженъ быть тотъ самый, о которомъ я хочу говорить. Такъ какъ я замѣчаю, что васъ всѣхъ интересуетъ о немъ узнать, то я теперь же готовъ нѣсколько удовлетворить васъ. — Посѣтители наклоненіемъ головы изъявили свою благодарность и съ большою внимательностію приготовились слушать.

— Безъ сомнѣнія, немногимъ изъ васъ, — такъ началъ онъ, — извѣстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломной. Характеристика ея отличается рѣзкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей совершенно отличны отъ прочихъ. Здѣсь ничто не похоже на столицу, но вмѣстѣ съ этимъ не похоже и на провинціальный городокъ, потому

что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можетъ только родить многолюдная столица. Тутъ совершенно другой свѣтъ и, въѣхавши въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляютъ васъ молодые желанія и порывы. Сюда не заглядываетъ живительное, радужное будущее. Здѣсь все тишина и отставка. Здѣсь все, что осѣло отъ движенія столицы. И въ самомъ дѣлѣ, сюда переѣзжаютъ отставные чиновники, которыхъ пенсіонъ не превышаетъ пятисотъ рублей въ годъ; вдовы, жившія прежде мужними трудами: небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе себя здѣсь на цѣлую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на 5 копеекъ кофею и на 4 копейки сахару; наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые, съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, имѣютъ какую то тусклую, пепельную наружность. Они похожи на сѣренькій день, когда солнце не слѣпитъ своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ, дождемъ и градомъ, но, просто, когда на небѣ бываетъ ни се, ни то: сѣется туманъ и отнимаетъ всю рѣзкость у предметовъ. Лица этихъ людей бываютъ какъ то изкрасна-рыжеватыя, волосы тоже красноватые; глаза почти всегда безъ блеска; платье ихъ тоже совершенно матовое и представляетъ тотъ мутный цвѣтъ, который происходитъ, когда смѣшаешь всѣ краски вмѣстѣ, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, уволенныхъ пятидесятилѣтнихъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ 200 рублевымъ пенсіо-

номъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все трынъ-трава; идутъ они, совершенно не обращая вниманія ни на какіе предметы; молчатъ, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнатѣ ихъ только кровать и штофъ чистой, русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день, безъ всякаго смѣлаго прилива въ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій тротуаромъ за двѣнадцать часовъ ночи.

— Жизнь въ Коломнѣ всегда однообразна: рѣдко гремитъ въ мирныхъ улицахъ карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ смущаетъ всеобщую тишину. Здѣсь всѣ почти — пѣшеходы. Извозчикъ рѣдко, лѣниво, и почти всегда безъ сѣдока, волочится, таща вмѣстѣ съ собою сѣно для своей скромной клячи. Цѣна квартиръ рѣдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 15 до 20 и 30 руб. въ мѣсяцъ, не считая множества угловъ, которые отдаются съ отопленіемъ и кофіемъ за четыре съ полтиною въ мѣсяцъ. Вдовы-чиновницы, получающія пенсіонъ, самыя солидныя обитательницы этой части. Онѣ ведутъ себя очень хорошо, метутъ довольно чисто свою комнату и говорятъ съ своими сосѣдками и пріятельницами о дороговизнѣ говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ, иногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Эти то чиновницы занимаютъ лучшія отдѣленія отъ двадцати, а иногда и до сорока рублей. За ними слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Коломны. Это народъ свобод-

ный, какъ всѣ артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или вытачиваютъ изъ кости какія-нибудь бездѣлки, или починиваютъ пистолетъ, или клеятъ изъ картона какія-нибудь полезныя для дома вещи, или играютъ съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки или карты и такъ проводятъ утро; то же дѣлаютъ ввечеру, примѣшивая къ этому часто пуншъ. Послѣ этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя такъ же трудно сдѣлать перечень всѣмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и закоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насѣкомыхъ, которое зараждается въ старомъ уксусѣ. Какого народа вы тамъ не встрѣтите! Старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, которыя пьянствуютъ и молятся вмѣстѣ; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи, таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копеекъ, — словомъ, весь жалкій и несчастный осадокъ человѣчества.

— Естественное дѣло, что этотъ народъ терпитъ иногда большой недостатокъ, не дающій возможности вести имъ обыкновенную, бѣдную жизнь; они должны часто дѣлать экстренные займы, чтобы выпутаться изъ своихъ обстоятельствъ. Тогда находятся между ними такіе люди, которые носятъ громкое названіе капиталистовъ и могутъ снабжать за разные проценты, всегда почти непомѣрные, суммою отъ двадцати до ста рублей. Эти люди мало-по-малу составляютъ состояніе, которое позволяетъ завестись иногда собственнымъ домикомъ. Но на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилію Петромихали. Былъ ли онъ грекъ, или армянинъ, или молдаванъ, — этого никто не зналъ, но, по край-

ней мѣрѣ, черты лица его были совершенно южныя. Ходилъ онъ всегда въ широкомъ азіатскомъ платьѣ, былъ высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвѣта, нависнувшія черныя съ просѣдью брови и такіе же усы придавали ему нѣсколько страшный видъ. Никакого выраженія нельзя было замѣтить на его лицѣ: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрастъ своею южною рѣзкою физіогноміею съ пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не былъ похожъ на помянутыхъ ростовщиковъ этой уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую бы только отъ него ни потребовали; натурально, что зато и проценты были тоже необыкновенны. Ветхій домъ его со множествомъ пристроекъ находился на Козьемъ Болотѣ. Онъ былъ бы не такъ дряхлъ, еслибы владѣлецъ его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не дѣлалъ рѣшительно никакихъ издержекъ. Всѣ комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималъ самъ, были холодныя кладовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, яшмовыя вазы, всякій хламъ, даже мебели, которыя приносили ему въ залогъ разныхъ чиновъ и званій должники, потому что Петромихали не пренебрегалъ ничѣмъ, и, несмотря на то, что давалъ по сотнѣ тысячъ, онъ также готовъ былъ служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное бѣлье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — все готовъ онъ былъ принять въ свои кладовыя, и нищій смѣло адресовался къ нему съ узелкомъ въ рукѣ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ быть, прелестнѣйшую шею въ мірѣ, заключались въ его грязномъ желѣзномъ сундукѣ вмѣстѣ съ старинною табакеркою пятидесятилѣтней дамы, вмѣстѣ съ діадемою, возвышавшеюся надъ алебастровымъ лбомъ красавицы, и брилліантовымъ перстнемъ бѣднаго чиновника, по-

лучившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замѣтить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставляла обращаться къ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страннѣе всего, что съ перваго разу проценты его казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшной прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимаго правила, тѣмъ болѣе, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видѣли явно преувеличеніе итога, но видѣли тоже, что въ этихъ вычетахъ нѣтъ никакой ошибки. Жалость, какъ и всѣ другія страсти чувствующаго человѣка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли преклонить его къ отсрочкѣ или къ уменьшенію платежа. Нѣсколько разъ находили у дверей его околѣвшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинѣвшія лица, замерзнувшіе члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодованіе, и полиція нѣсколько разъ хотѣла разобрать внимательнѣе поступки этого страннаго человѣка, но квартальные надзиратели всегда умѣли, подъ какими-нибудь предлогами, отклонить и представить дѣло въ другомъ видѣ, несмотря на то, что они грошa не получали отъ него. Но богатство имѣетъ такую странную силу, что ему вѣрятъ, какъ государственной ассигнаціи. Оно, не показываясь, можетъ невидимо двигать всѣми, какъ раболѣпными слугами. Это странное существо сидѣло, поджавши подъ себя ноги, на почернѣвшемъ диванѣ, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью въ знакъ поклона; и ничего не можно было отъ него услышать лишняго или посторонняго.

Носились, однакожъ, слухи, что будто бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагалъ условіе, что всѣ бѣжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имѣли силъ пошевелить губами, чтобы пересказать ихъ другимъ. Тѣ же, которые имѣли духъ принять даваемыя имъ деньги, желтѣли, чахли и умирали, не смѣя открыть тайны.

— Въ этой части города имѣлъ небольшой домикъ одинъ художникъ, славившійся въ тогдашнее время своими дѣйствительно прекрасными произведеніями. Этотъ художникъ былъ отецъ мой. Я могу вамъ показать нѣсколько работъ его, выказывающихъ рѣшительный талантъ. Жизнь его была самая безмятежная. Это былъ тотъ скромный, набожный живописецъ, какіе только жили во время религіозныхъ среднихъ вѣковъ. Онъ могъ бы имѣть большую извѣстность и нажить большое состояніе, еслибы рѣшился заняться множествомъ работъ, которыя предлагали ему со всѣхъ сторонъ; но онъ любилъ болѣе заниматься предметами религіозными и за небольшую цѣну взялся расписать весь иконостасъ приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться въ деньгахъ, но никогда не рѣшался онъ прибѣгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имѣлъ всегда впереди возможность уплатить долгъ, потому что ему стоило только присѣсть и написать нѣсколько портретовъ — и деньги были бы въ его карманѣ. Но ему такъ жалко было оторваться отъ своихъ занятій, такъ грустно было разлучиться, хотя на время, съ любимою мыслью, что онъ лучше готовъ былъ нѣсколько дней просидѣть голоднымъ въ своей комнатѣ, на что бы онъ всегда рѣшился, еслибы не имѣлъ страстно любимой имъ жены и двухъ дѣтей, изъ которыхъ одного вы видите теперь передъ собою. Однако же, одинъ разъ крайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже былъ идти

къ греку, какъ вдругъ внезапно распространилась вѣсть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это происшествіе его поразило, и онъ уже готовъ былъ признать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его намѣренію, какъ встрѣтилъ въ сѣняхъ своихъ запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщикѣ три разныя должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своемъ странномъ господинѣ, глухо пробормотала нѣсколько несвязныхъ, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинъ ея имѣетъ въ немъ крайнюю нужду и просилъ его взять съ собой краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и притомъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый любопытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

— Онъ насилу могъ продраться сквозь толпу нищихъ, обступившихъ жилище умиравшаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо, наконецъ, передъ смертію, раскается этотъ грѣшникъ и раздастъ малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошелъ въ небольшую комнату и увидѣлъ протянувшееся почти во всю длину ея тѣло азіатца, которое онъ принялъ было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ, высохшая голова его приподнялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отецъ мой задрожалъ. Петромихали сдѣлалъ глухое восклицаніе и, наконецъ, произнесъ: „Нарисуй съ меня портретъ!“ Отецъ мой изумился такому странному желанію; онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже немного минутъ осталось жить ему, и потому пора помыслить о прежнихъ

своихъ дѣлахъ и принести покаяніе Всевышнему. „Я не хочу ничего: нарисуй съ меня портретъ!“ — произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, при чемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отецъ мой вѣрно бы ушелъ, еслибы чувство, весьма извинительное въ художникѣ, пораженномъ необыкновеннымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ тѣхъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вмѣстѣ съ какимъ то тайнымъ желаніемъ поставилъ онъ холстъ, за неимѣніемъ станка, къ себѣ на колѣни и началъ рисовать. Мысль употребить послѣ это лицо въ своей картинѣ, гдѣ хотѣлъ онъ изобразить одержимаго бѣсами, которыхъ изгоняетъ могущественное слово Спасителя, — эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспѣшностію набросалъ онъ абрисъ и первыя тѣни, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругъ прервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устахъ его. Изрѣдка только онъ издавалъ хрипѣніе и съ безпокойствомъ устремлялъ страшный взглядъ свой на картину; наконецъ, что то подобное радости мелькнуло въ его глазахъ, при видѣ, какъ черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отецъ мой прежде всего рѣшился заняться окончательною отдѣлкою глазъ. Это былъ предметъ самый трудный, потому что чувство, въ нихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился онъ около нихъ и, наконецъ, совершенно схватилъ тотъ огонь, который уже потухалъ въ его оригиналѣ. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалѣе отъ картины, чтобы лучше разсмотрѣть ее, и съ ужасомъ отскочилъ отъ нея, увидѣвъ живые, глядящіе на него глаза. Непостижимый страхъ овладѣлъ имъ въ такой степени, что онъ, швырнувъ палитру и краски, бросился къ дверямъ; но

страшное, почти полумертвое тѣло ростовщика приподнялось съ своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отецъ мой клялся и крестился, что не станетъ продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало всѣ свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ, ползая, цѣловалъ полы его платья и умолялъ дорисовать портретъ. Но отецъ былъ неумолимъ и дивился только силѣ его воли, перемогшей самое приближеніе смерти. Наконецъ, отчаянный Петромихали выдвинулъ съ необыкновенною силою изъ-подъ кровати сундукъ, и страшная куча золота грянула къ ногамъ моего отца. Видя и тутъ его непреклонность, онъ повалился ему въ ноги, и цѣлый потокъ заклинаній полился изъ его молчаливыхъ дотолѣ устъ. Невозможно было не чувствовать какого то ужаснаго и даже, если можно сказать, отвратительнаго состраданія. „Добрый человѣкъ! Божій человѣкъ! Христовъ человѣкъ!“ — говорилъ съ выраженіемъ отчаянія этотъ живой скелетъ: „заклинаю тебя маленькими дѣтьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ, только одинъ часъ посиди за нимъ! Слушай, я тебѣ объявлю одну тайну...“ При этомъ смертная блѣдность начала сильнѣе проступать на лицѣ его. „Но тайны этой никому не объявляй — ни женѣ, ни дѣтямъ твоимъ, а не то — и ты умрешь, и они умрутъ, и всѣ вы будете несчастны. Слушай, если ты и теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послѣ смерти я долженъ идти къ тому, къ которому бы я не хотѣлъ идти; тамъ я долженъ вытерпѣть муки, о какихъ тебѣ и во снѣ не слышалось; но я могу долго еще не идти къ нему, до тѣхъ поръ, покуда стоитъ земля наша, если ты только докончишь портретъ мой. Я узналъ,

что половина жизни моей перейдетъ въ мой портретъ, если только онъ будетъ сдѣланъ искуснымъ живописцемъ. Ты видишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будетъ и во всѣхъ чертахъ, когда ты докончишь. И хотя тѣло мое сгибнетъ, но половина жизни моей останется на землѣ, и я убѣгу надолго еще отъ мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!...“ кричало раздирающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъ еще болѣе овладѣлъ моимъ отцомъ. Онъ слышалъ, какъ поднялись его волоса отъ этой ужасной тайны, и выронилъ кисть, которую было уже поднялъ, тронутый его мольбами. — „А, такъ ты не хочешь дорисовать меня? — произнесъ хрипящимъ голосомъ Петромихали. — Такъ возьми же себѣ портретъ мой: я тебѣ его дарю“. При сихъ словахъ что то въ родѣ страшнаго смѣха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось, еще разъ блеснула въ его чертахъ, и чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупъ. Отецъ не хотѣлъ притронуться къ кистямъ и краскамъ, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выбѣжалъ изъ комнаты.

— Чтобы развлечь непріятныя мысли, нанесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметъ, попавшійся ему въ мастерской его, былъ писанный имъ портретъ ростовщика. Онъ обратился къ женѣ, къ женщинѣ, прислуживавшей на кухнѣ, къ дворнику, но всѣ дали рѣшительный отвѣтъ, что никто не приносилъ портрета и даже не приходилъ во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился къ портрету и невольно отвратилъ глаза свои, проникнутый отвращеніемъ къ собственной работѣ. Онъ приказалъ его снять и вынесть на чердакъ, но при всемъ томъ чувствовалъ какую то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болѣе всего поразило его,

когда уже онъ легъ въ постелю, слѣдующее, почти невѣроятное, происшествіе: онъ видѣлъ ясно, какъ вошелъ въ его комнату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядѣлъ онъ на него своими живыми глазами, наконецъ, началъ предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адское направленіе хотѣлъ дать его искусству, что отецъ мой съ болѣзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холоднымъ потомъ, нестерпимою тяжестію на душѣ и вмѣстѣ самымъ пламеннымъ негодованіемъ. Онъ видѣлъ, какъ чудное изображеніе умершаго Петромихали ушло въ раму портрета, который висѣлъ снова передъ нимъ на стѣнѣ. Онъ рѣшился въ тотъ же день сжечь это проклятое произведеніе рукъ своихъ. Какъ только затопленъ былъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгорѣвшійся огонь и съ тайнымъ наслажденіемъ видѣлъ, какъ лопались рамы, на которыхъ натянутъ былъ холстъ, какъ шипѣли еще невысохшія краски; наконецъ, куча золы одна только осталась отъ его существованія. И когда начала она улетать легкою пылью въ трубу, казалось, какъ будто неясный образъ Петромихали улетѣлъ вмѣстѣ съ нею. Онъ почувствовалъ на душѣ какое то облегченіе. Съ чувствомъ выздоровѣвшаго отъ продолжительной болѣзни оборотился онъ къ углу комнаты, гдѣ висѣлъ писанный имъ образъ, чтобы принесть чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что передъ нимъ стоялъ тотъ же портретъ Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болѣе получили живости, такъ что даже дѣти испустили крикъ, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ рѣшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совѣта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дѣлѣ. Священникъ былъ разсудительный человѣкъ и, кромѣ того, преданный съ теплою любовію своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему

отцу, котораго уважалъ, какъ достойнѣйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и рѣшился тутъ же, при матери моей и дѣтяхъ, разсказать ему это непостижимое происшествіе. Но едва только произнесъ онъ первое слово, какъ мать моя вдругъ глухо вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ. Лицо ея покрылось страшною блѣдностью, уста остались неподвижны, открыты, и всѣ черты ея исковеркались судорогами. Отецъ и священникъ подбѣжали къ ней и съ ужасомъ увидѣли, что она нечаянно проглотила десятокъ иголокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявилъ, что это было неизлѣчимо: иголки остановились у нея въ горлѣ, другія прошли въ желудокъ и во внутренности, и мать моя скончалась ужасною смертью.

— Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая то мрачность овладѣла его душою. Рѣдко онъ чѣмъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвнымъ и убѣгалъ всякаго сообщества. Но между тѣмъ ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталъ преслѣдовать его неотлучнѣе, и часто отецъ мой чувствовалъ приливъ такихъ отчаянныхъ, свирѣпыхъ мыслей, отъ которыхъ невольно содрогался самъ. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ во глубинѣ человѣка, истребляется и выгоняется воспитаніемъ, благородными подвигами и лицезрѣніемъ прекраснаго, — все это онъ чувствовалъ въ себѣ возмущавшимся и безпрестанно силившимся выйти наружу и развиться во всемъ своемъ порочномъ совершенствѣ. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человѣка. Но я долженъ замѣтить, что сила характера отца моего была безпримѣрна: власть, которую онъ бралъ надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его убѣжденія были тверже

гранита, и чѣмъ сильнѣе было искушеніе, тѣмъ онъ болѣе рвался противопоставить ему несокрушимую силу души своей. Наконецъ, обезсилѣвъ отъ этой борьбы, онъ рѣшился излить и обнажить всего себя, въ изображеніи всей повѣсти своихъ страданій, тому же священнику, который всегда почти доставлялъ ему исцѣленіе размышляющими своими рѣчами. Это было въ началѣ осени; день былъ прекрасный: солнце сіяло какимъ то свѣжимъ осеннимъ свѣтомъ; окна нашихъ комнатъ были отворены; отецъ мой сидѣлъ съ достойнымъ священникомъ въ мастерской; мы играли съ братомъ въ комнатѣ, которая была рядомъ съ нею. Обѣ эти комнаты были во второмъ этажѣ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была нѣсколько растворена; я, какъ то нечаянно, заглянулъ въ отверзтіе, видѣлъ, что отецъ мой придвинулся ближе къ священнику и услышалъ даже, какъ онъ сказалъ ему: „Наконецъ, я открою всю эту тайну . . .“ Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подошелъ къ окну и — Боже! я никогда не могу забыть этого происшествія: на мостовой лежалъ облитый кровью трупъ моего брата. Играя, онъ, вѣрно, какъ-нибудь неосторожно перегнулся чрезъ окошко и упалъ, безъ сомнѣнія, головою внизъ, потому что она вся была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужаснаго случая. Отецъ мой стоялъ неподвиженъ передъ окномъ, сложа накрестъ руки и поднявъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнутъ страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требовалъ отъ отца моего, чтобы онъ хранилъ эту ужасную тайну.

— Послѣ этого отецъ мой отдалъ меня въ корпусъ, гдѣ я провелъ все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдѣ бѣдный

сѣверъ уже представлялъ только дикую природу, и торжественно принялъ санъ монашескій. Всѣ тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою покорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ велъ съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ вѣры, что, повидимому, ничто преступное не имѣло воли коснуться къ нему. Но страшный, имъ же начертанный образъ съ живыми глазами преслѣдовалъ его и въ этомъ почти гробовомъ уединеніи. Игуменъ, узнавши о необыкновенномъ талантѣ отца моего въ живописи, поручилъ ему украсить церковь нѣкоторыми образами. Нужно было видѣть, съ какимъ высокимъ религіознымъ смиреніемъ трудился онъ надъ своею работою: въ строгомъ постѣ и молитвѣ, въ глубокомъ размышленіи и уединеніи души пріуготовлялся онъ къ своему подвигу. Неотлучно проводилъ ночи надъ своими священными изображеніями, и оттого, можетъ быть, рѣдко найдете вы произведеній, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на себѣ печать такихъ истинно-христіанскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствіе, въ его кающихся такое душевное сокрушеніе, какія я очень рѣдко встрѣчалъ даже въ картинахъ извѣстныхъ художниковъ. Наконецъ, всѣ мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть спокойствія, разлитого его кистью въ чертахъ Божественной Покровительницы всего міра, казалось, перешла въ собственную его душу. По крайней мѣрѣ, страшный образъ ростовщика пересталъ навѣщать его, и портретъ пропалъ, неизвѣстно куда.

— Между тѣмъ воспитаніе мое въ корпусѣ окон-

чилось. Я былъ выпущенъ офицеромъ, но, къ величайшему сожалѣнію, обстоятельства не позволили мнѣ видѣть моего отца. Насъ отправили тогда же въ дѣйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границѣ. Не буду надоѣдать вамъ разсказами о жизни, проведенной мною среди походовъ, бивакъ и жаркихъ схватокъ; довольно сказать, что труды, опасности и жаркій климатъ измѣнили меня совершенно, такъ что знавшіе меня прежде не узнавали вовсе. Загорѣвшее лицо, огромные усы и хриплый, крикливый голосъ придали мнѣ совершенно другую физіогномію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрашнемъ, любилъ выпорожнить лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вздоръ съ смазливенькими дѣвчонками, отпустить спроста глупость, — словомъ, былъ военный безпечный человѣкъ. Однакожъ, какъ только окончилась кампанія, я почелъ первымъ долгомъ навѣстить отца.

— Когда подъѣхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладѣло странное чувство, какого прежде я никогда не испытывалъ: я чувствовалъ, что я еще связанъ съ однимъ существомъ, что есть еще что то неполное въ моемъ состояніи. Уединенный монастырь, посреди природы блѣдной, обнаженной, навелъ на меня какое то поэтическое забвеніе и далъ странное, неопредѣленное направленіе моимъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листья шумятъ подъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вѣтви сквозятъ рѣдкою сѣтью, вороны каркаютъ въ далекой вышинѣ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ бы стараясь собрать разсѣивающіяся мысли. Множество деревянныхъ почернѣвшихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступилъ подъ длинныя, мѣстами прогнившія, позеленѣвшія мохомъ галлереи, находившіяся вокругъ келій, и спросилъ монаха, отца Григорія

Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступленіи въ монашеское званіе. Мнѣ указали его келью.

— Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня впечатлѣнія. Я увидѣлъ старца, на блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ котораго не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшіе быть устремленными къ небу, получили тотъ безстрастный, проникнутый нездѣшнимъ огнемъ видъ, который въ минуту только вдохновенія осѣняетъ художника. Онъ сидѣлъ передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замѣтилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонѣ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотѣлъ еще открыться и потому попросилъ у него, просто, благословенія, какъ путешествующій молельщикъ; но, каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: „Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!“ Меня это изумило: я десяти лѣтъ еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видѣли не такъ давно. „Я зналъ, что ты ко мнѣ будешь“, продолжалъ онъ. „Я просилъ объ этомъ Пречистую Дѣву и св. угодника и ожидалъ тебя съ часу на часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебѣ открыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде помолимся!“ Мы вышли въ церковь, и онъ подвелъ меня къ большой картинѣ, изображавшей Божію Матерь, благословляющую народъ. Я былъ пораженъ глубокимъ выраженіемъ божественности въ Ея лицѣ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и, наконецъ, послѣ долгаго молчанія и размышленія, вышелъ вмѣстѣ со мною.

— Послѣ того отецъ мой разсказалъ мнѣ все то, что вы сейчасъ отъ меня слышали. Въ истину его я вѣрилъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ многихъ печальныхъ случаевъ нашей жизни.

— „Теперь я разскажу тебѣ, сынъ мой“, прибавилъ онъ послѣ этой исторіи: „то, что мнѣ открылъ видѣнный мною святой, неузнанный среди многолюднаго народа никѣмъ, кромѣ меня, котораго милосердый Создатель сподобилъ такой неизглаголанной Своей благости“. При этомъ отецъ мой сложилъ руки и устремилъ глаза къ небу, весь отданный ему всѣмъ своимъ бытіемъ. И я, наконецъ, услышалъ то, что сейчасъ готовлюсь разсказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его рѣчей: я увидѣлъ, что онъ находился въ томъ состояніи души, которое овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя, нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чѣмъ сильнѣе гнетъ его несчастій, тѣмъ пламеннѣе его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походитъ на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къ желанной пристани, причалилъ къ своей пустынѣ, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ христіанскимъ смиреніемъ молиться Тому, къ Которому онъ сталъ ближе и доступнѣе; напротивъ того, онъ становится чѣмъ то исполинскимъ. Въ немъ не угаснулъ пылъ души, но, напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова вѣчно наполнена чудными снами. Онъ видитъ на каждомъ шагу видѣнія и слышитъ откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видитъ ничего, принадлежащаго землѣ; всѣ движенія, слѣдствія вѣчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма. Я съ перваго раза замѣтилъ въ немъ это состояніе и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными тѣ рѣчи, которыя я отъ него услышалъ. „Сынъ мой!“ сказалъ онъ мнѣ послѣ долгаго, почти неподвижнаго устремленія глазъ своихъ къ небу: „уже

скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человѣческаго, антихристъ, народится въ мірѣ. Ужасно будетъ это время: оно будетъ передъ концомъ міра. Онъ промчится на конѣ-гигантѣ, и великія потерпятъ муки тѣ, которые останутся вѣрными Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочетъ народиться антихристъ, но не можетъ, потому что долженъ родиться сверхъестественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ все устроено Всемогущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкѣ, и потому ему никакія силы, сынъ мой, не помогутъ прорваться въ міръ. Но земля наша — прахъ передъ Создателемъ. Она по его законамъ должна разрушаться, и съ каждымъ днемъ законы природы будутъ становиться слабѣе, и отъ того границы, удерживающія сверхъестественное, приступнѣе. Онъ уже и теперь нараждается, но только нѣкоторая часть его порывается показаться въ міръ. Онъ избираетъ для себя жилищемъ самого человѣка и показывается въ тѣхъ людяхъ, отъ которыхъ уже, кажется, при самомъ рожденіи, отшатнулся ангелъ, и они заклеймены страшною ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть созданіе Творца. Таковъ то былъ и тотъ дивный ростовщикъ, котораго дерзнулъ я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это онъ, сынъ мой, это былъ самъ антихристъ. Еслибы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, онъ бы удалился и исчезнулъ, потому что не могъ жить долѣе того тѣла, въ которомъ заключилъ себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бѣсовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту

самыхъ чистыхъ и святыхъ помышленій. О, если-бы моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болѣе надѣлалъ зла, и нѣтъ силъ человѣческихъ противостать ему, потому что онъ именно выбираетъ то время, когда величайшія несчастія постигаютъ насъ. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству! Но слушай, что мнѣ открыла въ часъ святого видѣнія сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты Ея, я былъ посѣщенъ, сынъ мой, вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣнила меня, и ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, — я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волоса мои, и душа вся трепетала. О, сынъ мой! за эту минуту я бы тысячи взялъ мукъ на себя. И я самъ дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый ликъ Дѣвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ невѣчно, что если кто торжественно объявитъ его исторію по истеченіи пятидесяти лѣтъ въ первое новолуніе, то сила его погаснетъ и разсѣется, яко прахъ, и что я могу тебѣ передать это передъ моею смертію. Уже тридцать лѣтъ протекло съ того времени, какъ онъ живетъ; двадцать впереди. Помолимся, сынъ мой!„ При этомъ онъ повергнулся на колѣни и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всѣ эти слова приписывалъ распаленному его воображенію, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и молитвами, и потому изъ уваженія не хотѣлъ дѣлать какого-нибудь замѣчанія или соображенія. Но когда я увидѣлъ, какъ онъ поднялъ къ небу изсохшія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушеніемъ молчалъ онъ, уничтоженный въ себѣ са-

момъ, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молилъ о тѣхъ, которые не въ силахъ были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, съ какою пламенною скорбію простерся онъ, и по лицу его лились говорящія слезы, и во всѣхъ чертахъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, — о, тогда я не въ силахъ былъ предаться холодному размышленію и разбирать слова его! Нѣсколько лѣтъ прошло послѣ его смерти. Я не вѣрилъ этой исторіи и даже мало думалъ о ней; но никогда не могъ ее никому перерасказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовалъ всегда что то удерживавшее меня отъ того. Сегодня безъ всякой цѣли зашелъ я на аукціонъ и въ первый разъ разсказалъ исторію этого необыкновеннаго портрета, такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о которомъ говорилъ отецъ мой, потому что, дѣйствительно, съ того времени прошло уже 20 лѣтъ.

Тутъ разсказывавшій остановился, и слушатели, внимавшіе ему съ неразвлекаемымъ участіемъ, невольно обратили глаза свои къ странному портрету и, къ удивленію своему, замѣтили, что глаза его вовсе не сохранили той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болѣе увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаетъ дыханіе съ чистой стали. Что то мутное осталось на полотнѣ. И когда подошли къ нему ближе, то увидѣли какой то незначащій пейзажъ, такъ что посѣтители, уже уходя, долго недоумѣвали, дѣйствительно ли они видѣли таинственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

Взглядъ на составленіе Малороссіи [1].

I. Какое ужасно-ничтожное время представляетъ для Россіи XIII вѣкъ! Сотни мелкихъ государствъ единовѣрныхъ, одноплеменныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ однимъ общимъ характеромъ, и которыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство, — эти мелкія государства такъ были между собою разъединены, какъ рѣдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью — сильныя страсти не досягали сюда — не постоянною политикою, слѣдствіемъ непреклоннаго ума и познанія жизни: это былъ хаосъ браней за временное, за минутное — браней, разрушительныхъ, потому что онѣ мало-по-малу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную физіогномію при сильныхъ норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болѣе всего связываетъ и образуетъ народы, мало на нихъ дѣйствовала. Религія не срослась тогда тѣсно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившіеся въ свои кельи и закрывшіе глаза для міра; молившіеся за всѣхъ, но не знавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружія, вѣры, власть надъ народомъ и возжечь этой вѣрой пламень и ревность

[1] Эскизъ этотъ составлялъ введеніе къ Исторіи Малороссіи; но такъ какъ вся первая часть Исторіи Малороссіи передѣлана вовсе, то онъ остался заштатнымъ и помѣщается здѣсь, какъ совершенно отдѣльная статья. *Прим. Гоголя.*

до энтузіазма, который одинъ властенъ соединить младенчествующіе народы и настроить ихъ къ великому. Здѣсь была совершенная противоположность Западу, гдѣ самодержавный папа, какъ будто невидимою паутиною, опуталъ всю Европу своею религіозною властью, гдѣ его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, гдѣ угроза страшнаго проклятія обуздывала страсти и полудикіе народы. Здѣсь монастыри были убѣжищемъ тѣхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключеніе изъ общаго характера и вѣка. Изрѣдка пастыри, изъ пещеръ и монастырей, увѣщали удѣльныхъ князей; но ихъ увѣщанія были напрасны: князья умѣли только поститься и строить церкви, думая, что исполняютъ этимъ всѣ обязанности христіанской религіи, а не умѣли считать ее закономъ и покоряться ея велѣніямъ. Самыя ничтожныя причины раждали между ними безконечныя войны. Это были не споры королей съ вассалами или вассаловъ съ вассалами: — нѣтъ! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцомъ и дѣтьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ: — нѣтъ! братъ брата рѣзалъ за клочокъ земли или, просто, чтобы показать удальство. Примѣръ ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двухъ сосѣднихъ удѣловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другъ противъ друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наслѣдственная вражда, потому что кто былъ сегодня другъ, тотъ завтра дѣлался непріятелемъ. Народъ пріобрѣлъ хладнокровное звѣрство, потому что онъ рѣзалъ, самъ не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фанатизмъ, ни суевѣріе, ни даже предразсудокъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти всѣ человѣческія сильныя благородныя страсти, и еслибы явился какой-нибудь геній, который бы

захотѣлъ тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашелъ въ немъ ни одной струны, за которую бы могъ ухватиться и потрясти безчувственный составъ его, выключая развѣ физической желѣзной силы. Тогда исторія, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цѣломъ, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествіе. Изъ Азіи, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершившій столько завоеваній, сколько до него не производилъ никто. Ужасные монголы, съ многочисленными, никогда дотолѣ невиданными Европою, табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, освѣтивши путь свой пламенемъ и пожарами — прямо азіатскимъ буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухвѣковое рабство и скрыло ее отъ Европы. Было ли оно спасеніемъ для нея, сберегши ее для независимости, потому что удѣльные князья не сохранили бы ее отъ литовскихъ завоевателей, или оно было наказаніемъ за тѣ безпрерывныя брани, — какъ бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія слѣдствія: оно наложило иго на сѣверныя и среднія русскія княженія, но дало между тѣмъ происхожденіе новому славянскому поколѣнію въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба, и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болѣе всего пострадала отъ татаръ. Выжженные города и степи, обгорѣлые лѣса, древній, разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня—вотъ что представляла эта несчастная страна! Напуганные жители разбѣжалась или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выѣхало въ сѣверную Россію. Еще прежде народонаселеніе на-

чало замѣтно уменьшаться въ этой сторонѣ. Кіевъ давно уже не былъ столицею; значительныя владѣнія были гораздо сѣвернѣе. Народъ, какъ бы понимая самъ свою ничтожность, оставлялъ тѣ мѣста, гдѣ разновидная природа начинаетъ становиться изобрѣтательницею, гдѣ она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю въ цвѣтахъ, и по всѣмъ вьющимся лентамъ рѣкъ разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днѣпръ съ ненасытными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмѣримыми лугами — и все это согрѣла умѣреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставлялъ эти мѣста и столпялся въ той части Россіи, гдѣ мѣстоположеніе, однообразно-гладкое и ровное, вездѣ почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движенія, но какое то прозябеніе, поражающее душу мыслящаго. — Какъ будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и характеромъ ищетъ мощныхъ мѣстоположеній, или что только смѣлыя и поразительныя мѣстоположенія образуютъ смѣлый, страстный, характерный народъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-по-малу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи начали селиться въ этой землѣ, настоящей отчизнѣ славянъ, землѣ древнихъ полянъ, сѣверянъ, чистыхъ славянскихъ племенъ, которыя въ Великой Россіи начали уже смѣшиваться съ народами финскими, но здѣсь сохранялись въ прежней цѣльности, со всѣми языческими повѣрьями, дѣтскими предразсудками, пѣснями, сказками, славянской миѳологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ христіанствомъ. Возвращавшіеся на свои мѣста прежніе жители привели по слѣдамъ своимъ и вы-

ходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это населеніе производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народъ былъ не за горами: ихъ раздѣляли или, лучше сказать, соединяли однѣ степи. Несмотря на пестроту населенія, здѣсь не было тѣхъ браней междоусобныхъ, которыя не переставали во глубинѣ Россіи: опасность со всѣхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя матерь городовъ русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бѣденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами сѣверной Россіи. Всѣ оставили его, даже монахи-лѣтописцы, для которыхъ онъ всегда былъ священъ. Извѣстія о немъ разомъ прервались и, несмотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей русскихъ, ничто не спасло его отъ полувѣкового забвенія. Изрѣдка только, какъ будто сквозь сонъ, говорятъ лѣтописцы, что онъ былъ страшно разоренъ, что въ немъ были ханскіе баскаки, — и потомъ онъ отъ нихъ задернулся какъ бы непроницаемою завѣсою.

V. Между тѣмъ какъ Россія была повергнута татарами въ бездѣйствіе и оцѣпенѣніе, великій язычникъ, Гедиминъ, вывелъ на сцену тогдашней исторіи новый народъ, — народъ бѣдный и жизнью, и средствами для жизни, населявшій дикіе сосновые лѣса нынѣшней Бѣлоруссіи, еще носившій звѣриную кожу вмѣсто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огню въ нетроганныхъ топоромъ рощахъ, платившій прежде дань русскимъ князьямъ, извѣстный подъ именемъ литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князѣ Гедиминѣ сдѣлался самымъ виднымъ на огромномъ сѣверо-востокѣ Европы! Тогда города, княжества и народы на западѣ Россіи были какіе то отрывки, обрѣзки, оставшіеся за гранью татарскаго порабо-

щенія. Они не составляли ничего цѣлаго, и потому литовскій завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и татарской Россіей. Потомъ двинулъ онъ войска свои на югъ, во владѣнія волынскихъ князей. Весьма естественно, что успѣхъ сопровождалъ его вездѣ. Въ Луцкѣ, однакожъ, князь Левъ сильно сопротивлялся, но не въ силахъ былъ отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ своихъ старостъ и начальниковъ, шелъ далѣе на югъ, къ самому сердцу южной Россіи, къ Кіеву. Убѣжавшій луцкій князь Левъ успѣлъ кое-какъ уговорить кіевскаго князя Станислава выйти съ своими немноголюдными дружинами навстрѣчу грозному побѣдителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бѣжало передъ мощнымъ литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при рѣкѣ Ирпети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, носившій на себѣ свѣжую печать татарскаго посѣщенія, и постановилъ въ немъ правителемъ князя Миндова Ольшанскаго, принявшаго греческую вѣру. Итакъ, литовскій завоеватель у самыхъ татаръ вырвалъ почти передъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человѣкъ ума крѣпкаго, былъ политикъ, несмотря на видимую свою дикость и свое невѣжественное время. Онъ умѣлъ сохранить дружбу съ татарами, владѣя отнятыми у нихъ землями и не платя никакой дани. Этотъ дикій политикъ, не знавшій письма и поклонявшійся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древняго правленія: все оставилъ по-прежнему, подтвердилъ всѣ привилегіи и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права, нигдѣ даже не означивъ пути своего опустошеніемъ. Совершенная ничтожность окружавшихъ его наро-

довъ и прочихъ историческихъ лицъ придаютъ ему какой то исполинскій размѣръ. Онъ умеръ въ 1340 году; мертвый былъ посаженъ на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничьими собаками, соколами и сожженъ по языческому обычаю литовцевъ. Вслѣдъ за нимъ такіе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, подъ могущественнымъ покровительствомъ литовскихъ князей, совершенно отдѣлились отъ сѣверной. Всякая связь между ними разорвалась; составились два государства, называвшіяся одинакимъ именемъ — Русью, одно подъ татарскимъ игомъ, другое подъ однимъ скипетромъ съ литовцами. Но уже сношеній между ними не было. Другіе законы, другіе обычаи, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло, — составляетъ цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непремѣнно должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависитъ образъ жизни и даже характеръ народа. Многое въ исторіи разрѣшаетъ географія.

Эта земля, получившая послѣ названіе Украины, простирающаяся на сѣверъ не далѣе 50° широты, болѣе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встрѣчаются очень часто, но ни одной гористой цѣпи. Сѣверная ея часть перемежается лѣсами, содержавшими прежде въ себѣ цѣлыя шайки медвѣдей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта, вся изъ степей, кипѣвшихъ плодородіемъ, но только изрѣдка засѣвавшихся хлѣбомъ. Дѣвственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти степи кипѣли стадами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бродив-

шихъ табунами. Съ сѣвера на югъ проходитъ великій Днѣпръ, опутанный вѣтвями впадающихъ въ него рѣкъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ плѣнительныя и вмѣстѣ дерзкія мѣстоположенія; лѣвый — весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двѣнадцать пороговъ — выросшихъ изъ дна рѣки скалъ — недалеко отъ впаденія его въ море, преграждаютъ теченіе и дѣлаютъ плаваніе по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикихъ козъ — сугаки — съ бѣлыми лоснящимися рогами, съ мягкою, атласною шерстью. Прежде воды въ Днѣпрѣ были выше, разливался онъ шире и далѣе потоплялъ луга свои. Когда воды начинаютъ опадать, тогда видъ поразителенъ: всѣ возвышенности выходятъ и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Днѣпръ впадаетъ только одна судоходная рѣка, Десна, проходящая въ сѣверной Украинѣ, съ лѣсистыми берегами, почти съ обѣихъ сторонъ потопляемыми водою; но и эта рѣка только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ судоходна. Кромѣ того, на сѣверѣ Остеръ и часть Сейма, на югѣ Сула, Пселъ, съ цѣпью видовъ, Хоролъ и другія; но ни одна изъ нихъ не судоходна. Сообщенія никакого нѣтъ, произведенія не могли взаимно размѣниваться — и потому здѣсь не могъ и возникнуть торговый народъ. Всѣ рѣки развѣтвляются посерединѣ, ни одна изъ нихъ не протекала на рубежѣ и не служила естественною гранью съ сосѣдственными народами. Къ сѣверу ли съ Россіей, къ востоку ли съ кипчакскими татарами, къ югу ли съ крымскими, къ западу ли съ Польшей, — вездѣ она граничила полемъ, вездѣ равнина, со всѣхъ сторонъ открытое мѣсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или моря — и народъ, поселившійся здѣсь, удержалъ бы политическое бытіе свое, составилъ бы отдѣльное государство. Но беззащитная, откры-

тая земля эта была землей опустошеній и набѣговъ, — мѣстомъ, гдѣ сшибались три враждующія націи, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ татарскій наѣздъ разрушалъ весь трудъ земледѣльца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкія жилища сносимы до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ плѣнъ вмѣстѣ съ скотомъ. Это была земля страха, и потому въ ней могъ образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ, — народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взлелѣяна войною. И вотъ выходцы вольные и невольные, бездомные, тѣ, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — копейка, которыхъ буйная воля не могла терпѣть законовъ и власти, которымъ вездѣ грозила висѣлица, расположились и выбрали самое опасное мѣсто въ виду азіатскихъ завоевателей — татаръ и турковъ. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила цѣлый народъ, набросившій свой характеръ и, можно сказать, колоритъ на всю Украину, сдѣлавшій чудо — превратившій мирныя славянскія поколѣнія въ воинственныя, извѣстный подъ именемъ казаковъ, народъ, составляющій одно изъ замѣчательныхъ явленій европейской исторіи, которое, можетъ быть, одно сдержало это опустошительное разлитіе двухъ магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не къ концу XIII, то къ началу XIV вѣка можно отнести появленіе казачества, къ тѣмъ вѣкамъ, когда святая, сильная ревность къ религіи еще не остыла въ Европѣ, когда почти вдругъ во всѣхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странную противоположность съ тогдашнимъ разъединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергнувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дѣлъ міра, желѣзные поборники вѣры Христо-

вой. Чѣмъ слабѣе была связь тогдашнихъ государствъ, тѣмъ сильнѣе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе магометанства и магометанскихъ новыхъ сильныхъ народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болѣе. Духъ этихъ братствъ распространился вездѣ и не между рыцарями, и не для подобныхъ предназначеній. Въ это время явился близъ пороговъ городокъ, или острогъ — Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучитъ обитателями Кавказа, котораго даже построеніе многіе приписываютъ имъ, и гдѣ было главное сборище и мѣстопребываніе казаковъ. Вначалѣ частыя нападенія татаръ на сѣверную часть Украины заставляли жителей спасаться бѣгствомъ, приставать къ казакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было пестрое сборище самыхъ отчаянныхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горецъ, ограбленный россіянинъ, убѣжавшій отъ деспотизма пановъ польскій холопъ, даже бѣглецъ исламизма — татаринъ, можетъ быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днѣпра, впослѣдствіи постановившему цѣлью, подобно орденскимъ рыцарямъ, вѣчную войну съ невѣрными. Это скопище людей не имѣло никакихъ укрѣпленій, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники въ днѣпровскихъ утесахъ, часто подъ водою, на днѣпровскихъ островахъ, въ гущѣ степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для награбленныхъ богатствъ. Гнѣздо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назадъ. Они поворотили противъ татаръ ихъ же образъ войны — тѣ же азіатскіе набѣги. Какъ жизнь ихъ опредѣлена была на вѣчный страхъ, такъ точно, съ своей стороны, они рѣшились быть страхомъ для сосѣдей. Татары и турки должны были всякій часъ ожидать этихъ неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометанскій сосѣдъ не зналъ,

какъ назвать этотъ ненавистный народъ. Если кто хотѣлъ къ кому выразить величайшее презрѣніе, то называлъ его казакомъ.

VIII. Бо́льшая часть этого общества состояла, однакожъ, изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіи. Доказательство — въ языкѣ, который, несмотря на принятіе множества татарскихъ и польскихъ словъ, имѣлъ всегда чистославянскую южную физіогномію, приближавшую его къ тогдашнему русскому, и въ вѣрѣ, которая всегда была греческая. Всякій имѣлъ полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ былъ непремѣнно принять греческую религію. Это общество сохраняло всѣ тѣ черты, которыми рисуютъ шайку разбойниковъ; но, бросивши взглядъ глубже, можно было увидѣть въ немъ зародышъ политическаго тѣла, основаніе характернаго народа, уже вначалѣ имѣвшаго одну главную цѣль — воевать съ невѣрными и сохранять чистоту религіи своей. Это, однакожъ, не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обѣтовъ, никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержаніемъ и умерщвленіемъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ днѣпровскіе пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршествахъ и бражничествѣ позабывали весь міръ. То же тѣсное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общее — вино, цехины, жилища. Вѣчный страхъ, вѣчная опасность внушали имъ какое то презрѣніе къ жизни. Казакъ больше заботился о доброй мѣрѣ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смѣтливость ума, все умѣнье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видѣть этого обитателя пороговъ въ полутатарскомъ, полупольскомъ костюмѣ, на которомъ такъ рѣзко отпечаталась пограничность земли, азіатски мчавшагося на конѣ, пропадавшаго въ густой травѣ, бросавша-

гося съ быстротою тигра изъ непримѣтныхъ тайниковъ своихъ, или вылѣзавшаго внезапно изъ рѣки или болота, обвѣшаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилищемъ бѣгущему татарину. Этотъ же самый казакъ, послѣ набѣга, когда гулялъ и бражничалъ съ своими товарищами, сорилъ и разбрасывалъ награбленныя сокровища, былъ безсмысленно пьянъ и безпеченъ до новаго набѣга, если только не предупреждали ихъ татары, не разгоняли ихъ пьяныхъ и безпечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный, ужасный набѣгъ былъ отмщеніемъ. Послѣ чего снова та же безпечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существованіе этого народа было вѣчно. Онъ никогда не уменьшался: выбывшіе, убитые, потонувшіе замѣнялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякаго. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый въ свою очередь стремился быть дѣйствующимъ лицомъ, а не зрителемъ. Это скопленіе мало-по-малу получило совершенно одинъ общій характеръ и національность, и, чѣмъ ближе къ концу XV вѣка, тѣмъ болѣе увеличивалось приходившими вновь. Наконецъ, цѣлыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ мѣста около Кіева начали пустѣть, а между тѣмъ по ту сторону Днѣпра люднѣли. Семейные и женатые мало-помалу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тѣмъ разгульные холостяки, вмѣстѣ съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшенія черты лица ихъ, вна-

чалѣ разнохарактерныя, получили общую физіогномію, болѣе азіатскую. И вотъ составился народъ, по вѣрѣ и мѣсту жительства принадлежавшій Европѣ, но, между тѣмъ, по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азіатскій, — народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свѣта, двѣ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азіатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дѣятельность и величайшая лѣнь и нѣга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію — и между тѣмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе.

1832.

Нѣсколько словъ о Пушкинѣ.

При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. — Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью, гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи перерывается подоблачными горами и обвѣвается югомъ. Исполинскій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ, Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно

сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣднія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набѣги; и съ этихъ поръ кисть его пріобрѣла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ — слогъ его молнія; онъ такъ же блещетъ, какъ сверкающія сабли, и летитъ быстрѣе самой битвы. Онъ одинъ только пѣвецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнутъ и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолѣпными крымскими ночами и садами. Можетъ быть, отъ того и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣе тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и отъ того произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имѣли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смѣлое болѣе всего доступно, сильнѣе и просторнѣе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ; ничья слава не распространялась такъ быстро. Всѣ кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имѣло въ себѣ что то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду [1].

[1] Подъ именемъ Пушкина разсѣивалось множество самыхъ нелѣпыхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ національнымъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смѣлъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполнѣ національнымъ поэтомъ, — эти поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительною смѣлостью, какими дышитъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи поражены смѣлостью его кисти и волшеб-

---

сильною извѣстностью. — Это вначалѣ смѣшитъ, но послѣ бываетъ досадно, когда, наконецъ, выходишь изъ молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Такимъ образомъ, начали, наконецъ, Пушкину приписывать: „Лѣкарство отъ холеры“, „Первую ночь“ и тому подобныя. *Примѣч. Гоголя.*

ствомъ картинъ, всѣ читатели его, и образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія сдѣлались предметомъ его поэзіи, позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болѣе спокойный и гораздо менѣе исполненный страстей бытъ русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: „изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были". Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнію, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: „это вяло, это слабо, это не хорошо, это ни мало не похоже на то, что было". Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! [1]. Русская исторія только со времени послѣдняго ея направленія при императорахъ пріобрѣтаетъ яркую живость; до того, характеръ народа большею частію былъ безцвѣтенъ, разнообразіе страстей ему мало было извѣстно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народѣ тоже весьма извинительное чувство придать большій размѣръ дѣламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа — на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ: быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно-рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ

[1] Срв. выше „Портретъ" (исторію перваго заказа Черткова).

происшествіе. Но въ этомъ случаѣ прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, уже такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотѣлъ остаться поэтомъ, и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ себѣ искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный, какъ воля, самъ себѣ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однакоже онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ и другой, они оба — явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе, хотя по весьма естественной причинѣ то, что мы рѣже видимъ, всегда сильнѣе поражаетъ наше воображеніе, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кромѣ неразсчетъ поэта — неразсчетъ передъ его многочисленною публикою, а не предъ собою: онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже, можетъ быть, еще болѣе пріобрѣтаетъ его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цѣнителей.

Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства. Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ: знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ

изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: „Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущее, а не сухое“. Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышитъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понять тотъ, чья душа носитъ въ себѣ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организирована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ; потому что чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина. По справедливости ли оцѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлилъ ли, понялъ ли кто „Бориса Годунова“, это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней, неприступной поэзіи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мѣрѣ, печатно нигдѣ не произнеслась имъ вѣрная оцѣнка, и онѣ остались донынѣ нетронуты.

Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологіи, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширнѣе, виднѣе, нежели въ поэмахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко — ослѣпительны, что ихъ способенъ понимать всякій, но зато большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только однѣ слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть

въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣстъ птичку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности — привыкшему глотать издѣлія крѣпостного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струѣ какой нибудь серебряной рѣки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣпительныя плечи или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная сѣнь, созданныя для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣтъ этого каскада краснорѣчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отдѣлить ее, она становится слабою и безсильною. Здѣсь нѣтъ краснорѣчія, здѣсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругъ; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словѣ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нѣсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имѣетъ сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвѣчиваетъ одна главная идея.

Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и лите-

раторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, покамѣстъ еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дѣло! Казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и, вмѣстѣ, такъ дѣтски чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы, это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя однимъ поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣй уменьшается кругъ обступившей его толпы и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечестъ по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей.

1832.

Объ архитектурѣ нынѣшняго времени.

Мнѣ всегда становится грустно, когда я гляжу на новыя зданія, безпрерывно строящіяся, на которыя брошены милліоны и изъ которыхъ рѣдкія останавливаютъ изумленный глазъ величествомъ рисунка или своевольной дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослѣпительною пестротою украшеній. Невольно втѣсняется мысль: неужели прошелъ невозвратимо вѣкъ архитектуры? неужели величіе и геніальность больше не посѣтятъ насъ? или они — принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергіи и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отчего же тѣ народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мѣсто въ исторіи міра, — отчего же они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, не освѣщеннаго дробью познаній, ума? Отчего же колоссальные памятники индусовъ такъ величавы и неизмѣримы, отчего аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отчего у насъ въ Европѣ въ средніе вѣка такъ много воздвиглось ихъ въ изумительномъ величіи?

Не хотѣлось бы убѣдиться въ этой грустной мысли, но все говоритъ, что она истинна. Они прошли — тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра, устремляла всѣ мысли, всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу,

къ нему одному рвался и предъ нимъ, почти въ виду его, благоговѣйно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летѣло къ небу; узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину, прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла.

Была архитектура необыкновенная, христіанская, національная для Европы — и мы ее оставили, забыли, какъ будто чужую, пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три вѣка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесамъ древнимъ, римскимъ и византійскимъ, или уродовала ихъ по своимъ формамъ, — Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было ничто все ею видѣнное, что въ нѣдрѣ ея находятся миланскій и кельнскій соборы, и еще донынѣ чернѣютъ кирпичи недоконченной башни страсбургскаго мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась передъ окончаніемъ среднихъ вѣковъ, есть явленіе такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображеніе человѣка. Ее напрасно производятъ отъ арабской: идеи этихъ двухъ родовъ совершенно расходятся; изъ арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массѣ зданія роскошь украшеній и легкость, но самая эта роскошь украшеній вылилась у ней совершенно въ другую форму. — Она обширна и возвышенна, какъ христіанство. Въ ней все соединено вмѣстѣ: этотъ стройно и высоко возносящійся надъ головою лѣсъ сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными измѣненіями и переплетами, присоединеніе къ этой ужасающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пе-

стрыхъ украшеній; эта легкая паутина рѣзьбы, опутывающая его своею сѣтью, обвивающая его отъ подножія до конца шпица и улетающая вмѣстѣ съ нимъ на небо; величіе и вмѣстѣ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такія достоинства, которыхъ никогда, кромѣ этого времени, не вмѣщала въ себѣ архитектура. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядитъ разноцвѣтный цвѣтъ оконъ, поднявши глаза кверху, гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ, — весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣетъ и коснуться дерзновенный умъ человѣка.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Какъ только энтузіазмъ среднихъ вѣковъ угасъ, и мысль человѣка раздробилась и устремилась на множество разныхъ цѣлей, какъ только единство и цѣлость одного исчезли, — вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло и величіе. Силы его, раздробившись, сдѣлались малыми: онъ произвелъ вдругъ во всѣхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполинскаго уже не было. Византійцы, убѣжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ европейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византійцы давно уже не имѣли древняго аттическаго вкуса; они уже не имѣли и первоначальнаго византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, круглыя, плѣнительныя, сладострастныя формы куполовъ и колоннъ тщились примѣнить къ христіанству, и примѣнили такъ же неудачно, какъ неудачно привили христіанство къ своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполъ вытянулся вверхъ и сдѣлался почти угловатымъ; стройныя линіи, фронтоны какъ то странно изломались и произвели ничтожныя формы. Въ такомъ видѣ получили эту архитектуру евро-

пейцы, которые, съ своей стороны, измѣнили ее еще болѣе, потому что въ душѣ своей еще носили первоначальный образъ готическій и мысль, совершенно противоположную разслабленной многосторонности грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колоннами, полуколоннами безъ всякой цѣли. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество миѳологическихъ головъ и украшеній безъ смысла, облѣпивъ тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крѣпкихъ чертъ ея нѣжными и не выразили никакой идеи. Стремленіе въ высоту, сообщавшее величіе и легкость самымъ тяжелымъ массамъ, исчезло; вмѣсто того онѣ разъѣхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началѣ XVIII вѣка, еще менѣе выражаютъ идею своего назначенія. Глядя на нихъ, кажется, чувствуешь то же, какъ еслибы человѣкъ грубый началъ поддѣлываться подъ свѣтскую утонченность. Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соединялась съ выгнутою и кривою; при полуготической формѣ всей массы, они ничего не имѣютъ въ себѣ готическаго: окна мелкія, сбитыя въ кучу, или раскиданныя безъ всякой гармоніи, пилястры, не тянувшіеся во всю длину зданія, но приклеенные иногда вверху, подъ куполомъ, иногда на серединѣ, коротенькіе, неуклюжіе, сверхъ которыхъ часто находится другой этажъ такихъ же колоннъ, маленькихъ, некрасивыхъ; крыша — изъ ломаныхъ линій; при этомъ часто удерживался и готическій шпицъ, но уже не тотъ легкій и прозрачный, который подъ рукою художника среднихъ вѣковъ принималъ такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летѣлъ къ небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено, какъ безвкусное.

Хотя въ продолженіе XVIII вѣка вкусъ нѣсколько улучшился, но изъ этого не выиграли мы ровно ничего: онъ улучшился въ веригахъ чужихъ формъ. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она въ греческой формѣ была уже до невозможности безобразна. Тогда еще съ бо̀льшимъ рвеніемъ стали изучать древнія формы, но изучали такъ, какъ робкіе ученики, копирующіе съ точностью мелочныя подробности оригинала и позабывающіе объ идеѣ цѣлаго. Брали части и съ необыкновеннымъ излишествомъ лѣпили въ огромную массу, показавшую еще никогда дотолѣ небывалое разъединеніе въ цѣломъ. Колонны и куполъ, больше всего прельстившіе насъ, начали приставлять къ зданію безъ всякой мысли и во всякомъ мѣстѣ: они уже не были главною идеею строенія, а только частями, или, лучше, украшеніями его. Размѣръ самаго строенія мы увеличили гораздо болѣе, а размѣръ купола въ отношеніи къ строенію уменьшили. Мы не посмотрѣли въ увеличительное стекло на строеніе, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извѣстное разстояніе, но смотрѣли вблизи. Куполъ сдѣлался ничтожнымъ, малымъ. Видя его пустынность и одиночество наверху зданія, прибавили къ нему нѣсколько другихъ, возвысили для этого надъ ними башни — и куполы стали походить на грибы. И куполъ, — это лучшее, прелестнѣйшее твореніе вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который долженъ былъ обнять все строеніе и роскошно отдыхать на всей его массѣ бѣлою, облачною своей поверхностью,—исчезъ совершенно. Я люблю куполъ, тотъ прекрасный, огромный, легко-выпуклый куполъ, который возродилъ роскошный вкусъ грековъ въ александрійскій вѣкъ и позже въ вѣкъ наслажденій и эгоизма, вѣкъ утонченнаго раздробленія жизни, вѣкъ антологіи, легкой, душистой, дышащей сладострастіемъ, лѣнью

и роскошью, когда каждый принадлежалъ себѣ, жилъ для себя, а не для общества, когда на великолѣпныхъ, роскошныхъ баняхъ, вездѣ былъ виденъ этотъ смѣло-выпуклый, какъ небесный сводъ, куполъ. Ничто не можетъ такъ сладострастно, такъ плѣнительно украсить массу домовъ, какъ такой куполъ. Но для этого онъ долженъ быть помѣщенъ только на томъ зданіи, которое неизмѣримо своею шириною и какъ можно болѣе захватываетъ пространства; онъ долженъ лечь на всей обширной его платформѣ; онъ долженъ быть свѣтлѣе самаго зданія, и лучше, если онъ весь бѣлый. Ослѣпительная бѣлизна сообщаетъ неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой формѣ, — онъ тогда лучше, роскошнѣе и облачнѣе круглится на небѣ. И донынѣ города сирійскіе и антіохійскіе имѣютъ необыкновенную прелесть черезъ то, что удержали нѣкоторое подобіе этихъ куполовъ; и донынѣ на Востокѣ можно встрѣтить ихъ въ величавомъ и огромномъ видѣ.

Портикъ съ колоннами, это ясное произведеніе аттическаго стройнаго вкуса, который не терпѣлъ надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже пропалъ: ему не догадались дать колоссальнаго размѣра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видѣ. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колоннами лѣпились только надъ крыльцами ихъ. Громоздимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ башни и массы, вовсе ему не отвѣчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, не имѣющій обширнаго генія, всегда недоволенъ однимъ простымъ сюжетомъ и, вмѣсто того, чтобы развить его и сдѣлать огромнымъ, онъ привязываетъ къ нему множество другихъ; его поэма обременяется не-

стротою разныхъ предметовъ, но не имѣетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цѣлаго.

Въ началѣ XIX столѣтія вдругъ распространилась мысль объ аттической простотѣ и такъ же, какъ обыкновенно бываетъ, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одѣяніе гетеръ. Казалось, еще ближе присмотрѣлись къ древнимъ, еще глубже изучили ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатокъ мелкости и миніатюрности: узнали искусство болѣе связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цѣлому и опредѣлить ему размѣръ, способный вызвать изумленіе. Это новое стремленіе рѣшительно было издержано на мелочныя бесѣдки, павильоны въ садахъ и подобныя небольшія игрушки. Они носили въ себѣ много аттическаго, но ихъ нужно было разсматривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться; они сдѣлались, наконецъ, просты до плоскости. Самое вредное направленіе архитектурѣ внушила мысль о соразмѣрности, не о той соразмѣрности, которая должна быть въ строеніи въ отношеніи къ нему самому, но просто о соразмѣрности въ отношеніи къ окружающимъ его зданіямъ. Это все равно, еслибы геній сталъ удерживаться отъ оригинальнаго и необыкновеннаго потому только, что передъ нимъ будутъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмѣрность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе какъ бы велико ни было въ своемъ объемѣ, но непремѣнно чтобы казалось малымъ. Его стали уединять и помѣщать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще болѣе ничтожнымъ. Какъ будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое со-

всѣмъ не велико; какъ будто бы насильно старались истребить въ душѣ благоговѣніе и сдѣлать человѣка равнодушнымъ ко всему.

Всѣмъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались дѣлать какъ можно болѣе похожими одинъ на другого; но они болѣе были похожи на сараи или казармы, нежели на веселыя жилища людей. Совершенно гладкая ихъ форма ничуть не принимала живости отъ маленькихъ правильныхъ оконъ, которыя въ отношеніи ко всему строенію были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили цѣлые города въ ея духѣ! Осмѣлился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко однообразной кучи, воздвигнуть зданіе, носившее бы на себѣ печать особенной, рѣзкой архитектуры, осмѣлился бы кто-нибудь возлѣ строенія въ аттическомъ вкусѣ непосредственно воздвигнуть готическое, — его бы сочли едва ли не сумашедшимъ! Отъ того новые города не имѣютъ никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки, такъ монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься отъ желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стѣнъ, и больше ничего. Напрасно ищетъ взглядъ, чтобы одна изъ этихъ безпрерывныхъ стѣнъ, въ какомъ-нибудь мѣстѣ, вдругъ возросла и выбросилась на воздухъ смѣлымъ переломленнымъ сводомъ или изверглась какою-нибудь башней-гигантомъ. Старинный германскій городокъ съ узенькими улицами, съ пестрыми домиками и высокими колокольнями имѣетъ видъ, несравненно болѣе говорящій нашему воображенію. Даже видъ какого-нибудь восточнаго города, съ высокими, тонкими минаретами, съ восточными пестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имѣетъ болѣе характера, болѣе дышитъ поэзіей и воображеніемъ, нежели

наши европейскіе города позднѣйшей архитектуры.

Башни огромныя, колоссальныя необходимы въ городѣ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для христіанскихъ церквей. Кромѣ того, что онѣ составляютъ видъ и украшеніе, онѣ нужны для сообщенія городу рѣзкихъ примѣтъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы путь всякому, не допуская сбиться съ пути. Онѣ еще болѣе нужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядѣть одинъ только городъ, между тѣмъ какъ для столицы необходимо видѣть, по крайней мѣрѣ, на полтораста верстъ во всѣ стороны, и для этого, можетъ быть, одинъ только или два этажа лишнихъ — и все измѣняется. Объемъ кругозора по мѣрѣ возвышенія распространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаетъ существенную выгоду, обозрѣвая провинціи и заранѣе предвидя все; зданіе, сдѣлавшись немного выше обыкновеннаго, уже пріобрѣтаетъ величіе; художникъ выигрываетъ, будучи болѣе настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнѣе чувствуя въ себѣ напряженіе.

Это направленіе архитектуры старалось, какъ будто нарочно, скрывать свое величіе, вмѣсто того, чтобы, какъ можно болѣе, выказывать его пространство. Нѣтъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно неизмѣримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталъ, пораженный внезапнымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояніи окинуть глазами его вершину. И потому строеніе всегда лучше, если стоитъ на тѣсной площади. Къ нему можетъ идти улица, показывающая его въ перспективѣ, издали, но оно должно имѣть поражающее величіе вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремѣли у самаго его подножія! Чтобы люди лѣпились подъ нимъ и своею

малостью увеличивали его величіе! Дайте человѣку большое разстояніе — и онъ уже будетъ глядѣть выше, гордо, на находящіеся предъ нимъ предметы; ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезапное, оглушающее съ перваго взгляда, производитъ на насъ потрясеніе. И потому вышину строенія подымайте въ соразмѣрности съ площадью, на которой оно стоитъ. Если оно съ послѣдняго края площади кажется малымъ, и зритель не ощущаетъ изумленія, но долженъ для этого близко подходить къ нему, то зданіе пропало, а вмѣстѣ съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооруженіе его. —

Но возвращаюсь къ простотѣ архитектуры, которая заразила нашъ XIX вѣкъ. Сами греки чувствовали, что однѣ прямыя линіи и совершенная простота строеній будутъ казаться уже черезчуръ плоскими, особливо если множество такого рода строеній соединятся вмѣстѣ. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строенія должна непремѣнно имѣть возлѣ себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть болѣе оригинальною и замѣтною, и потому простирали надъ ними навѣсъ древесный. Бѣлизна прямолинейной стѣны или стройнаго съ колоннами фронтона, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дѣйствительно хороша, потому что составляетъ контрастъ съ облачнымъ расположеніемъ дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающаго свои вѣтви. Какъ только зданіе ихъ окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно болѣе игры. Мысль о деревѣ и о природѣ прежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городѣ дерево — драгоцѣнность; тогда они чаще начали употреблять не гладкія дорическія колонны, но большею частію коринѳскія съ капителью изъ

завитыхъ листьевъ. Вообще убирать строенія листьями, віющимися гроздьями винограда, или украшеніями, носящими неясный образъ вѣтвей дерева, было инстинктомъ у всѣхъ народовъ. Они невольно, слѣпо слѣдовали тайному внушенію своего вкуса. Въ готической архитектурѣ болѣе всего замѣтенъ отпечатокъ, хотя неясный, тѣсно сплетеннаго лѣса, мрачнаго, величественнаго, гдѣ топоръ не звучалъ отъ вѣка. Эти стремящіяся нескончаемыми линіями украшенія и сѣти сквозной рѣзьбы не что другое, какъ темное воспоминаніе о стволѣ, вѣтвяхъ и листьяхъ древесныхъ. И потому смѣло возлѣ готическаго строенія ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будетъ стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями. И готическое, и греческое получитъ отъ этого двойную прелесть. Истинный эффектъ заключенъ въ рѣзкой противоположности; красота никогда не бываетъ такъ ярка и видна, какъ въ контрастѣ. Контрастъ тогда только бываетъ дуренъ, когда располагается грубымъ вкусомъ или, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса, но, находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ первое условіе всего и дѣйствуетъ ровно на всѣхъ. Разныя части его гармонируютъ между собою по тѣмъ же законамъ, по которымъ цвѣтъ палевый гармонируетъ съ синимъ, бѣлый съ голубымъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далѣе. — Все зависитъ отъ вкуса и отъ умѣнія расположить. Не мѣшайте только въ одномъ зданіи множества разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждый носитъ въ себѣ что то цѣлое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными, въ отношеніи ихъ другъ къ другу, будетъ рѣзка и сильна. Чѣмъ болѣе въ городѣ памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тѣмъ онъ интереснѣе, тѣмъ чаще заставляетъ осматривать себя, останавливаться съ на-

слажденіемъ на каждомъ шагу. Неужели было бы хорошо, еслибы въ англійскомъ саду, вмѣсто безпрерывныхъ, неожиданныхъ видовъ, гуляющій находилъ ту же самую дорожку или, по крайней мѣрѣ, такъ похожую своими окрестностями на видѣнную имъ прежде, что она кажется давно извѣстною?

Терпимость намъ нужна; безъ нея ничего не будетъ для художества. Всѣ роды хороши, когда они хороши въ своемъ родѣ. Какая бы ни была архитекура — гладкая, массивная египетская, огромная ли, пестрая индусовъ, роскошная ли мавровъ, вдохновенная ли и мрачная готическая, граціозная ли греческая — всѣ онѣ хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всѣ онѣ будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Еслибы, однакожъ, потребовалось отдать рѣшительное преимущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его готической. Она чисто-европейская, созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходитъ всѣ другія. Но изъ милости, изъ состраданія не ломайте, не коверкайте ея! Глядите чаще на знаменитый кельнскій соборъ — тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго памятника никогда не производили ни древніе, ни новые вѣки. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она болѣе даетъ разгула художнику. Воображеніе живѣе и пламеннѣе стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линіи и безкарнизныя готическія пиластры, узко одна отъ другой, должны летѣть черезъ все строеніе. Горе, если онѣ отстоятъ далеко другъ отъ друга, если строеніе не перевысило по крайней мѣрѣ вдвое своей ширины, если

не втрое! Оно тогда уничтожилось само въ себѣ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно; чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стѣны, чтобы гуще, какъ стрѣлы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные угольные столбы! Никакого перерѣза, или перелома, или карниза, давшаго бы другое направленіе или уменьшившаго бы размѣръ строенія! Чтобы они были ровны отъ основанія до самой вершины! Огромнѣе окна, разнообразнѣе ихъ форму, колоссальнѣе ихъ высоту! Воздушнѣе, легче шпицъ! Чтобы все, чѣмъ болѣе подымались кверху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. И помните самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здѣсь одна законодательная идея — высота.

Я увѣренъ, что нѣкоторые будутъ утверждать, что постройка зданія, слишкомъ высокаго, безполезна, потому что намъ нужно больше мѣста, что высота ни къ чему не служитъ и даромъ истрачиваетъ матеріалы. Но я вовсе не совѣтую этотъ готическій образъ строеній употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественнаго, колоссальнаго, при взглядѣ на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молельщика отъ низкой его хижины. Весьма не мѣшаетъ вспомнить великую старую истину, что народъ не въ силахъ понять религіи въ такой же самой чистотѣ и безтѣлесности, какъ получившіе высшее образованіе; что на него болѣе всего производятъ впечатлѣніе видимые предметы; что чѣмъ меньше этотъ видимый предметъ на него

дѣйствуетъ, тѣмъ слабѣе его энтузіазмъ и простая вѣра. Великолѣпіе повергаетъ простолюдина въ какое то онѣмѣніе, и оно то единственная пружина, двигающая дикимъ человѣкомъ. Необыкновенное поражаетъ всякаго, но тогда только, когда оно смѣло, рѣзко и разомъ бросается въ глаза. Здѣсь уже прочь всякое скряжничество и разсчетъ! Въ противномъ случаѣ этотъ разсчетъ будетъ не разсчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будетъ выгода одного человѣка передъ выгодою цѣлаго человѣчества.

Вальтеръ-Скоттъ первый отряхнулъ пыль съ готической архитектуры и показалъ свѣту все ея достоинство. Съ того времени она быстро распространилась. Въ Англіи всѣ новыя церкви строятъ въ готическомъ вкусѣ. Онѣ очень милы, очень пріятны для глазъ, но, увы, истиннаго величія, дышащаго въ великихъ зданіяхъ старины, въ нихъ нѣтъ. Онѣ, несмотря на стрѣльчатыя окна и шпицы, не сохраняютъ въ цѣломъ истинноготическаго вкуса и уклонились отъ образцовъ. Во-первыхъ, онѣ сами по себѣ вовсе не огромны (великій недостатокъ готическаго строенія); во-вторыхъ, весь этотъ лѣсъ четырехгранныхъ тонкихъ столбовъ и линій, союзно стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, оставшаяся чрезъ это гладкость нечувствительно даетъ имъ совершенно другое выраженіе.

Могущественнымъ словомъ Вальтеръ-Скотта вкусъ къ готическому распространился быстро вездѣ и проникнулъ во все. Еще не сдѣлавшись великимъ, онъ уже сдѣлался мелкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось въ готическое. И эти величественныя, прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Вѣкъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разбросаны по всему, знанія наши такъ энциклопедически, что мы никакъ не можемъ усредото-

чить на одномъ какомъ-нибудь предметѣ нашихъ помысловъ, и оттого поневолѣ раздробляемъ всѣ наши произведенія на мелочи и на прелестныя игрушки. Мы имѣемъ чудный даръ дѣлать все ничтожнымъ. Египетскую архитектуру, которой весь эффектъ въ колоссальности, мы издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ проѣзжающій кучеръ можетъ достать рукою. Изъ готической мы дѣлаемъ серьги, футляры для часовъ; греческую мы употребляемъ въ бесѣдкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ: въ ней столько безсмыслія, такое негармоническое соединеніе частей, такое отсутствіе всякаго воображенія, что недостаетъ силъ назвать ее имѣющею свой характеръ архитектурою.

Есть рудникъ, о которомъ едва только знаютъ, что онъ существуетъ; есть міръ совершенно особенный, отдѣльный, изъ котораго менѣе всего черпала Европа. Это — архитектура восточная, — архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ, воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въ иперболу и аллегорію, пролетѣвшимъ мимо жизни и прозаическихъ нуждъ .ея. Жизнь азіатцевъ никогда не имѣла такого многосторонняго развитія, какъ европейцевъ: никогда потребности ихъ не были такъ разнообразны и безчисленны, какъ наши, и потому очень естественно, что обыкновенныя жилища ихъ лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый азіатецъ во время своего покоя. Но зато вездѣ, куда ни проникала только азіатская роскошь, огромная, великолѣпная, — та роскошь, которая блещетъ въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездѣ, куда ни проникала эта увѣшанная ожерельями дочь восточнаго во-

ображенія, — тамъ стоятъ донынѣ дворцы, великолѣпіе которыхъ изумительно. Строеніе ихъ захватывало цѣлые вѣки; цѣлый народъ, цѣлая нація надъ нимъ трудилась, и предки вѣрили, какъ въ неотразимое предопредѣленіе, что зданіе будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикій энтузіазмъ первоначальной ихъ религіи, вездѣ громоздились памятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль нѣмѣетъ отъ изумленія, когда вспомнишь, какъ бѣдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для поднятія и укрѣпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болѣе изумленіе овладѣваетъ духомъ, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся человѣкъ развился внезапно на этомъ гигантскомъ зданіи, какъ былъ онъ проникнутъ и восторженъ мыслью о божествѣ, что невольно показалъ разоблаченіе своего генія и упредилъ медленные годы вѣкового образованія.

Взгляните на этотъ массивный, величественный Триченгурскій храмъ у индусовъ, едва ли не одно изъ первыхъ зданій по величинѣ своей. Это пирамидальное склоненіе массы кверху, постепенное уменьшеніе этажей, бездна индѣйскихъ портиковъ, облѣпливающихъ ихъ стѣны, пиластры, громоздящіяся надъ пиластрами, колонны надъ колоннами, какъ будто ступающія одна на другую, чтобы скорѣе достать вершины этой массы — все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Триченгурскій храмъ слишкомъ уже тяжелъ и дышитъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ Минаръ, которымъ по справедливости славятся Дельги. Я не знаю въ мірѣ башни, которая бы, при простотѣ почти аттической, столько дышала глубиною красоты, гдѣ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ

нами, то европейцы вообще могутъ заимствовать съ пользою это пирамидальное или конусообразное устремленіе кверху — рѣзкое отличіе индѣйскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противоположный родъ: здѣсь царство азіатской роскоши. Строеніе раздается пространнѣе въ ширину. Огромный восточный куполъ, или совершенно круглый, или выгибающійся, какъ сладострастная ваза, опрокинутая внизъ, или въ видѣ шара, или обремененный, облѣпленный рѣзьбою и украшеніями, какъ богатая митра, патріархально властвуетъ надъ всѣмъ зданіемъ: внизу, у самаго подножія строенія, небольшіе куполы цѣлою оградою обходятъ его пространныя стѣны, какъ покорные рабы; со всѣхъ сторонъ летятъ тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрастъ своею легкою, веселою торнюрою [1] съ важнымъ, величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный магометанинъ, въ широкомъ, убранномъ золотомъ и каменьями платьѣ, возлежитъ среди гурій, стройныхъ, обнаженныхъ, ослѣпительныхъ своею бѣлизною. —

Нигдѣ зодчество не принимало столькихъ разнообразныхъ формъ, какъ на Востокѣ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мимо прежнихъ условій или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, сходствовавшими съ прежними развѣ только въ самомъ отдаленномъ началѣ религіозномъ или національномъ. Вся Индія усѣяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняетъ свое рѣзкое отличіе, свой особый отпечатокъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя подвесть подъ одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всѣхъ возможныхъ формъ, вовсе

[1] Станъ.

не похожихъ одинъ на другого, украшеній и убранствъ, совсѣмъ отличныхъ и всегда новыхъ — все говоритъ о необыкновенномъ воображеніи ихъ, которое не стѣснялось никакими правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можетъ быть, было безчисленное множество сектъ, наполняющихъ Индію, производившихъ вѣчную оппозицію, вѣчную раздражительность воображенія. Но болѣе исполнены роскоши очаровательной, которою говоритъ восточная природа, тѣ зданія, которыхъ коснулся вкусъ аравитянъ. Въ Азіи, во время этихъ разрушительныхъ встрѣчъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно магометанъ, произошло необыкновенное смѣшеніе архитектуръ, произошли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдѣ не соединялось смѣлое съ такою прекрасною роскошью, какъ у аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраснѣйшаго. Ихъ архитектура не носитъ на себѣ печати дремучихъ лѣсовъ; она вся состоитъ изъ цвѣтовъ. Она убрана цвѣтами, она потоплена цѣлымъ моремъ цвѣтовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана нѣжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колонны увѣнчаны тюльпаномъ; ихъ рѣзьба въ видѣ незабудокъ и цвѣтовъ съ четырью лепестками, или развивающихся розъ, ихъ галлереи похожи на вѣтви пальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвѣтистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ то именно создалась для жизни, отданной наслажденіямъ, для веселыхъ, свѣтлыхъ жилищъ человѣка. Она рѣшительно изгнала изъ себя все мрачное. Зданіе такъ прелестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими, какъ молнія, глазами, въ пестромъ своемъ убранствѣ и драгоцѣнныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имѣетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это — ко-

лонны, не гладкія, но распещренныя украшеніями отъ піедестала до капители. Иногда эти колонны бываютъ совершенно сквозныя и прозрачныя: рѣзьба проникаетъ ихъ насквозь. Онѣ составляютъ плѣнительнѣйшее изобрѣтеніе восточнаго вкуса. Зданіе, какъ бы ни было громоздко, но съ такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человѣка представляютъ странное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько дастъ объѣздовъ, столько надѣлаетъ несообразностей, неправильностей, ложнаго, что послѣ самъ дивится своей недогадливости. Обо всѣхъ сихъ памятникахъ Европа и не заботилась. Одинъ только вкусъ китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всѣхъ восточныхъ народовъ, какимъ то повѣтріемъ занесся къ намъ въ концѣ XVIII столѣтія. Хорошо, что европейцы, по обыкновенію своему, тотчасъ обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить къ большимъ строеніямъ. Этотъ вкусъ, точно, былъ недуренъ въ бездѣлкахъ, потому что европейцы его тотчасъ усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой онъ самъ въ себѣ не имѣетъ, такъ же, какъ и его народъ не имѣетъ энергіи, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, доселѣ показаннаго мною. Это архитектура катакомбъ индѣйскихъ и египетскихъ, гдѣ эти два народа такъ удивительно сошлись между собою и дали поводъ подозрѣвать древнее между ими родство. Главный характеръ ея — тяжесть. Здѣсь все должно соединиться въ массу и толщу: зданіе тяжело ступаетъ, какъ на слоновыхъ пядяхъ, на короткихъ, тяжелыхъ колоннахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равняется почти съ высотою. Здѣсь уже совер-

шенно все ширина и масса. На ней какъ будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрываетъ тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ ея, то здѣсь достоинство. Эта подземная архитектура имѣетъ что то также величавое, хотя внушаетъ совершенно другія мысли. Здѣсь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляетъ главную идею всего зданія. Если художникъ предположилъ создать тяжелое и массивное и выполнилъ это, его твореніе, вѣрно, будетъ хорошо: но когда начерталъ онъ планъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе не тяжелое, или, наоборотъ, когда онъ замыслилъ произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже рѣшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю, и оно выходило на свѣтъ, представляло всегда странный и вмѣстѣ страшный видъ — какъ будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъ будто бы мракъ очутился вдругъ среди яркаго свѣта, — мракъ, только освѣщаемый свѣтомъ, а не прогоняемый имъ, какъ египетская урна или мертвая голова среди пиршествъ. Мнѣ кажется, напрасно эту архитектуру вгоняютъ въ землю: показавшись вдругъ, нечаянно, среди свѣтлыхъ, легкихъ домиковъ, она должна непремѣнно поразить всякаго и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строеніе среди многолюднаго города было бы прелесть, но только одно, не болѣе. Въ строеніяхъ такого рода всѣ части состоятъ изъ тяжестей, но при всемъ томъ отношенія ихъ между собою исполнены какой то внутренней, нѣсколько страшной гармоніи, и создать въ этомъ родѣ совершенное весьма нелегко.

Египетская архитектура надземная составляетъ совершенно другой родъ: она массивна тоже; но стройность и простота въ высшей степени съ нею неразлучны; главный же ея характеръ — колоссальность. Чѣмъ она глаже снизу доверху, безъ

всякихъ раздѣленій и рѣзкихъ украшеній, тѣмъ лучше. Но не употребляйте ее на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менѣе нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены всѣ ея условія, и если она выбрана совершенно согласно назначенію строенія. Безъ этой благонамѣренной, безпристрастной терпимости не будетъ ни истинныхъ талантовъ, ни истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластицизмъ, предписывающій строенія ранжировать подъ одну мѣрку и строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоять изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобы онъ доставлялъ удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болѣе различныхъ вкусовъ. Пусть въ одной и той же улицѣ возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройнымъ размѣромъ греческое. Пусть въ немъ будутъ видны и легко выпуклый млечный куполъ, и религіозный безконечный шпицъ, и восточная митра, и плоская крыша италіанская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно рѣже дома сливаются въ одну ровную, однообразную стѣну, но клонятся то вверхъ, то внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни какъ можно чаще разнообразятъ улицы. Неужели найдется такой смѣльчакъ или, лучше сказать, несмѣльчакъ, который бы ровное мѣсто въ природѣ осмѣлился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другого?

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всѣхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которымъ мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ

быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстить въ себѣ всѣ безчисленныя измѣненія ихъ. Но самое главное — долженъ изучить все въ идеѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но для того, чтобы изучить въ идеѣ, нужно быть ему геніемъ и поэтомъ.

Но обратимся къ архитектурѣ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая часть, каждая отдѣльно взятая масса домовъ представляла живой пейзажъ. Нужно толпѣ домовъ придать игру, чтобы она, если можно такъ выразиться, заиграла рѣзкостями, чтобы она вдругъ врѣзалась въ память и преслѣдовала бы воображеніе. Есть такіе виды, которые вѣкъ помнишь, и есть такіе, которыхъ, при всѣхъ усиліяхъ, не можешь замѣтить въ памяти. Зодчество грубѣе и вмѣстѣ колоссальнѣе другихъ искусствъ, какъ то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффектъ его — въ эффектѣ. Масса города имѣетъ уже тѣмъ выгоду, что ее вдругъ можно измѣнить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строеніе среди ея — и она совершенно измѣняетъ видъ свой, принимаетъ другое выраженіе, такъ, какъ всякій рисунокъ ученика вдругъ оживляется подъ кистью или карандашомъ его учителя, который въ одномъ мѣстѣ подкрѣпитъ, въ другомъ отдѣлитъ, въ третьемъ только тронетъ, — и все уже не то. Притомъ, самыя ошибки уже подаютъ идею о томъ, какъ избѣжать ихъ: безхарактерное подаетъ мысль о характерномъ, мелкое и плоское вызываютъ въ противоположность дерзкое и необыкновенное, углубленіе внизъ подаетъ идею о возвышеніи вверхъ, и — наоборотъ. Геній — богачъ страшный, передъ которымъ ничто весь міръ и всѣ сокровища.

При построеніи городовъ нужно обращать вниманіе на положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Го-

родъ на возвышеніи менѣе требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама: то подымаетъ домы на величественныхъ холмахъ своихъ и кажетъ ихъ великанами изъ-за другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ внизъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болѣе употреблять гладкихъ и одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положеніе земли уже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину одинъ изъ-за другого такъ, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядитъ двадцатиэтажная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдѣ природа одолѣваетъ искусство; тамъ искусство только для того, чтобы украсить ее. Но гдѣ положеніе земли гладко совершенно, гдѣ природа спитъ, тамъ должно работать искусство во всей силѣ. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здѣсь однообразіе и простота будетъ большая погрѣшность. Здѣсь архитектура должна быть какъ можно своенравнѣе: принимать суровую наружность, показывать веселое выраженіе, дышать древностью, блестѣть новостью, обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день, обхваченный грозою съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіяніи. Архитектура — тоже лѣтопись міра: она говоритъ тогда, когда уже молчатъ и пѣсни, и преданія, и когда уже ничто не говоритъ о погибшемъ народѣ. Пусть же она, хоть отрывками, является среди нашихъ городовъ въ такомъ видѣ, въ какомъ она была при отжившемъ уже народѣ, чтобы при взглядѣ на нее осѣнила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузила бы насъ въ его бытъ, въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы у насъ благодарность за

его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышенія[1].

Неужели, однакоже, невозможно созданіе (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихъ условій? Когда дикій и малоразвившійся человѣкъ, которому одна природа, еще грубо имъ понимаемая, служитъ руководствомъ и вдохновеніемъ, создаетъ твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинктъ вкуса, — отчего же мы, которыхъ всѣ способности такъ обширно развились, которые болѣе видимъ и понимаемъ природу во всѣхъ ея тайныхъ явленіяхъ, отчего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутаго такимъ богатствомъ нашего познанія? Идея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человѣкъ сильно чувствовалъ на себѣ ея вліяніе; теперь же искусство поставилъ онъ выше самой природы, — развѣ не можетъ онъ черпать своихъ идей изъ самаго искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Разсмотрите только, какую страшную изобрѣтательность показалъ онъ на мелкихъ издѣліяхъ утонченной роскоши; разсмотрите всѣ эти модныя бездѣлицы, которыя ка-

[1] Мнѣ прежде приходила очень странная мысль: я думалъ, что весьма не мѣшало бы имѣть въ городѣ одну такую улицу, которая бы вмѣщала въ себѣ архитектурную лѣтопись: чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыя, зритель видѣлъ бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ народамъ, потомъ постепенное измѣненіе ея въ разные виды: высокое преображеніе въ колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потомъ въ красавицу — греческую, потомъ въ сладострастную александрійскую и византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ римскую съ арками въ нѣсколько рядовъ, далѣе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ поднявшуюся до необыкновенной роскоши — аравійскою; потомъ дикою готическою, потомъ готико-арабскою, потомъ чисто готическою, вѣнцомъ искусства, дышащею въ Кельнскомъ соборѣ, потомъ страшнымъ смѣшеніемъ архитектуръ, происшедшимъ отъ обращенія къ византійской, потомъ древнею греческою въ новомъ костюмѣ, и, наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы въ себѣ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдѣлалась бы тогда въ нѣкоторомъ отношеніи исторіею развитія вкуса, и кто лѣнивъ перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобъ узнать все.

Прим. Гоголя.

ждый день являются и гибнутъ, разсмотрите ихъ, хотя въ микроскопъ, если такъ онѣ не останавливаютъ вашего вниманія, — какого онѣ исполнены тонкаго вкуса! какія принимаютъ онѣ совершенно небывалыя прелестныя формы! Онѣ создаются въ такомъ особенномъ родѣ, который еще никогда не встрѣчался. Рѣзьба и тонкая отдѣлка ихъ такъ незаимствованы и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видѣ, какъ гибнетъ вкусъ человѣка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ былъ бы замѣтенъ въ неподвижномъ и вѣчномъ. Развѣ мы не можемъ эту раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встрѣчается въ природѣ, должно быть непремѣнно только колонна, куполъ и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линія можетъ ломаться и измѣнять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ можно ввести украшеній, которыхъ еще ни одинъ архитекторъ не вносилъ въ свой кодексъ! — Въ нашемъ вѣкѣ есть такія пріобрѣтенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія, стихіи, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемыхъ зданій. — Возьмемъ, напримѣръ, тѣ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покамѣстъ висящая архитектура только показывается въ ложахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цѣлые этажи повиснутъ, если перекинутся смѣлыя арки, если цѣлыя массы вмѣсто тяжелыхъ колоннъ очутятся на сквозныхъ чугунныхъ подпорахъ, если домъ обвѣсится снизу доверху балконами съ узорными чугунными перилами, и отъ нихъ висящія чугунныя украшенія, въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ, облекутъ его своею легкою сѣтью, и онъ будетъ глядѣть сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунныя сквозныя украшенія, обвитыя около круг-

лой, прекрасной башни, полетятъ вмѣстѣ съ нею на небо — какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобрѣтутъ тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намековъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головѣ архитектора, если только этотъ архитекторъ — творецъ и поэтъ[1].

1831.

[1] Статья эта писана давно. Въ послѣднее время вкусъ въ Европѣ улучшился и особенно въ нашей любезной Россіи. Многіе архитекторы уже ей дѣлаютъ честь; изъ нихъ должно упомянуть о Брюловѣ, котораго зданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

Ал-Мамунъ.

(Историческая характеристика.)

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный калифатъ величественно возвышался на классической землѣ древняго міра. Онъ обнималъ на востокѣ всю цвѣтущую юго-западную Азію и замыкался Индіею; на западѣ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море. Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, видѣлъ повелѣнія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинцій; Бассора, Нигабуръ и Куфа зрѣли новообращенную Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы. Дамаскъ могъ одѣть всѣхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и арабъ уже думалъ, какъ бы осуществить на землѣ рай Магомета: создавалъ водопроводы, дворцы, цѣлые лѣса пальмъ, гдѣ сладострастно били фонтаны и дымились благовонія Востока. И къ такому развитію роскоши еще не успѣла привиться ни одна нравственная болѣзнь политическаго общества. Всѣ части этой великой имперіи, этого магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрѣплена была волею необыкновеннаго Гаруна, который по-

стигнулъ всѣ разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь-философъ, государь-политикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ. Онъ соединялъ въ себѣ все: умѣлъ ровно разлить свои дѣвствія на все и не доставить перевѣса ни одной отрасли надъ другою. Просвѣщеніе чужеземное онъ прививалъ къ своей націи въ такой только степени, чтобы помочь развитію ея собственнаго. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но все еще были исполнены энтузіазма, и огненныя страницы Корана перелистывались съ тѣмъ же благоговѣніемъ, исполнялись такъ же раболѣпно. Гарунъ умѣлъ ускорить весь административный государственный ходъ и исполненіе повелѣній страхомъ своей вездѣсущности. Намѣстники и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деспотомъ, опасались встрѣтить всезрящаго, переодѣтаго калифа—и правленіе безъ законовъ двигалось крѣпко и опредѣленно.

Въ такомъ видѣ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ назвалъ великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодѣтелей человѣческаго рода, и который замыслилъ государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ былъ одаренъ всею живостію и способностію къ долгому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку, и влюбленъ совершенно безкорыстно: онъ любилъ науку для нея же самой, не думая о ея цѣли и примѣненіи. Онъ предался ей съ исключительною страстью. Тогда аравитяне только что отрыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Греціи не могъ сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ; но аравійскіе ученые, зани-

маясь долгое время копотливою работою, уже нѣсколько привыкнули къ точности и формальности, и оттого принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечные выводы, это облеченіе въ видимость и порядокъ того, что они прежде чувствовали въ душѣ пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ вліяніемъ, Ал-Мамунъ, исполненный истинной жажды просвѣщенія, употреблялъ всѣ старанія ввести въ свое государство этотъ чуждый дотолѣ греческій міръ. Багдадъ распростеръ дружелюбныя длани всему ученому тогдашнему свѣту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежалъ къ какому бы то ни было званію, какой бы ни былъ онъ религіи, какихъ бы ни былъ исполненъ противорѣчащихъ началъ. Естественно, что тогда болѣе всего приносили свои познанія въ Багдадъ тѣ, которые еще сохраняли въ душѣ своей образъ политеизма, облеченнаго христіанскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммонія Саккаса, Платона и другихъ послѣдователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ ристаній въ Царьградѣ, слишкомъ занятомъ спорами о догмахъ христіанства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мнѣній. Вѣнценосный арабъ вслушивался внимательно въ усыпительную музыку ученыхъ толкованій и тонкостей. Правители государственныхъ мѣстъ не могли не увлечься примѣромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая то литературная мономанія. Визири и эмиры старались окружить свой дворъ учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была какъ будто чѣмъ то второстепеннымъ, что правители должны были многое, относящееся къ управленію, повѣрять усмотрѣнію своихъ секретарей и любимцевъ, что эти любимцы были иногда вовсе невѣжды,

часто получали пронырствами мѣста, что все это должно было отозваться на народѣ и въ послѣдствіи времени обрушиться на самихъ правителей. Толпа теоретическихъ философовъ и поэтовъ, занявшихъ правительственныя мѣста, не можетъ доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдѣльна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текутъ по своей дорогѣ. Отсюда исключаются тѣ великіе поэты, которые соединяютъ въ себѣ и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человѣка, проникли минувшееe и прозрѣли будущее, которыхъ глаголъ слышится всѣмъ народомъ. Они — великіе жрецы. Мудрые властители чествуютъ ихъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоцѣнную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ они только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдѣлать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что вѣрный путеводитель къ тому—науки, клонящіяся къ развитію человѣка. Онъ всѣми силами заставлялъ своихъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвѣщеніе. Но просвѣщеніе, вводимое Ал-Мамуномъ, менѣе всего отвѣчало природнымъ элементамъ и колоссальности воображенія арабовъ. Лишенныя энергіи начала политеизма, обратившіяся въ игру словъ, дерзко обезображенныя идеи христіанства, странно озарившія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, но, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ, представляли совершенный контрастъ пламенной природѣ араба, у котораго воображеніе слишкомъ потопляло тощіе выводы холоднаго ума. Этотъ чудный народъ не шелъ, а летѣлъ къ своему развитію. Геній его вдругъ оказывался въ войнѣ, торговлѣ, искусствахъ, мануфактурахъ и въ роскошной поэзіи Востока.

Его доселѣ небывалыя въ исторіи человѣчества стихіи вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этотъ народъ обѣщалъ дотолѣ невиданное совершенство націи. Но Ал-Мамунъ не понялъ его. Онъ упустилъ изъ вида великую истину, что образованіе черпается изъ самого же народа, что просвѣщеніе наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можетъ оно помогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же національныхъ стихій. Но для арабовъ поле подвиговъ было загражденo этимъ безплоднымъ чужестраннымъ просвѣщеніемъ. Самый космополитизмъ Ал-Мамуна, открывавшаго входъ въ государство ученымъ всѣхъ партій, уже зашелъ нѣсколько далеко. Выгоды, которыя въ государствѣ получали христіане, не могли не возродить въ собственныхъ его подданныхъ ненависти, а вмѣстѣ и презрѣнія къ самымъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ, — и народъ уже терялъ любовь къ своему калифу. Въ правленіи Ал-Мамунъ былъ больше философъ-теоретикъ, нежели философъ-практикъ, какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего народа изъ описаній, изъ разсказовъ другихъ, а не извѣдалъ самъ, какъ очевидецъ, какъ извѣдалъ его великій Гарунъ. Въ азіатскихъ образахъ правленія, не имѣющихъ опредѣленныхъ законовъ, вся административная часть падаетъ на самого монарха, и потому дѣятельность его должна быть необыкновенна, вниманіе его должно быть вѣчно напряжено; онъ не можетъ ввѣриться совершенно никому, и глазъ его долженъ имѣть многосторонность Аргуса: минуту засни онъ — и его полномочные намѣстники вдругъ возрастаютъ, и государство наполняется милліонами деспотовъ. Но Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадѣ жилъ, какъ въ государствѣ музъ, имъ же самимъ созданномъ и со-

вершенно отдѣльномъ отъ міра политическаго. Христіане, которые стали, наконецъ, вмѣшиваться въ административныя должности, не могли узнать народнаго духа и обычаевъ земли. Притомъ самое иновѣрство ихъ было невыносимо для араба, еще сохранявшаго энтузіазмъ и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ всѣхъ ученыхъ тогдашняго вѣка, когда его гостепріимство привлекало пестрые флаги къ берегамъ сирійскимъ, власть его внутри государства становилась между тѣмъ слабѣе. Жители провинцій, никогда не видавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Воєнная сила ослабла. Просвѣщеніе обыкновенно стремилось изъ Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мѣрѣ приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ арабы еще сохраняли свой первый періодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще стремившіяся огнемъ и мечомъ водружать вѣру Магомета. Сильные эмиры ихъ, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видѣлъ отторженіе Персіи, Индіи и дальнихъ провинцій Африки. Но, можетъ быть, все это невѣрное направленіе администраціи было бы еще исправимое зло, еслибы Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинѣ. Онъ захотѣлъ быть религіознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чистотеоретическаго, будучи выше суевѣрій и предразсудковъ, будучи ближе познакомленъ съ нѣкоторыми догмами христіанства, нежели его предшественники, онъ не могъ не видѣть всѣхъ безчисленныхъ противорѣчій, пламенныхъ нелѣпостей, которыя вырывались всемѣстно въ постановленіяхъ изступленнаго творца Корана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священную книгу магометанъ и — въ то самое время, когда еще всѣ

низшія государственныя ступени, вся чернь была увѣрена, что она принесена съ неба, и когда усомниться въ маловажномъ постановленіи ея уже считалось величайшимъ преступленіемъ. Полугреческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слѣпого энтузіазма его подданныхъ. Первымъ шагомъ къ образованію своего народа онъ почиталъ истребленіе энтузіазма, — того энтузіазма, который составлялъ существованіе народа аравійскаго, — того энтузіазма, которому онъ обязанъ былъ всѣмъ своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составъ всего государства. Ему нелѣпѣе, несообразнѣе всего казался Магометовъ рай, куда арабъ переносилъ всю чувственную земную жизнь свою, — жизнь, назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ соображеніе того, что это постановленіе извергалось изъ огненнаго аравійскаго климата, изъ огненной природы араба, что этотъ рай для магометанина есть великій оазъ среди пустыни его жизни, что надежда въ этотъ рай одна только заставляла чувственнаго араба терпѣливо сносить бѣдность, притѣсненіе, подавлять въ душѣ своей зависть при видѣ утопающаго въ роскоши сибарита. Мысль, что и онъ будетъ, наконецъ, находиться среди гурій, среди роскоши, превышающей роскошь земныхъ владыкъ, одна могла быть доступна для такой чувственности и цвѣтистости воображенія, какими природа надѣлила араба, и что, можетъ быть, съ дальнѣйшимъ только развитіемъ его, могла нечувствительно очиститься его вѣра. Ал-Мамунъ не постигалъ азіятской природы своихъ подданныхъ.

Можно себѣ представить силу негодованія многочисленнаго класса народа, когда распространились вѣсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ былъ принять это народъ, который уже

за одно покровительство христіанамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмѣ, или ереси? Грубая толпа прежнихъ точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упорствомъ своимъ, наконецъ, заставила калифа взяться за оружіе. И благородный, великодушный Ал-Мамунъ, проникнутый истинною любовію къ человѣчеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тотъ фанатизмъ, который сдвинулъ прежде кочевыхъ обитателей Аравіи въ одну массу, — онъ произвелъ оппозиціонный фанатизмъ, — фанатизмъ, который растерзалъ массу, который посѣялъ плевелы въ нѣдрахъ государства, который разбудилъ дикія страсти араба, который далъ ножъ и ядъ ненависти въ руки изступленныхъ послѣдователей ислама, который произвелъ множество ослѣпленныхъ сектъ и ужаснѣе всего секту карматіановъ [1], долго еще свирѣпствовавшую подъ именемъ Сирійскихъ Убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волненій, оказывавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смутъ и партій, разсыпая одною рукою благодѣянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорныхъ, изступленныхъ своихъ подданныхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ, — умеръ, не понявъ своего народа, не понятый своимъ народомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ показалъ собою государя, который, при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотверженіи и необыкновенной страсти къ наукамъ, былъ, между прочимъ, невольно одною изъ главныхъ пружинъ, ускорившихъ паденіе государства.

---

[1] Карматы, вѣтвь религіозно-политической секты исмаилитовъ. Гоголь неправильно отождествляетъ ихъ съ ассассинами.

Часть вторая.

Жизнь.

Бѣдному сыну пустыни снился сонъ:

Лежитъ и разстилается великое Средиземное море, и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ на него палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушаемая тлѣніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишатъ на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помаваютъ облитыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя, какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ тирсами и чашами въ ру-

кахъ, народъ остановился въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькаютъ, перевитыя плющемъ. Корабли, какъ мухи, толпятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величіи.

Стоитъ и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувши свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнетъ, какъ будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра.

И говоритъ Египетъ, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ:

— Народы, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человѣка. Все—тлѣнъ. Низки искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ міромъ и человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бѣдное существованіе.

И говоритъ ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность, свѣтлый міръ грековъ, и, казалось, вмѣсто словъ, слышалось дыханіе цѣвницы:

— Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Все неси ему. Гляди, какъ выпукло и

прекрасно все въ природѣ, какъ дышитъ все согласіемъ. Все въ мірѣ; все, чѣмъ ни владѣютъ боги, все въ немъ; умѣй находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницѣ, искусно правя конями, на блистательныхъ играхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и цѣвница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ — красота. Увивай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія — умѣй быть достойнымъ наслажденія!

И говоритъ покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ лѣсомъ копій:

— Я постигнулъ тайну жизни человѣка. Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легіоновъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ собрался весь міръ, и, потрясая копьями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ на устахъ племенъ, живущихъ на краяхъ міра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ — ты завоюешь, наконецъ, небо.

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія, прекрасныя очи;

къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немноголюдная весь прислонилася къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно оттѣненнымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Грецiя; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли ...

1831.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимою мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецеръ, можно сказать, первый почувствовалъ идею объ одномъ великомъ цѣломъ, объ одной единицѣ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны слиться всѣ времена и народы. Онъ хотѣлъ однимъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ будто бы онъ силился имѣть сто аргусовыхъ глазъ, для того, чтобы разомъ видѣть сбывающееся во всѣхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогъ — молнія, почти вдругъ блещущая то тамъ, то здѣсь, и освѣщающая предметы на одно мгновеніе, но зато въ ослѣпительной ясности. Я не знаю, исполнилъ ли бы онъ въ самомъ дѣлѣ то, что рѣзко показывалъ другимъ; но по крайней мѣрѣ никто такъ сильно не пораженъ былъ самъ своимъ предметомъ, какъ онъ. Онъ имѣлъ достоинство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругъ событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодомъ одной минуты, одного внезапнаго вдохновенія, и такъ исполнены рѣзкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредѣлившему себя на

Гоголь-студентъ въ 1827 г.

Рисунокъ неизвѣстнаго художника (нѣжинскаго товарища Гоголя).

долгое, глубокое изслѣдованіе, выключая только, если этотъ изслѣдователь будетъ самъ Шлецеръ. Онъ не былъ историкъ, и я думаю даже, что онъ не могъ быть историкомъ. Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься въ гармоничную, стройную текучесть повѣствованія. Онъ анализировалъ міръ и всѣ отжившіе и живущіе народы, а не описывалъ ихъ; онъ разсѣкалъ весь міръ анатомическимъ ножомъ, рѣзалъ и дѣлилъ на массивныя части, располагалъ и отдѣлялъ народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредѣляетъ растенія по извѣстнымъ ему признакамъ. И оттого начертаніе его исторіи, казалось бы, должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но, къ удивленію, все у него сверкаетъ такими рѣзкими чертами, могущественный ударъ его глаза такъ вѣренъ, что, читая этотъ сжатый эскизъ міра, замѣчаешь съ изумленіемъ, что собственное воображеніе горитъ, расширяется и дополняетъ все по такому же самому закону, который опредѣлилъ Шлецеръ однимъ всемогущимъ словомъ; иногда оно стремится еще далѣе, потому что ему указана смѣлая дорога. Будучи однимъ изъ первыхъ, тревожимыхъ мыслью о величіи и истинной цѣли всеобщей исторіи, онъ долженствовалъ быть непремѣнно геніемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающіеся очень часто въ его сочиненіяхъ. Онъ уничтожаетъ ихъ однимъ громовымъ словомъ, и въ этомъ словѣ соединяется и наслажденіе, и сардоническая усмѣшка надъ пораженнымъ, и вмѣстѣ несокрушимая правда; его, справедливѣе, нежели Канта, можно назвать всесокрушающимъ. Всегда почти дѣйствующіе въ оппозиціонномъ духѣ слишкомъ увлекаются своимъ положеніемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила — противорѣчить всему

прежнему. Въ этомъ случаѣ нельзя упрекнуть Шлецера: германскій духъ его сталъ неколебимъ на своемъ мѣстѣ. Онъ — какъ строгій, всезрящій судія; его сужденія рѣзки, коротки и справедливы. Можетъ быть, нѣкоторымъ покажется страннымъ, что я говорю о Шлецерѣ, какъ о великомъ зодчемъ всеобщей исторіи, тогда какъ его мысли и труды по этой части улеглись въ небольшой книжкѣ, изданной имъ для студентовъ; но эта маленькая книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, читая которыя, кажется, читаешь цѣлые томы; ее можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, сквозь которое, приставивши къ нему ближе глазъ, можно увидѣть весь міръ. Онъ вдругъ осѣняетъ свѣтомъ и показываетъ, какъ нужно понять, и тогда самъ собою, наконецъ, видишь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родѣ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляетъ противоположность Шлецеру. Онъ съ какою то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогъ не блеститъ тѣмъ рѣзкимъ отличіемъ, какимъ означенъ слогъ Шлецера; нѣтъ тѣхъ порывовъ, того мѣткаго лаконизма, какими исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ, однимъ вглядомъ всего и не сжимаетъ его мощною рукою; но онъ изслѣдываетъ все, находящееся въ мірѣ, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспѣшности, съ какою выражается авторъ, опасающійся, чтобы у него не перехватилъ кто-нибудь мысли и не предупредилъ его. Слово „изслѣдованіе“ весьма идетъ къ его стилю; его повѣствованіе именно изслѣдовательное. Какъ человѣкъ государственный, онъ болѣе всего занимается изложеніемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ; но онъ не предпочитаетъ эту сторону до такой степени, чтобы оставить со-

вершенно въ тѣни всѣ другія, къ чему способенъ бываетъ историкъ односторонній и чего не могъ избѣжать и Геренъ; напротивъ того, онъ обращаетъ вниманіе и на все сопредѣльное. Все, что не ясно въ исторіи, что менѣе разоблачено, все это болѣе другого подвергается его изслѣдованію. Замѣтно даже, что онъ охотнѣе занимается временами первобытными и вообще тѣми эпохами, когда народъ еще не былъ подверженъ образованности и порокамъ, сохранялъ свои простые нравы и независимость. Это время изображаетъ онъ съ ясною подробностію, съ тихимъ жаромъ, какъ будто позабываясь и воображая видѣть себя среди своихъ добрыхъ швейцарцевъ. Главный результатъ, царствующій въ его исторіи, есть тотъ, что народъ тогда только достигаетъ своего счастія, когда сохраняетъ свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Вездѣ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь къ свободѣ проникаютъ все его твореніе. Мысль о единствѣ и нераздѣльной цѣлости не служитъ такою цѣлью, къ которой бы явно устремлялось его повѣствованіе; онъ даже никогда не говоритъ о немъ, но единство чувствуется въ цѣломъ твореніи, несмотря на то, что онъ, кажется, забываетъ вовсе дѣла всего міра, занявшись однимъ народомъ. Исторія его не состоитъ изъ непрерывной движущейся цѣпи происшествій; драматическаго искусства въ немъ нѣтъ; вездѣ виденъ размышляющій мудрецъ. Онъ не высказываетъ слишкомъ ярко своихъ мыслей: онѣ у него таятся такъ скромно, иногда въ такомъ незамѣтномъ уголкѣ, что неищущій не найдетъ ихъ никогда; но зато онѣ такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выраженію Вагнера въ „Фаустѣ“, на землѣ небо. Этотъ скромный, незамѣтный слогъ его и отсутствіе ослѣпляющей яркости про-

изводятъ въ душѣ невольное сожалѣніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извѣстенъ, или, лучше сказать, не такъ извѣстенъ, какъ долженъ бы быть. Одни сильно проникнуты мыслью о исторіи и способные къ тонкому развитію могутъ только вполнѣ понимать его; другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокомысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образъ воззрѣнія. Онъ видитъ уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощаетъ осязательныя формы. Вездѣ онъ видитъ одного человѣка, какъ представителя всего человѣчества. Онъ выпытываетъ глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы, — названіе, которое придаютъ ему нѣмцы. У него крупнѣе группируются событія, его мысли всѣ высоки, глубоки и всемірны. Онѣ у него являются мало соединенными съ видимою природою и какъ будто извлеченными изъ одного только чистаго ея горнила. Оттого онѣ у него не имѣютъ исторической осязательности и видимости. Если событіе колоссально и заключается въ идеѣ, — оно у него развертывается все, со всѣми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и практическаго, оно у него не получаетъ опредѣленнаго колорита. Если онъ нисходитъ до самыхъ лицъ и до дѣятелей исторіи, они у него не такъ ярки, какъ общія группы, они принимаютъ слишкомъ общую физіономію: они у него или добрые, или злые; всѣ безчисленные оттѣнки характеровъ, все смѣшеніе и разнообразіе качествъ, познаніе которыхъ достается въ удѣлъ взирающему съ недовѣрчивостію на другихъ, — всѣ эти оттѣнки у него исчезли. Онъ мудрецъ въ познаніи идеальнаго человѣка и человѣчества, но младенецъ въ познаніи человѣка, по весьма естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невѣжа въ мелочныхъ занятіяхъ жизни.

Какъ поэтъ, онъ выше Шлецера и Миллера. Но, какъ поэтъ, онъ все создаетъ и переваривает въ себѣ, въ своемъ уединенномъ кабинетѣ, полный одного высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырывается часто изъ низкой и презрѣнной жизни, или оно вызывается натискомъ тѣхъ безчисленныхъ и разнохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно пестрятъ жизнь человѣческую, и которыхъ познаніе рѣдко дается отвлеченному отъ жизни мудрецу. Стиль его, болѣе нежели у кого другого, исполненъ живописи и широкаго размѣра, потому что онъ поэтъ и этимъ рѣзко отличается отъ Миллера, философа-законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философа-критика, всегда почти рѣзкаго и недовольнаго.

Мнѣ кажется, что еслибы глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всемъ томъ, ему бы еще много коечего недоставало: ему бы недоставало высокаго драматическаго искусства, котораго не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумѣю, однакожъ, подъ словомъ „драматическаго искусства“, не то искусство, которое состоитъ въ умѣніи вести разговоръ, но въ драматическомъ интересѣ всего творенія, который сообщилъ бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышитъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера, особенно въ „Тридцатилѣтней войнѣ“, и которымъ отличается почти всякое немногосложное происшествіе. Но я бы къ этому присоединилъ еще въ нѣкоторой степени занима-

тельность разсказа Вальтеръ-Скотта и его умѣніе замѣчать самые тонкіе оттѣнки; къ этому присоединилъ бы шекспировское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ, и тогда бы, мнѣ кажется, составился такой историкъ, какого требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много освѣтили всеобщую исторію, и если въ нынѣшнее время мы имѣемъ нѣсколько замѣчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ однимъ.

1832.

Невскій проспектъ.

Повѣсть.

Нѣтъ ничего лучше Невскаго проспекта, по крайней мѣрѣ, въ Петербургѣ: для него онъ составляетъ все. Чѣмъ не блеститъ эта улица-красавица вашей столицы? Я знаю, что ни одинъ изъ блѣдныхъ и чиновныхъ ея жителей не промѣняетъ на всѣ блага Невскаго проспекта. Не только кто имѣетъ двадцать пять лѣтъ отъ роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртукъ, но даже тотъ, у кого на подбородкѣ выскакиваютъ бѣлые волоса и голова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ восторгѣ отъ Невскаго проспекта. А дамы! О, дамамъ еще больше пріятенъ Невскій проспектъ. Да и кому же онъ непріятенъ? Едва только взойдешь на Невскій проспектъ, какъ уже пахнетъ однимъ гуляньемъ. Хотя бы имѣлъ какое-нибудь нужное, необходимое дѣло, но, взошедши на него, вѣрно, позабудешь о всякомъ дѣлѣ. Здѣсь единственное мѣсто, гдѣ показываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человѣкъ, встрѣченный на Невскомъ проспектѣ, менѣе эгоистъ, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной, Мѣщанской и другихъ улицахъ, гдѣ жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущихъ и летящихъ

въ каретахъ и на дрожкахъ. Невскій проспектъ есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здѣсь житель Петербугской или Выборгской части, нѣсколько лѣтъ не бывавшій у своего пріятеля на Пескахъ или у Московской заставы, можетъ быть увѣренъ, что встрѣтится съ нимъ непремѣнно. Никакой адресъ календарь и справочное мѣсто не доставятъ такого вѣрнаго извѣстія, какъ Невскій проспектъ. Всемогущій Невскій проспектъ! Единственное развлеченіе бѣднаго на гулянья Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ногъ оставляетъ на немъ слѣды свои! И неуклюжій грязный сапогъ отставного солдата, подъ тяжестію котораго, кажется, трескается самый гранитъ, и миніатюрный, легкій, какъ дымъ, башмачокъ молоденькой дамы, оборачивающей свою головку къ блестящимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ къ солнцу, и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапорщика, проводящая по немъ рѣзкую царапину, — все вымещаетъ на немъ могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на немъ фантасмагорія въ теченіе одного только дня! Сколько вытерпитъ онъ перемѣнъ въ теченіе однѣхъ сутокъ! Начнемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ пахнетъ горячими, только что выпеченными хлѣбами и наполненъ старухами въ изодранныхъ платьяхъ и салопахъ, совершающими свои наѣзды на церкви и на сострадательныхъ прохожихъ. Тогда Невскій проспектъ пустъ: плотные содержатели магазиновъ и ихъ комми еще спятъ въ своихъ голландскихъ рубашкахъ или мылятъ свою благородную щеку и пьютъ кофе; нищіе собираются у дверей кондитерскихъ, гдѣ сонный ганимедъ [1], летавшій вчера, какъ мука, съ шоколадомъ, вылѣзаетъ съ метлой въ рукѣ, безъ гал-

[1] Лакей.

стука, и швыряетъ имъ черствые пироги и объѣдки. По улицамъ плетется нужный народъ: иногда переходятъ ее русскіе мужики, спѣшащіе на работу, въ сапогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій каналъ, извѣстный своею чистотою, не въ состояніи бы былъ обмыть. Въ это время обыкновенно неприлично ходить дамамъ, потому что русскій народъ любитъ изъясняться такими рѣзкими выраженіями, какихъ онѣ, вѣрно, не услышатъ даже въ театрѣ. Иногда сонный чиновникъ проплетется съ портфелемъ подъ мышкою, если черезъ Невскій проспектъ лежитъ ему дорога въ департаментъ. Можно сказать рѣшительно, что въ это время, т.-е. до 12 часовъ, Невскій проспектъ не составляетъ ни для кого цѣли, онъ служитъ только средствомъ: онъ постепенно наполняется лицами, имѣющими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о немъ. Русскій мужикъ говоритъ о гривнѣ или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахиваютъ руками или говорятъ сами съ собою, иногда съ довольно разительными жестами, но никто ихъ не слушаетъ и не смѣется надъ ними, выключая только развѣ мальчишекъ въ пестрядевыхъ халатахъ, съ пустыми штофами или готовыми сапогами въ рукахъ, бѣгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надѣли, хотя бы даже, вмѣсто шляпы, картузъ былъ у васъ на головѣ, хотя бы воротнички слишкомъ далеко высунулись изъ вашего галстука, — никто этого не замѣтитъ.

Въ 12 часовъ на Невскій проспектъ дѣлаютъ набѣги гувернеры всѣхъ націй съ своими питомцами въ батистовыхъ воротничкахъ. Англійскіе Джонсы и французскіе Коки идутъ подъ руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностію изъясняютъ имъ, что вывѣски надъ магазинами дѣлаются для

того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернатки, блѣдныя миссъ и розовыя мадмуазели, идутъ величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ поднять нѣсколько лѣвое плечо и держаться прямѣе; короче сказать, въ это время Невскій проспектъ — педагогическій Невскій проспектъ. Но чѣмъ ближе къ двумъ часамъ, тѣмъ уменьшается число гувернантокъ, педагоговъ и дѣтей: они, наконецъ, вытѣсняются нѣжными ихъ родителями, идущими подъ руку съ своими пестрыми, разноцвѣтными, слабонервными подругами. Мало-по-малу присоединяются къ ихъ обществу всѣ, окончившіе довольно важныя домашнія занятія, какъ то: поговорившіе съ своимъ докторомъ о погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на носу, узнавшіе о здоровьи лошадей и дѣтей своихъ, впрочемъ, показывающихъ большія дарованія, прочитавшіе афишу и важную статью въ газетахъ о пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ, наконецъ, выпившіе чашку кофею и чаю; къ нимъ присоединяются и тѣ, которыхъ завидная судьба надѣлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ. Къ нимъ присоединяются и тѣ, которые служатъ въ иностранной коллегіи и отличаются благородствомъ своихъ занятій и привычекъ!

Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онѣ возвышаютъ и услаждаютъ душу! Но, увы, я не служу и лишенъ удовольствія видѣть тонкое обращеніе съ собою начальниковъ. Все, что вы ни встрѣтите на Невскомъ проспектѣ, все исполнено приличія: мужчины въ длинныхъ сюртукахъ съ заложенными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, бѣлыхъ и блѣдно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и щегольскихъ шляпкахъ. Вы здѣсь встрѣтите бакенбарды, единственныя, пропущенныя съ необыкновеннымъ

и изумительнымъ искусствомъ подъ галстукъ, бакенбарды бархатныя, атласныя, черныя, какъ соболь или уголь, но, увы! принадлежащія только одной иностранной коллегіи. Служащимъ въ другихъ департаментахъ Провидѣніе отказало въ черныхъ бакенбардахъ; они должны, къ величайшей непріятности своей, носить рыжія. Здѣсь вы встрѣтите усы чудные, никакимъ перомъ, никакою кистью неизобразимые; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметъ долгихъ бдѣній во время дня и ночи; усы, на которые излились восхитительнѣйшіе духи и которыхъ умастили всѣ драгоцѣннѣйшіе и рѣдчайшіе сорты помадъ; усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою; усы, къ которымъ дышитъ самая трогательная привязанность ихъ поссесоровъ [1], и которымъ завидуютъ проходящіе. Тысячи сортовъ шляпокъ, платьевъ, платковъ, пестрыхъ, легкихъ, къ которымъ иногда въ теченіе цѣлыхъ двухъ дней сохраняется привязанность ихъ владѣтельницъ, ослѣпятъ хоть кого на Невскомъ проспектѣ. Кажется, какъ будто цѣлое море мотыльковъ поднялось вдругъ со стеблей и волнуется блестящею тучею надъ черными жуками мужескаго пола. Здѣсь вы встрѣтите такія таліи, какія даже вамъ не снились никогда: тоненькія, узенькія, таліи никакъ не толще бутылочной шейки, встрѣтясь съ которыми, вы почтительно отойдете къ сторонкѣ, чтобы какъ-нибудь неосторожно не толкнуть невѣжливымъ локтемъ; сердцемъ вашимъ овладѣетъ робость и страхъ, чтобы какъ нибудь, отъ неосторожнаго даже дыханія вашего, не переломилось прелестнѣйшее произведеніе природы и искусства. А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспектѣ! Ахъ, какая прелесть! Они нѣсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, еслибы

[1] Владѣльцевъ.

не поддерживалъ ее мужчина; потому что даму такъ же легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подносимый ко рту бокалъ, наполненный шампанскимъ.

Нигдѣ при взаимной встрѣчѣ не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектѣ. Здѣсь вы встрѣтите улыбку единственную, улыбку — верхъ искусства, иногда такую, что можно растаять отъ удовольствія, иногда такую, что вы увидите себя вдругъ ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейскаго шпица и поднимете ее вверхъ. Здѣсь вы встрѣтите разговаривающихъ о концертѣ или о погодѣ съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Тутъ вы встрѣтите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встрѣчаются на Невскомъ проспектѣ! Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съ вами, непремѣнно посмотрятъ на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотрѣть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но, однакоже, ничуть не бывало: они большею частію служатъ въ разныхъ департаментахъ, многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могутъ написать отношеніе изъ одного казеннаго мѣста въ другое; или же — люди, занимающіеся прогулками, чтеніемъ газетъ по кондитерскимъ, — словомъ, большею частію все порядочные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ пополудни, которое можетъ назваться движущеюся столицею Невскаго проспекта, происходитъ главная выставка всѣхъ лучшихъ произведеній человѣка. Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобромъ, другой — греческій прекрасный носъ, третій несетъ превосходныя бакенбарды, четвертая — пару хорошенькихъ глазокъ и удиви-

тельную шляпку, пятый — перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая — ножку въ очаровательномъ башмачкѣ, седьмой — галстукъ, возбуждающій удивленіе, осьмой — усы, повергающіе въ изумленіе. Но бьетъ три часа — и выставка оканчивается, толпа рѣдѣетъ... Въ три часа новая перемѣна. На Невскомъ проспектѣ вдругъ настаетъ весна: онъ покрывается весь чиновниками въ зеленыхъ вицмундирахъ. Голодные титулярные, надворные и прочіе совѣтники стараются всѣми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари спѣшатъ еще воспользоваться временемъ и пройтиться по Невскому проспекту съ осанкою, показывающею, что они вовсе не сидѣли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и надворные совѣтники идутъ скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваніемъ прохожихъ; они еще не вполнѣ оторвались отъ заботъ своихъ; въ ихъ головѣ ералашъ и цѣлый архивъ начатыхъ и не конченныхъ дѣлъ; имъ долго, вмѣсто вывѣски, показывается картонка съ бумагами или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспектъ пустъ, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея изъ магазина перебѣжитъ черезъ Невскій проспектъ съ коробкою въ рукахъ; какая-нибудь жалкая добыча человѣколюбиваго повытчика, пущенная по міру во фризовой шинели; какой-нибудь заѣзжій чудакъ, которому всѣ часы равны; какая-нибудь длинная, высокая англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ; какой-нибудь артельщикъ, русскій человѣкъ, въ демикотоновомъ сюртукѣ съ таліей на спинѣ, съ узенькою бородою, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: и спина, и руки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ по

тротуару; иногда низкій ремесленникъ... больше никого не встрѣтите вы въ это время на Невскомъ проспектѣ.

Но какъ только сумерки упадутъ на домы и улицы, и будочникъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лѣстницу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянутъ тѣ эстампы, которые не смѣютъ показаться среди дня, какъ уже Невскій проспектъ опять оживаетъ и начинаетъ шевелиться. Тогда настаетъ то таинственное время, когда лампы даютъ всему какой то заманчивый, чудесный свѣтъ. Вы встрѣтите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая то цѣль, или, лучше, что то похожее на цѣль, что то чрезвычайно безотчетное; шаги всѣхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны; длинныя тѣни мелькаютъ по стѣнамъ и мостовой, и чуть не достаютъ головами Полицейскаго моста. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежскіе регистраторы, титулярные и надворные совѣтники, большею частію, сидятъ дома, или потому, что это народъ женатый, или потому, что имъ очень хорошо готовятъ кушанье живущія у нихъ въ домахъ кухарки-нѣмки. Здѣсь вы встрѣтите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важностью и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проспекту. Вы ихъ увидите бѣгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ тѣмъ, чтобы заглянуть подъ шляпку издали завидѣнной дамы, которой толстыя губы и щеки, напштукатуренныя румянами, такъ нравятся многимъ гуляющимъ, а болѣе всего сидѣльцамъ, артельщикамъ, купцамъ, всегда, въ нѣмецкихъ сюртукахъ, гуляющимъ цѣлою толпою и обыкновенно подъ руку.

— Стой! — закричалъ въ это время поручикъ Пироговъ, дернувъ шедшаго съ нимъ молодого человѣка во фракѣ и въ плащѣ. — Видѣлъ?

— Видѣлъ; чудная, совершенно Перуджинова Біанка.

— Да ты объ какой говоришь?

— Объ ней, о той, что съ темными волосами... И какіе глаза! Боже, какіе глаза! Все положеніе и контура, и окладъ лица — чудеса!

— Я говорю тебѣ о блондинкѣ, что прошла за ней въ ту сторону. Что жъ ты не идешь за брюнеткою, когда она такъ тебѣ понравилась?

— О, какъ можно! — воскликнулъ, закраснѣвшись, молодой человѣкъ во фракѣ. — Какъ будто она изъ тѣхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжалъ онъ, вздохнувши: — одинъ плащъ на ней стоитъ рублей восемьдесятъ!

— Простакъ! — закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдѣ развѣвался яркій плащъ ея: — ступай, простофиля, прозѣваешь! А я пойду за блондинкою. — Оба пріятеля разошлись.

„Знаемъ мы васъ всѣхъ“, думалъ про себя съ самодовольною и самонадѣянною улыбкою Пироговъ, увѣренный, что нѣтъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человѣкъ, во фракѣ и плащѣ, робкимъ и трепетнымъ шагомъ пошелъ въ ту сторону, гдѣ развѣвался вдали пестрый плащъ, то окидывавшійся яркимъ блескомъ, по мѣрѣ приближенія къ свѣту фонаря, то мгновенно покрывавшійся тьмою, по удаленіи отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускорялъ шагъ свой. Онъ не смѣлъ и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудь право на вниманіе улетавшей вдали красавицы, тѣмъ болѣе допустить такую черную мысль, о какой намекалъ ему поручикъ Пироговъ; но ему хотѣлось

только видѣть домъ, замѣтить, гдѣ имѣетъ жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетѣло съ неба прямо на Невскій проспектъ и, вѣрно, улетитъ неизвѣстно куда. Онъ летѣлъ такъ скоро, что сталкивалъ безпрестанно съ тротуара солидныхъ господъ съ сѣдыми бакенбардами. Этотъ молодой человѣкъ принадлежалъ къ тому классу, который составляетъ у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежитъ къ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидѣніи, принадлежитъ къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городѣ, гдѣ всѣ или чиновники, или купцы, или ремесленники-нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе — художникъ петербургскій? Художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ италіянскихъ, гордыхъ, горячихъ, какъ Италія и ея небо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, застѣнчивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнатѣ, скромно толкующій о любимомъ предметѣ и вовсе небрегущій объ излишнемъ. Онъ вѣчно зазоветъ къ себѣ какую-нибудь нищую старуху и заставитъ ее просидѣть битыхъ часовъ шесть съ тѣмъ, чтобы перевести на полотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перспективу своей комнаты, въ которой валяется всякій художественный вздоръ: гипсовыя руки и ноги, сдѣлавшіяся кофейными отъ времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, пріятель, играющій на гитарѣ, стѣны, запачканныя красками, съ раствореннымъ окномъ, сквозь которое мелькаетъ блѣдная Нева и бѣдные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ сѣренькій, мутный

колоритъ — неизгладимая печать сѣвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своею работою. Они части питаютъ въ себѣ истинный талантъ, и еслибы только дунулъ на нихъ свѣжій воздухъ Италіи, онъ бы, вѣрно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ. Они, вообще, очень робки: звѣзда и толстый эполетъ приводятъ ихъ въ такое замѣшательство, что они невольно понижаютъ цѣну своихъ произведеній. Они любятъ иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слишкомъ рѣзкимъ и нѣсколько походитъ на заплату. На нихъ встрѣтите вы иногда отличный фракъ и запачканный плащъ, дорогой бархатный жилетъ и сюртукъ весь въ краскахъ, — такимъ же самымъ образомъ, какъ на недоконченномъ ихъ пейзажѣ увидите вы иногда нарисованную внизъ головою нимфу, которую онъ, не найдя другого мѣста, набросалъ на запачканномъ грунтѣ прежняго своего произведенія, когда то писаннаго имъ съ наслажденіемъ. Онъ никогда не глядитъ вамъ прямо въ глаза; если же глядитъ, то какъ то мутно, неопредѣленно; онъ не вонзаетъ въ васъ ястребинаго взора наблюдателя или соколинаго взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходитъ оттого, что онъ въ одно и то же время видитъ и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнатѣ, или ему представляется его же собственная картина, которую онъ еще думаетъ произвесть. Отъ этого онъ отвѣчаетъ часто несвязно, иногда невпопадъ, и мѣшающіеся въ его головѣ предметы еще болѣе увеличиваютъ его робость.

Къ такому роду принадлежалъ и описываемый нами молодой человѣкъ, художникъ Пискаревъ, застѣнчивый, робкій, но въ душѣ своей носившій искры чувства, готовыя, при удобномъ

случаѣ, превратиться въ пламя. Съ тайнымъ трепетомъ спѣшилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ, и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Незнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослѣпительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ осѣненъ былъ прекрасными, какъ агатъ, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роемъ прелестнѣйшихъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Пискарева, и при этомъ взглядѣ затрепетало его сердце; она взглянула сурово: чувство негодованія проступило у ней на лицѣ при видѣ такого наглаго преслѣдованія; но на этомъ прекрасномъ лицѣ и самый гнѣвъ былъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потупивъ глаза; но какъ утерять это божество и не узнать даже того святилища, гдѣ оно опустилось гостить? Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ рѣшился преслѣдовать. Но, чтобы не дать этого замѣтить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безпечно глядѣлъ по сторонамъ и разсматривалъ вывѣски, а между тѣмъ не упускалъ изъ виду ни одного шага незнакомки. Проходящіе рѣже начали мелькать, улица становилась тише, красавица огляну-лась, и ему показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ. Нѣтъ, это фонарь обманчивымъ свѣтомъ своимъ выразилъ на лицѣ

ея подобіе улыбки, нѣтъ, это собственныя мечты его смѣются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли, и все передъ нимъ окинулось какимъ то туманомъ; тротуаръ несся подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему навстрѣчу, и алебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами вывѣски и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ. И все это произвелъ одинъ взглядъ, одинъ поворотъ хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несся по легкимъ слѣдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умѣрить быстроту своего шага, летѣвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладѣвало имъ сомнѣніе, точно ли выраженіе лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался; но сердечное біеніе, неопреодолимая сила и тревога всѣхъ чувствъ стремила его впередъ. Онъ даже не замѣтилъ, какъ вдругъ возвысился передъ нимъ четырехъ-этажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, глянули на него разомъ, и перила у подъѣзда противопоставили ему желѣзный толчокъ своей. Онъ видѣлъ, какъ незнакомка летѣла по лѣстницѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молнія радости нестерпимымъ остріемъ вонзилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Боже, столько счастія въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ двухъ минутахъ!

Но не во снѣ ли это все? Ужели та, за одинъ небесный взглядъ которой онъ готовъ бы былъ отдать всю жизнь, приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизъяснимое блаженство, — ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и вни-

мательна къ нему? Онъ взлетѣлъ на лѣстницу. Онъ не чувствовалъ никакой земной мысли; онъ не былъ разогрѣтъ пламенемъ земной страсти, — нѣтъ, онъ былъ въ эту минуту чистъ и непорочен, какъ дѣвственный юноша, еще дышащій неопредѣленною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человѣкѣ дерзкія помышленія, то самое, напротивъ, еще болѣе освятило ихъ. Это довѣріе, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это довѣріе наложило на него обѣтъ строгости рыцарской, обѣтъ рабски исполнять всѣ повелѣнія ея. Онъ только желалъ, чтобы эти велѣнія были какъ можно болѣе трудны и неудобоисполняемы, чтобы съ бо̀льшимъ напряженіемъ силъ летѣть преодолѣвать ихъ. Онъ не сомнѣвался, что какое-нибудь тайное и вмѣстѣ важное происшествіе заставило незнакомку ему ввѣриться; что отъ него, вѣрно, будутъ требоваться значительныя услуги, и онъ чувствовалъ уже въ себѣ силу и рѣшимость на все.

Лѣстница вилась, и вмѣстѣ съ нею вились его быстрыя мечты. „Идите осторожнѣе!“ зазвучалъ, какъ арфа, голосъ и наполнилъ всѣ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинѣ четвертаго этажа незнакомка постучала въ дверь; она отворилась, и они вошли вмѣстѣ. Женщина, довольно недурной наружности, встрѣтила ихъ со свѣчою въ рукѣ, но такъ странно и нагло посмотрѣла на Пискарева, что онъ опустилъ невольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидѣла за фортепіаномъ и играла двумя пальцами какое то жалкое подобіе стариннаго полонеза; третья сидѣла передъ зеркаломъ, расчесывая гребнемъ свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входѣ незнакомаго лица. Какой то непріятный безпорядокъ, который можно встрѣтить только

въ безпечной комнатѣ холостяка, царствовалъ во всемъ. Мебели, довольно хорошія, были покрыты пылью; паукъ застилалъ своею паутиною лѣпной карнизъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестѣлъ сапогъ со шпорой и краснѣла выпушка мундира; громкій мужской голосъ и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго принужденія.

Боже, куда зашелъ онъ! Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить и началъ пристальнѣе всматриваться въ предметы, наполнявшіе комнату; но голыя стѣны и окна безъ занавѣсъ не показывали никакого присутствія заботливой хозяйки; изношенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна сѣла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разсматривала, какъ пятно на чужомъ платьѣ, — все это увѣрило его, что онъ зашелъ въ тотъ отвратительный пріютъ, гдѣ основалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностью и страшнымъ многолюдствомъ столицы,— тотъ пріютъ, гдѣ человѣкъ святотатственно подавилъ и посмѣялся надъ всѣмъ чистымъ и святымъ, украшающимъ жизнь, гдѣ женщина, эта красавица міра, вѣнецъ творенія, обратилась въ какое то странное, двусмысленное существо, гдѣ она, вмѣстѣ съ чистотою души, лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себѣ ухватки и наглость мужчины и уже перестала быть тѣмъ слабымъ, тѣмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Пискаревъ мѣрялъ ее съ ногъ до головы изумленными глазами, какъ бы еще желая увѣриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектѣ. Но она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была свѣжа; ей было только 17 лѣтъ; видно было, что еще недавно настигнулъ ее ужасный развратъ: онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онѣ были свѣжи и легко оттѣнены тонкимъ румянцемъ; она была прекрасна.

Онъ неподвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ былъ такъ же простодушно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выраженіе набожности рожѣ взяточника или бухгалтерская книга поэту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что то, но все это было такъ глупо, такъ пошло... Какъ будто вмѣстѣ съ непорочностію оставляетъ и умъ человѣка! Онъ уже ничего не хотѣлъ слышать. Онъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и простъ, какъ дитя. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вмѣсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, безъ сомнѣнія, обрадовался бы на его мѣстѣ всякій другой, онъ бросился со всѣхъ ногъ, какъ дикая сайга [1], и выбѣжалъ на улицу.

Повѣсивши голову и опустивши руки, сидѣлъ онъ въ своей комнатѣ, какъ бѣднякъ, нашедшій безцѣнную жемчужину и тутъ же уронившій ее въ море. „Такая красавица, такія божественныя черты! И гдѣ же? въ какомъ мѣстѣ?...“ Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда жалость такъ сильно не овладѣваетъ нами, какъ при видѣ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота нѣжная... Она только съ одной непорочностью и чистотой сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бѣднаго Пискарева, была дѣйствительно чудесное, необыкновенное явленіе. Ея пребываніе въ этомъ презрѣнномъ кругу еще болѣе казалось необыкновеннымъ. Всѣ черты

[1] Коза.

ея были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы развратъ уже распустилъ надъ нею страшные свои когти. Она бы составила неоцѣненный перлъ. весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звѣздой въ незамѣтномъ семейномъ кругу и однимъ движеніемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказанія. Она бы составила божество въ многолюдномъ залѣ, на свѣтломъ паркетѣ, при блескѣ свѣчей, при безмолвномъ благоговѣніи толпы поверженныхъ у ногъ ея поклонниковъ; но, увы! она была какою то ужасною волею адскаго духа, жаждущаго разрушить гармонію жизни, брошена съ хохотомъ въ эту страшную пучину.

Проникнутый разрывающею жалостію, сидѣлъ онъ передъ нагорѣвшею свѣчою. Уже и полночь давно минула, колоколъ башни билъ половину перваго, а онъ сидѣлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дѣятельнаго бдѣнія. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолѣвать его, уже комната начала исчезать, одинъ только огонь свѣчи просвѣчивалъ сквозь одолѣвшія его грезы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошелъ лакей въ богатой ливреѣ. Въ его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, при томъ въ такое необыкновенное время... Онъ недоумѣвалъ и съ нетерпѣливымъ любопытствомъ смотрѣлъ въ оба на пришедшаго лакея.

— Та барыня, — произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей: — у которой вы изволили за нѣсколько часовъ передъ симъ быть, приказала просить васъ къ себѣ и прислала за вами карету.

Пискаревъ стоялъ въ безмолвномъ удивленіи: „карету, лакей въ ливреѣ!.. Нѣтъ, здѣсь, вѣрно, есть какая-нибудь ошибка“...

— Послушайте, любезный, — произнесъ онъ съ робостью: — вы, вѣрно, не туда изволили зайти. Васъ барыня, безъ сомнѣнія, прислала за кѣмъ-нибудь другимъ, а не за мною.

— Нѣтъ, сударь, я не ошибся. Вѣдь вы изволили проводить барыню пѣшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?

— Я.

— Ну, такъ пожалуйте же скорѣе, барыня непремѣнно желаетъ видѣть васъ и проситъ васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ.

Пискаревъ сбѣжалъ съ лѣстницы. На дворѣ, точно, стояла карета. Онъ сѣлъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремѣли подъ колесами и копытами — и освѣщенная перспектива домовъ, съ фонарями и вывѣсками, понеслась мимо каретныхъ оконъ. Пискаревъ думалъ всю дорогу и не зналъ, какъ разрѣшить это приключеніе. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливреѣ... Все это онъ никакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажѣ, пыльными окнами и разстроеннымъ фортепіано. Карета остановилась передъ ярко освѣщеннымъ подъѣздомъ, и его разомъ поразили рядъ экипажей, говоръ кучеровъ, ярко освѣщенныя окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливреѣ высадилъ его изъ кареты и почтительно проводилъ въ сѣни съ мраморными колоннами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными плащами и шубами, съ яркою лампою. Воздушная лѣстница съ блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онъ ужъ былъ на ней, уже взошелъ въ первую залу, испугавшись и попятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдства. Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замѣшательство; ему казалось, что какой то демонъ искрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и всѣ эти куски безъ смысла, безъ толку, смѣшалъ вмѣстѣ. Сверкающія

дамскія плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящіе газы, эѳирныя ленты и толстый контрабасъ, выглядывавшій изъ-за перилъ великолѣпныхъ хоровъ — все было для него блистательно. Онъ увидѣлъ за однимъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ съ звѣздами на фракахъ, дамъ, такъ легко, гордо и граціозно выступавшихъ по паркету или сидѣвшихъ рядами; онъ услышалъ столько словъ французскихъ и англійскихъ; къ тому же молодые люди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, съ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умѣли сказать ничего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили бакенбарды, такъ искусно умѣли показывать отличныя руки, поправляя галстукъ; дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и упоеніе, такъ очаровательно потупляли глаза, — что... но одинъ уже смиренный видъ Пискарева, прислонившагося съ боязнію къ колоннѣ, показывалъ, что онъ растерялся вовсе. Въ это время толпа обступила танцующую группу. Онѣ неслись, увитыя прозрачнымъ созданіемъ Парижа, въ платьяхъ, сотканныхъ изъ самого воздуха; небрежно касались онѣ блестящими ножками паркета и были болѣе эѳирны, нежели еслибы вовсе его не касались. Но одна между ними всѣхъ лучше, всѣхъ роскошнѣе и блистательнѣе одѣта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всемъ ея уборѣ, и при всемъ томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядѣла, и не глядѣла на обступившую толпу зрителей, прекрасныя длинныя рѣсницы опустились равнодушно, и сверкающая бѣлизна лица ея еще ослѣпительнѣе бросилась въ глаза, когда легкая тѣнь осѣнила, при наклонѣ головы, очаровательный лобъ ея.

Пискаревъ употребилъ всѣ усилія, чтобы раздвинуть толпу и разсмотрѣть ее; но, къ величайшей досадѣ, какая то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безпрестанно; притомъ толпа его притиснула такъ, что онъ не смѣлъ податься впередъ, не смѣлъ попятиться назадъ, опасаясь толкнуть какимъ-нибудь образомъ какого-нибудь тайнаго совѣтника. Но вотъ онъ продрался таки впередъ и взглянулъ на свое платье, желая прилично оправиться. Творецъ небесный! что это? На немъ былъ сюртукъ и весь запачканный красками: спѣша ѣхать, онъ позабылъ даже переодѣться въ пристойное платье. Онъ покраснѣлъ до ушей и, потупивъ голову, хотѣлъ провалиться, но провалиться рѣшительно было некуда: камеръ-юнкеры, въ блестящемъ костюмѣ, сдвинулись позади его совершенною стѣною. Онъ уже желалъ быть какъ можно подалѣе отъ красавицы съ прекраснымъ лбомъ и рѣсницами. Со страхомъ поднялъ онъ глаза посмотрѣть, не глядитъ ли она на него. Боже! она стоитъ передъ нимъ... Но что это? что это? „Это она!“ вскрикнулъ онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дѣлѣ, это была она, — та самая, которую встрѣтилъ онъ на Невскомъ и которую проводилъ къ ея жилищу.

Она подняла между тѣмъ свои рѣсницы и глянула на всѣхъ своимъ яснымъ взглядомъ. „Ай, ай, ай, какъ хороша!..“ могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своими глазами весь кругъ, наперерывъ жаждавшій остановить ея вниманіе, но съ какимъ то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро отвратила ихъ и встрѣтилась съ глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вмѣститъ его, онъ разрушитъ ее и унесетъ душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклоненіемъ головы, нѣтъ, въ ея сокруши-

тельныхъ глазахъ выразился этотъ знакъ такимъ тонкимъ, незамѣтнымъ выраженіемъ, что никто не могъ его видѣть, но онъ видѣлъ, онъ понялъ его. Танецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремѣла; наконецъ, танецъ кончился. Она сѣла; усталая грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колѣни, сжала подъ собою воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкій сиреневый цвѣтъ его еще виднѣе означилъ яркую бѣлизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ея — и ничего больше! Никакихъ другихъ желаній — они всѣ дерзки... Онъ стоялъ у ней за стуломъ, не смѣя говорить, не смѣя дышать.

— Вамъ было скучно? — произнесла она — я также скучала. Я замѣчаю, что вы меня ненавидите... — прибавила она, потупивъ свои длинныя рѣсницы.

— Васъ ненавидѣть? мнѣ?.. Я?.. — хотѣлъ было произнесть совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговорилъ бы, вѣрно, кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замѣчаніями, съ прекраснымъ завитымъ на головѣ хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ довольно недурныхъ зубовъ и каждою остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ, кто то изъ постороннихъ, къ счастію, обратился къ камергеру съ какимъ то вопросомъ.

— Какъ это несносно! — сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. — Я сяду на другомъ концѣ зала: будьте тамъ! — Она проскользнула между толпою и исчезла. Онъ, какъ помѣшанный, растолкалъ толпу и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! Она сидѣла, какъ царица, всѣхъ лучше, всѣхъ прекраснѣе, и искала его глазами.

— Вы здѣсь? — произнесла она тихо. — Я буду откровенна передъ вами: вамъ, вѣрно, странными показались обстоятельства нашей встрѣчи. Неужели вы думаете, что я могу прнадлежать къ тому презрѣнному классу твореній, въ которомъ вы встрѣтили меня? Вамъ кажутся странными мои поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояніи, — произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои: — никогда не измѣнить ей?

— О, буду, буду! буду!..

Но въ это время подошелъ довольно пожилой человѣкъ, заговорилъ съ ней на какомъ то непонятномъ для Пискарева языкѣ и подалъ ей руку. Она умоляющимъ взглядомъ посмотрѣла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мѣстѣ и ожидать ея прихода; но въ припадкѣ нетерпѣнія онъ не въ силахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея устъ. Онъ отправился вслѣдъ за нею, но толпа раздѣлила ихъ. Онъ уже не видѣлъ сиреневаго платья; съ безпокойствомъ пробирался онъ изъ комнаты въ комнату и толкалъ безъ милосердія всѣхъ встрѣчныхъ, но во всѣхъ комнатахъ все сидѣли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нѣсколько пожилыхъ людей о преимуществѣ военной службы передъ статскою; въ другомъ — молодые люди, въ превосходныхъ фракахъ, бросали легкія замѣчанія о многотомныхъ трудахъ поэта-труженика. Пискаревъ чувствовалъ, что одинъ пожилой человѣкъ, почтенной наружности, схватилъ за пуговицу его фрака и представлялъ на его сужденіе одно весьма справедливое его замѣчаніе, но онъ грубо оттолкнулъ его, даже не замѣтивши, что у него на шеѣ былъ довольно значительный орденъ. Онъ перебѣжалъ въ другую комнату — и тамъ нѣтъ ея, въ третью — тоже нѣтъ. „Гдѣ же она? Дайте ее мнѣ! О, я не могу жить,

не взглянувши на нее! Мнѣ хочется выслушать, что она хотѣла сказать!“ Но всѣ поиски его оставались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрѣлъ на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ то неясномъ видѣ. Наконецъ, ему начали явственно показываться стѣны его комнаты. Онъ поднялъ глаза: передъ нимъ стоялъ подсвѣчникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинѣ его; вся свѣча истаяла; сало было налито на ветхомъ столѣ его...

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой прекрасный сонъ! И зачѣмъ было просыпаться? Зачѣмъ было одной минуты не подождать? Она бы, вѣрно, опять явилась! Досадный разсвѣтъ непріятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ безпорядкѣ... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты? Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая насильно призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ, точно, не замедлилъ къ нему явиться, но представлялъ ему вовсе не то, что бы желалъ онъ видѣть: то поручикъ Пироговъ являлся съ трубкою, то академическій сторожъ, то дѣйствительный статскій совѣтникъ, то голова чухонки, съ которой онъ когда то рисовалъ портретъ, и тому подобная чепуха.

До самаго полудня пролежалъ онъ въ постелѣ, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумѣла ея легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный снѣгъ, рука мелькнула передъ нимъ!

Все откинувши, все позабывши, сидѣлъ онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сновидѣнія. Ни къ чему не думалъ онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой жизни глядѣли въ окно, обращенное

въ дворъ, гдѣ грязный водовозъ лилъ воду, мерзнувшую на воздухѣ, и козлиный голосъ разносчика дребезжалъ: „старого платья продать“. Вседневное и дѣйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидѣлъ онъ до самаго вечера и съ жадностью бросился въ постель. Долго боролся онъ съ безсонницею, наконецъ, пересилилъ ее. Опять какой то сонъ, какой то пошлый, гадкій сонъ. „Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее! — Онъ опять ожидалъ вечера, опять заснулъ, опять снился какой то чиновникъ, который былъ вмѣстѣ и чиновникъ, и фаготъ. О, это нестерпимо! Наконецъ, она явилась! ея голова и локоны... она глядитъ... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое то глупое сновидѣніе.

Наконецъ, сновидѣнія сдѣлались его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный оборотъ: онъ, можно сказать, спалъ на яву и бодрствовалъ во снѣ. Еслибы его кто-нибудь видѣлъ сидящимъ безмолвно передъ пустымъ столомъ, или шедшимъ по улицѣ, то, вѣрно бы, принялъ его за лунатика или разрушеннаго крѣпкими напитками: взглядъ его былъ вовсе безъ всякаго значенія, природная разсѣянность, наконецъ, развилась и властительно изгоняла въ лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что, наконецъ, сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употреблялъ всѣ средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ — для этого нужно принять только опіумъ. Но гдѣ достать этого опіуму? Онъ вспомнилъ про одного персіянина, содержавшаго магазинъ шалей, который всегда почти, когда ни встрѣчалъ его, просилъ нарисовать

ему красавицу. Онъ рѣшился отправиться къ нему, предполагая, что у него, безъ сомнѣнія, есть этотъ опіумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванѣ и поджавши подъ себя ноги.

— На что тебѣ опіумъ? — спросилъ онъ его.

Пискаревъ разсказалъ ему про свою безсонницу.

— Хорошо, я дамъ тебѣ опіуму, только нарисуй мнѣ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! Чтобы брови были черныя и очи большія, какъ маслины; а я сама чтобы лежала возлѣ нея и курила трубку! Слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискаревъ обѣщалъ все. Персіянинъ на минуту вышелъ и возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлилъ часть ея въ другую баночку и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ по семи капель въ водѣ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоцѣнную баночку, которую не отдалъ бы за груду золота, и опрометью побѣжалъ домой.

Пришедши домой, онъ отлилъ нѣсколько капель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ мірѣ! О, какъ хорошо сидитъ она у окна деревенскаго свѣтлаго домика! Нарядъ ея дышитъ такою простотою, въ какую только облекается мысль поэта. Причоска на головѣ ея... Создатель, какъ проста эта причоска, и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ея шейкѣ; все въ ней скромно, все въ ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! Какъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! Какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ! Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: „Не презирайте меня: я вовсе

не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнѣе и скажите: развѣ я способна къ тому, что вы думаете?“ — „О, нѣтъ, нѣтъ! Пусть тотъ, кто осмѣлится подумать, пусть тотъ...“

Но онъ проснулся, растроганный, растерзанный, со слезами на глазахъ. „Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ мірѣ, а была созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходилъ отъ холста, я бы вѣчно глядѣлъ на тебя и цѣловалъ бы тебя, я бы жилъ и дышалъ тобою, какъ прекраснѣйшею мечтою — и я бы былъ тогда счастливъ; никакихъ бы желаній не простиралъ далѣе. Я бы призывалъ тебя, какъ ангела хранителя, предъ сномъ и бдѣніемъ, и тебя бы ждалъ я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы въ томъ, что она живетъ? Развѣ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамъ и друзьямъ, нѣкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!“ Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не ѣлъ и съ нетерпѣніемъ, со страстію любовника, ожидалъ вечера и желаннаго видѣнія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному, наконецъ, взяло такую власть надъ всѣмъ бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положеніи противоположномъ дѣйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Чрезъ эти сновидѣнія самый предметъ какъ то болѣе дѣлался чистымъ и вовсе преображался.

Пріемы опіума еще болѣе раскалили его мысли, и если былъ когда-нибудь влюбленный до послѣдняго градуса безумія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этотъ несчастный былъ — онъ.

Изъ всѣхъ сновидѣній его одно было радостнѣе для него всѣхъ: ему представилась его мастерская. Онъ такъ былъ веселъ, съ такимъ наслажденіемъ сидѣлъ съ палитрою въ рукахъ! И она тутъ же. Она была уже его женою. Она сидѣла нозлѣ него, облокотившись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотрѣла на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства; все въ комнатѣ его дышало раемъ; было такъ свѣтло, такъ убрано. Создатель! она склонила къ нему на грудь прелестную свою головку... Лучшаго сна онъ еще никогда не видывалъ. Онъ всталъ послѣ него какъ то свѣжѣе и менѣе разсѣянный, нежели прежде. Въ головѣ его родились странныя мысли. „Можетъ быть“, думалъ онъ, „она вовлечена какимъ-нибудь невольнымъ, ужаснымъ случаемъ въ развратъ; можетъ быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можетъ быть,она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда только стоитъ подать руку, чтобы спасти ее отъ потопленія?“ Мысли его простирались еще далѣе. „Меня никто не знаетъ“, говорилъ онъ самъ себѣ: „да и кому какое до меня дѣло, да и мнѣ тоже нѣтъ до нихъ дѣла. Если она изъявитъ чистое раскаяніе и перемѣнитъ жизнь свою, я женюсь на ней. Я долженъ на ней жениться и, вѣрно, сдѣлаю гораздо лучше, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже часто на самыхъ презрѣнныхъ тваряхъ. Но мой подвигъ будетъ безкорыстенъ и, можетъ быть, великъ: я возвращу міру прекраснѣйшее его украшеніе!“

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствовалъ краску, вспыхнувшую на его лицѣ; онъ подошелъ къ зеркалу и испугался самъ впалыхъ щекъ и блѣдности своего лица. Тщательно

началъ онъ принаряжаться; пріумылся, пригладилъ волоса, надѣлъ новый фракъ, щегольской жилетъ, набросилъ плащъ и вышелъ на улицу. Онъ дохнулъ свѣжимъ воздухомъ и почувствовалъ свѣжесть на сердцѣ, какъ выздоравливающій, рѣшившійся выйти въ первый разъ послѣ продолжительной болѣзни. Сердце его билось, когда онъ подходилъ къ той улицѣ, на которой нога его не была со времени роковой встрѣчи.

Долго онъ искалъ домъ; казалось, память ему измѣнила. Онъ два раза прошелъ улицу и не зналъ, передъ которымъ остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро взбѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему навстрѣчу? Его идеалъ, его таинственный образъ, оригиналъ мечтательныхъ картинъ, — та, которою онъ жилъ, такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ — она, она сама стояла передъ нимъ. Онъ затрепеталъ; онъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости, обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ нимъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заспаны, хотя блѣдность кралась на лицѣ ея, уже не такъ свѣжемъ; но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидѣвши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа): — зачѣмъ вы убѣжали тогда отъ насъ?

Онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и глядѣлъ на нее.

— А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсѣмъ пьяна, — прибавила она съ улыбкою.

О, лучше бы ты была нѣма и лишена вовсе языка, чѣмъ произносить такія рѣчи! Она вдругъ показала ему, какъ въ панорамѣ, всю жизнь ея. Однакожъ, несмотря на это, скрѣпившись сердцемъ, рѣшился попробовать онъ, не будутъ ли

имѣть надъ нею дѣйствія его увѣщанія. Собравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмѣстѣ пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное ея положеніе. Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тѣмъ чувствомъ удивленія, которое мы изъявляемъ при видѣ чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидѣвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставивши вычищать гребешокъ, тоже слушала со вниманіемъ новаго проповѣдника.

— Правда, я бѣденъ, — сказалъ, наконецъ, послѣ долгаго и поучительнаго увѣщанія Пискаревъ: — но мы станемъ трудиться, мы постараемся, наперерывъ одинъ передъ другимъ, улучшить нашу жизнь. Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ быть обязану во всемъ самому себѣ. Я буду сидѣть за картинами, ты будешь, сидя возлѣ меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другимъ рукодѣліемъ, — и мы ни въ чемъ не будемъ имѣть недостатка.

— Какъ можно! — прервала она рѣчь съ выраженіемъ какого то презрѣнія. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрѣнная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, вѣрныхъ спутниковъ разврата.

— Женитесь на мнѣ! — подхватила, съ наглымъ видомъ, молчавшая дотолѣ въ углу ея пріятельница. — Если я буду женою, я буду сидѣть вотъ какъ! — При этомъ она сдѣлала какую то глупую мину на жалкомъ лицѣ своемъ, которою чрезвычайно разсмѣшила красавицу.

О, это уже слишкомъ! Этого нѣтъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства, и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цѣли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ

онъ весь день. Никто не могъ знать, ночевалъ ли онъ гдѣ-нибудь, или нѣтъ; на другой только день какимъ то глупымъ инстинктомъ зашелъ онъ на свою квартиру, блѣдный, съ ужаснымъ видомъ, съ растрепанными волосами, съ признаками безумія на лицѣ. Онъ заперся въ своей комнатѣ и никого не впускалъ, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ, прошла недѣля, и комната все такъ же была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвѣта; наконецъ, выломали дверь и нашли бездыханный трупъ его съ перерѣзаннымъ горломъ. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была невѣрна, и что онъ долго еще мучился, прежде нежели грѣшная душа его оставила тѣло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бѣдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, дѣтски-простодушный, носившій въ себѣ искру таланта, быть можетъ, со временемъ бы вспыхнувшаго широко и ярко. Никто не поплакалъ надъ нимъ; никого не видно было возлѣ его бездушнаго трупа, кромѣ обыкновенной фигуры квартальнаго надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гробъ его тихо, даже безъ всякихъ обрядовъ религіи, повезли на Охту; за нимъ идучи, плакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ, и то потому, что выпилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Пироговъ не пришелъ посмотрѣть на трупъ несчастнаго бѣдняка, которому онъ при жизни оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ, ему было вовсе не до того: онъ былъ занятъ чрезвычайнымъ происшествіемъ.

Но обратимся къ нему. — Я не люблю труповъ и покойниковъ, и мнѣ всегда непріятно, когда пе-

реходитъ мою дорогу длинная погребальная процессія, и инвалидный солдатъ, одѣтый какимъ то капуциномъ, нюхаетъ лѣвою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душѣ досаду при видѣ богатаго катафалка и бархатнаго гроба; но досада моя смѣшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извозчикъ тащитъ красный, ничѣмъ не покрытый гробъ бѣдняка, и только одна какая-нибудь нищая, встрѣтившись на перекресткѣ, плетется за нимъ, не имѣя другого дѣла.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бѣднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серьги, перчатки и другія бездѣлушки, безпрестанно вертѣлась, глазѣла во всѣ стороны и оглядывалась назадъ. „Ты, голубушка, моя!“ говорилъ съ самоувѣренностію Пироговъ, продолжая свое преслѣдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ. Но не мѣшаетъ извѣстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ.

Но прежде, нежели мы скажемъ, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ, не мѣшаетъ кое-что разсказать о томъ обществѣ, къ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющіе въ Петербургѣ какой то средній классъ общества. На вечерѣ, на обѣдѣ у статскаго совѣтника или у дѣйствительнаго статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сорокалѣтними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Нѣсколько блѣдныхъ, совершенно безцвѣтныхъ, какъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ иныя перезрѣли, чайный столикъ, фортепіано, домашніе танцы — все это бы-

ваетъ нераздѣльнс съ свѣтлымъ эполетомъ, который блещетъ при лампѣ между благонравной блондинкой и чернымъ фракомъ братца или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ дѣвицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смѣяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсѣмъ не имѣть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смѣшно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую любятъ женщины. Въ этомъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имѣютъ особенный даръ заставлять смѣяться и слушать этихъ безцвѣтныхъ красавицъ. Восклицанія, задушаемыя смѣхомъ: „Ахъ, перестаньте! Не стыдно ли вамъ такъ смѣшить!“ бываютъ имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ классѣ они попадаются очень рѣдко или, лучше, никогда: оттуда они совершенно вытѣснены тѣмъ, что называютъ въ этомъ обществѣ аристократами. Впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любятъ потолковать объ литературѣ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ [1]. Они не пропускаютъ ни одной публичной лекціи, будь она о бухгалтеріи или даже о лѣсоводствѣ. Въ театрѣ, какая бы ни была піеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ, выключая развѣ, если уже играются какіе-нибудь „Филатки“, которыми очень оскорбляется ихъ разборчивый вкусъ. Въ театрѣ они безсмѣнно. Это самые выгодные люди для театральной дирекціи. Они особенно любятъ въ піесѣ хорошіе стихи, также очень любятъ громко вызывать актеровъ; многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведеніяхъ или приготовляя къ казеннымъ заведеніямъ, заводятся, наконецъ, ка-

[1] Бездарный писатель 30-ъ годовъ.

бріолетомъ и парою лошадей. Тогда кругъ ихъ становится обширнѣе; они достигаютъ, наконецъ, того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть на фортепіано, съ сотнею тысячъ, или около того, наличныхъ и кучею брадатой родни. Однакожъ, этой чести они не прежде могутъ достигнуть, какъ выслужившись, по крайней мѣрѣ, до полковничьяго чина, потому что русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ еще нѣсколько отзывается капустою, никакимъ образомъ не хотятъ видѣть дочерей своихъ ни за кѣмъ, кромѣ генераловъ или, по крайней мѣрѣ, полковниковъ. Таковы главныя черты этого сорта молодыхъ людей. Но поручикъ Пироговъ имѣлъ кромѣ этого множество талантовъ, собственно ему принадлежавшихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ „Димитрія Донского“ и „Горе отъ ума“ и имѣлъ особенное искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами такъ удачно, что вдругъ могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое; умѣлъ очень пріятно разсказать анекдотъ о томъ, что пушка сама по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Впрочемъ, оно нѣсколько трудно перечесть всѣ таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрисѣ и танцовщицѣ, но уже не такъ рѣзко, какъ обыкновенно изъясняется объ этомъ предметѣ молодой прапорщикъ. Онъ былъ очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который былъ произведенъ недавно, и хотя иногда, ложась на диванъ, онъ говорилъ: „Охъ, охъ, охъ! Суета, все суета! Что изъ этого, что я поручикъ?“ — но втайнѣ ему очень льстило это новое достоинство; онъ въ разговорѣ часто старался намекнуть о немъ обинякомъ, и одинъ разъ, когда попался ему на улицѣ какой то писарь, показавшійся ему невѣжливымъ, онъ немедленно остановилъ его и въ немногихъ, но рѣзкихъ словахъ далъ замѣтить ему, что передъ нимъ

стоялъ поручикъ, а не другой какой офицеръ. Тѣмъ болѣе старался онъ изложить это краснорѣчиво, что тогда проходили мимо его двѣ весьма недурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящному и поощрялъ художника Пискарева; впрочемъ, это происходило, можетъ быть, отъ того, что ему весьма желалось видѣть мужественную физіогномію свою на портетѣ. Но довольно о качествахъ Пирогова. Человѣкъ такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдругъ всѣхъ его достоинствъ, и чѣмъ болѣе въ него всматриваешься, тѣмъ болѣе является новыхъ особенностей, и описаніе ихъ было бы безконечно. Итакъ, Пироговъ не переставалъ преслѣдовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвѣчала рѣдко, отрывисто и какими то неясными звуками. Они вошли мокрыми Казанскими воротами въ Мѣщанскую улицу, — улицу табачныхъ и мелочныхъ лавокъ, нѣмцевъ-ремесленниковъ и чухонскихъ нимфъ. Блондинка бѣжала скорѣе и впорхнула въ ворота одного довольно запачканнаго дома. Пироговъ за нею. Она взбѣжала по узенькой темной лѣстницѣ и вошла въ дверь, въ которую тоже смѣло пробрался Пироговъ. Онъ увидѣлъ себя въ большой комнатѣ съ черными стѣнами, съ закопченымъ потолкомъ. Куча желѣзныхъ винтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвѣчниковъ была на столѣ; полъ былъ засоренъ мѣдными и желѣзными опилками. Пироговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далѣе въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, слѣдуя русскому правилу, рѣшился идти впередъ. Онъ вошелъ въ другую комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяинъ былъ нѣмецъ. Онъ былъ пораженъ необыкновенно стран-

нымъ видомъ: передъ нимъ сидѣлъ Шиллеръ, — не тотъ Шиллеръ, который написалъ „Вильгельма Теля“ и „Исторію тридцатилѣтней войны“, но извѣстный Шиллеръ, жестяныхъ дѣлъ мастеръ въ Мѣщанской улицѣ. Возлѣ Шиллера стоялъ Гофманъ, — не писатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Шиллеръ былъ пьянъ и сидѣлъ на стулѣ, топая ногою и говоря что то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положеніе обѣихъ фигуръ. Шиллеръ сидѣлъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявши вверхъ голову, а Гофманъ держалъ его за этотъ носъ двумя пальцами и вертѣлъ лезвеемъ своего сапожническаго ножа на самой его поверхности. Обѣ особы говорили на нѣмецкомъ языкѣ, и потому поручикъ Пироговъ, который зналъ по-нѣмецки только „гутъ-моргенъ“, ничего не могъ понять изъ всей этой исторіи. Впрочемъ, слова Шиллера заключались вотъ въ чемъ:

— Я не хочу, мнѣ не нуженъ носъ! — говорилъ онъ, размахивая руками. — У меня на одинъ носъ выходитъ три фунта табаку въ мѣсяцъ. И я плачу въ русскій скверный магазинъ, — потому что нѣмецкій магазинъ не держитъ русскаго табаку, — я плачу въ русскій скверный магазинъ за каждый фунтъ по 40 копеекъ — это будетъ рубль двадцать копеекъ; двѣнадцать разъ рубль двадцать копеекъ — это будетъ четырнадцать рублей сорокъ копеекъ. Слышишь, другъ мой Гофманъ? На одинъ носъ четырнадцать рублей сорокъ копеекъ! Да по праздникамъ я нюхаю Рапѐ, потому что я не хочу нюхать по праздникамъ русскій скверный табакъ. Въ годъ я нюхаю два фунта Рапѐ, по два рубли фунтъ. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорокъ копеекъ на одинъ табакъ! Это разбой! Я спрашиваю тебя,

мой другъ Гофманъ, не такъ ли? — Гофманъ, который самъ былъ пьянъ, отвѣчалъ утвердительно. — Двадцать рублей сорокъ копеекъ! Я швабскій нѣмецъ; у меня есть король въ Германіи. Я не хочу носа! Рѣжь мнѣ носъ! Вотъ мой носъ!

И еслибы не внезапное появленіе поручика Пирогова, то, безъ всякаго сомнѣнія Гофманъ отрѣзалъ бы ни за что, ни про что Шиллеру носъ, потому что онъ уже привелъ ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хотѣлъ кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрошенное лицо такъ некстати ему помѣшало. Онъ, несмотря на то, что былъ въ упоительномъ чаду пива и вина, чувствовалъ, что нѣсколько неприлично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствіи находиться въ присутствіи постороннаго свидѣтеля. Между тѣмъ Пироговъ слегка наклонился и съ свойственною ему пріятностію сказалъ:

— Вы извините меня...

— Пошелъ вонъ! — отвѣчалъ протяжно Шиллеръ.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращеніе ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лицѣ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достоинства онъ сказалъ:

— Мнѣ странно, милостивый государь... Вы, вѣрно, не замѣтили... я офицеръ...

— Что такое офицеръ! Я — швабскій нѣмецъ. Мой самъ (при этомъ Шиллеръ ударилъ кулакомъ по столу) будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сдѣлаетъ этакъ: фу! — При этомъ Шиллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидѣлъ, что ему больше

ничего не оставалось, какъ только удалиться; однакожъ, такое обхожденіе, вовсе неприличное его званію, ему было непріятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, какимъ бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ, разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его наполнена пивомъ и виномъ; къ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано поутру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатѣ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ голосомъ, который очень шелъ къ ея личику, спросила:

— Что вамъ угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плутовочка, какіе хорошенькіе глазки!

При этомъ поручикъ Пироговъ хотѣлъ очень мило поднять пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію спросила:

— Что вамъ угодно?

— Васъ видѣть, больше ничего мнѣ не угодно, — произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подступая ближе; но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользнуть въ дверь, прибавилъ: — Мнѣ нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мнѣ сдѣлать шпоры? Хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изъясненіяхъ подобнаго рода.

— Я сейчасъ позову моего мужа, — вскрикнула нѣмка и ушла, и черезъ нѣсколько минутъ

Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходившаго съ заспанными глазами, едва очнувшагося отъ вчерашняго похмелья. Взглянувши на офицера, онъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но чувствовалъ, что сдѣлалъ какую то глупость, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ. — Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнесъ онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова, потому что ему, какъ честному нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя, тремя пріятелями, и запирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

— Зачѣмъ такъ дорого? — ласково сказалъ Пироговъ.

— Нѣмецкая работа, — хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородокъ: — русскій возьмется сдѣлать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей!

Шиллеръ минуту оставался въ размышленіи: ему, какъ честному нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить его отъ заказыванія, онъ объявилъ, что раньше двухъ недѣль не можетъ сдѣлать. Но Пироговъ безъ всякаго прекословія изъявилъ совершенное согласіе.

Нѣмецъ задумался и сталъ размышлять о томъ, какъ бы лучше сдѣлать свою работу, чтобы она дѣйствительно стоила пятнадцати рублей.

Въ это время блондинка вошла въ мастерскую и начала рыться въ столѣ, уставленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостію Шиллера, подступилъ къ ней и пожалъ ей ручку, обнаженную до самаго плеча.

Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейнъ фрау! — закричалъ онъ.

— Васъ волензи дохъ? — отвѣчала блондинка.

— Гензи на кухня! [1] — Блондинка удалилась.

— Такъ черезъ двѣ недѣли? сказалъ Пироговъ.

— Да, черезъ двѣ недѣли, — отвѣчалъ въ размышленіи Шиллеръ: — у меня теперь очень много работы.

— До свиданія, я къ вамъ зайду!

— До свиданія, — отвѣчалъ Шиллеръ. запирая за нимъ дверь.

Поручикъ Пироговъ рѣшился не оставлять своихъ исканій, несмотря на то, что нѣмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, чтобы можно было ему противиться, тѣмъ болѣе, что любезность его и блестящій чинъ давали полное право на вниманіе. Надобно, однакоже, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть въ хорошенькой женѣ. По крайней мѣрѣ, я зналъ много мужей, которые въ восторгѣ отъ глупости своихъ женъ и видятъ въ ней всѣ признаки младенческой невинности. Красота производитъ совершенныя чудеса. Всѣ душевные недостатки въ красавицѣ, вмѣсто того, чтобы произвести отвращеніе, становятся какъ то необыкновенно привлекательны; самый порокъ дышитъ въ нихъ миловидностью; но исчезни она — и женщинѣ нужно быть въ двадцать разъ умнѣе мужчины, чтобы внушить къ себѣ, если не любовь, то, по крайней мѣрѣ, уваженіе. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда вѣрна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успѣть въ смѣломъ своемъ предпріятіи; но съ побѣдою препятствій всегда соединяется наслажденіе, и блон-

[1] Жена... Что вамъ угодно?.. Ступайте на кухню.

динка становилась для него интереснѣе день ото дня. Онъ началъ довольно часто освѣдомляться о шпорахъ, такъ что Шиллеру это, наконецъ, наскучило. Онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы окончить скорѣй начатыя шпоры; наконецъ, шпоры были готовы.

— Ахъ, какая отличная работа! — закричалъ поручикъ Пироговъ, увидѣвши шпоры. — Господи, какъ это хорошо сдѣлано! У нашего генерала нѣтъ этакихъ шпоръ.

Чувство самодовольствія распустилось по душѣ Шиллера. Глаза его начали глядѣть довольно весело, и онъ въ мысляхъ совершенно примирился съ Пироговымъ. „Русскій офицеръ — умный человѣкъ“, думалъ онъ самъ про себя.

— Такъ вы, стало быть, можете сдѣлать и оправу, напримѣръ, къ кинжалу или другимъ вещамъ?

— О, очень могу! — сказалъ Шиллеръ съ улыбкою.

— Такъ сдѣлайте мнѣ оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу. У меня очень хорошій турецкій кинжалъ, но мнѣ бы хотѣлось оправу къ нему сдѣлать другую.

Шиллера это какъ бомбою хватило. Лобъ его вдругъ наморщился. „Вотъ тебѣ на!“ подумалъ онъ про себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу. Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же русскій офицеръ похвалилъ его работу. — Онъ, нѣсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; но поцѣлуй, который, уходя, Пироговъ влѣпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумѣніе.

Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нѣсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный нѣмецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Еще съ двадцатилѣтняго

возраста, съ того счастливаго времени, въ которое русскій живетъ на фуфу, уже Шиллеръ размѣрилъ всю свою жизнь и никакого, ни въ какомъ случаѣ, не дѣлалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, обѣдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово. Ни въ какомъ случаѣ не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цѣна на картофель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной копейки, но уменьшалъ только количество, и хотя оставался иногда нѣсколько голоднымъ, но скоро, однакоже, привыкалъ къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, а чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, онъ никогда не клалъ перцу болѣе одной чайной ложечки въ свой супъ; впрочемъ, въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, потому что Шиллеръ выпивалъ тогда двѣ бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однакоже, онъ всегда бранилъ. Пилъ онъ вовсе не такъ, какъ англичанинъ, который тотчасъ послѣ обѣда запираетъ дверь на крючокъ и нарѣзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ нѣмецъ, пилъ всегда вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или съ столяромъ Кунцомъ, тоже нѣмцемъ и большимъ пьяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который, наконецъ, былъ приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Хотя онъ былъ флегматикъ и нѣмецъ, однакожъ поступки Пирогова возбудили въ немъ что то похожее не ревность. Онъ ломалъ голову

и не могъ придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого русскаго офицера. Между тѣмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, — потому что уже такъ Провидѣніе устроило, что гдѣ офицеры, тамъ и трубки, — куря трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріятною улыбкою объ интрижкѣ съ хорошенькою нѣмкою, съ которою, по словамъ его, онъ уже совершенно былъ накороткѣ и которую онъ, въ самомъ дѣлѣ, едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мѣщанской, поглядывая на домъ, гдѣ красовалась вывѣска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидѣлъ онъ головку блондинки, свѣсившуюся въ окошко и разглядывавшую прохожихъ. Онъ остановился, сдѣлалъ ей ручкою и сказалъ: „гутъ моргенъ“. Блондинка поклонилась ему, какъ знакомому.

— Что̀, вашъ мужъ дома?

— Дома, — отвѣчала блондинка.

— А когда онъ не бываетъ дома?

— Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома, — сказала глупенькая блондинка.

„Это недурно“, подумалъ про себя Пироговъ: „этимъ нужно воспользоваться“ — и въ слѣдующее воскресенье, какъ снѣгъ на голову, явился передъ блондинкою. Шиллера, дѣйствительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пироговъ поступилъ на этотъ разъ довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показалъ всю красоту своего гибкаго, перетянутаго стана. Онъ очень пріятно и учтиво шутилъ, но глупенькая нѣмка отвѣчала на все односложными словами. Наконецъ, заходивши со всѣхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложилъ ей танцовать. Нѣмка согласилась въ одну минуту, потому что нѣмки

всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Пироговъ очень много основывалъ надеждъ: во-первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе; во-вторыхъ, это могло показать его турнюру [1] и ловкость; въ-третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую нѣмку и проложить начало всему; короче, онъ выводилъ изъ этого совершенный успѣхъ. Онъ началъ напѣвать какой то гавотъ, зная, что нѣмкамъ нужна постепенность. Хорошенькая нѣмка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положеніе такъ восхитило Пирогова, что онъ бросился ее цѣловать; нѣмка начала кричать и этимъ еще болѣе увеличила свою прелесть въ глазахъ Пирогова; онъ ее засыпалъ поцѣлуями, какъ вдругъ дверь отворилась, и вошелъ Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всѣ эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но... я предоставляю самимъ читателямъ судить о гнѣвѣ и негодованіи Шиллера.

— Грубіянъ! — закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи: — какъ ты смѣешь цѣловать мою жену? Ты подлецъ, а не русскій офицеръ. Чортъ побери! не такъ ли, мой другъ Гофманъ? Я нѣмецъ, а не русская свинья (Гофманъ отвѣчалъ утвердительно). О! я не хочу имѣть роги! Бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ; я не хочу, — продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, при чемъ все лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лѣтъ живу въ Петербургѣ, у меня въ Швабіи мать моя, и дядя мой въ Нюренберга; я нѣмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! Держи его за рука и нога, камрадъ [2] мой Кунцъ!“

И нѣмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ отбиваться; эти три ре-

[1] Выправку, станъ.
[2] Товарищъ.

месленника были самый дюжій народъ изъ всѣхъ петербургскихъ нѣмцевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невѣжливо, что, признаюсь, я никакъ не нахожу словъ къ изображенію этого печальнаго событія.

Я увѣренъ, что Шиллеръ на другой день былъ въ сильной лихорадкѣ, что онъ дрожалъ, какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиціи, что онъ, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, чтобы все происходившее вчера было во снѣ. Но что уже было, того нельзя перемѣнить. Ничто не могло сравниться съ гнѣвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскорбленіи приводила его въ бѣшенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ летѣлъ домой, чтобы, одѣвшись, оттуда идти прямо къ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство нѣмецкихъ ремесленниковъ. Онъ разомъ хотѣлъ подать и письменную просьбу въ Главный Штабъ; если же назначеніе наказанія будетъ неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.

Но все это какъ то странно кончилось: по дорогѣ онъ зашелъ въ кондитерскую, съѣлъ два слоеныхъ пирожка, прочиталъ кое-что изъ „Сѣверной Пчелы“ и вышелъ уже не въ столь гнѣвномъ положеніи. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его нѣсколько пройтись по Невскому проспекту; къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо безпокоить генерала; притомъ онъ, безъ сомнѣнія, куданибудь отозванъ. И потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю контрольной комиссіи, гдѣ было очень пріятное собраніе многихъ чиновниковъ и офицеровъ его корпуса. Тамъ съ удовольствіемъ провелъ вечеръ и такъ отличился въ мазуркѣ, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ

„Дивно устроенъ свѣтъ нашъ!“ думалъ я, бредя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествія. „Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснѣйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замѣчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пѣшкомъ и довольствуется только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имѣетъ ротъ величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какимъ-нибудь нѣмецкимъ обѣдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!“

Но страннѣе всего происшествія, случающіяся на Невскомъ проспектѣ. О, не вѣрьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрѣпчь плащомъ своимъ, когда иду по немъ, и стараюсь вовсе не глядѣть на встрѣчающіеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чѣмъ кажется! Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично сшитомъ сюртучкѣ, очень богатъ? — ничуть не бывало: онъ весь состоитъ изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившіеся передъ строящеюся церковью, судятъ объ архитектурѣ ея? — совсѣмъ нѣтъ: они говорятъ о томъ, какъ странно сѣли двѣ вороны одна противъ другой. Вы думаете, что этотъ энтузіастъ, размахивающій руками, говоритъ о томъ, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера? — совсѣмъ нѣтъ: онъ говоритъ о Лафаэтѣ. Вы думаете, что эти

дамы... но дамамъ меньше всего вѣрьте. Менѣе заглядывайте въ окна магазиновъ: бездѣлушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнутъ страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шляпки. Какъ привлекательно ни развѣвайся вечеромъ вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далѣе, ради Бога, далѣе отъ фонаря! и скорѣе, сколько можно скорѣе, проходите мимо! Это счастіе еще, если отдѣлаетесь тѣмъ, что онъ зальетъ щегольской сюртукъ вашъ вонючимъ своимъ масломъ. Но, и кромѣ фонаря, все дышитъ обманомъ. Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и палевыя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, миріады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы показат все не въ настоящемъ видѣ.

О малороссійскихъ пѣсняхъ.

Только въ послѣдніе годы, въ эти времена стремленія къ самобытности и собственной народной поэзіи, обратили на себя вниманіе малороссійскія пѣсни, бывшія до того скрытыми отъ образованнаго общества и державшіяся въ одномъ народѣ. До того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрѣдка заносилась въ высшій кругъ, слова же оставались безъ вниманія и почти ни въ комъ не возбуждали любопытства. Даже музыка ихъ не появлялась никогда вполнѣ. Бездарный композиторъ безжалостно разрывалъ ее и клеилъ въ свое безчувственное, деревянное созданіе [1]. Но лучшіе пѣсни и голоса слышали только однѣ украинскія степи: только тамъ, подъ сѣнью низенькихъ глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при блескѣ утра, полудня и вечера, при лимонной желтизнѣ падающихъ колосьевъ пшеницы, онѣ раздаются, прерываемыя однѣми степными чайками, вереницами жаворонковъ и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ пѣсенъ. Это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дѣятельна,

[1] Впрочемъ, любители музыки и поэзіи могутъ нѣсколько утѣшиться: недавно издано прекрасное собраніе пѣсенъ Максимовичемъ, и при немъ голоса, переложенные Алябьевымъ.

Прим. Гоголя.

разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ, при всей многосторонности ея, не получилъ высшей цивилизаціи, то весь пылъ, все сильное, юное бытіе его выливается въ народныхъ пѣсняхъ. Онѣ — надгробный памятникъ былого, болѣе нежели надгробный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ историческою надписью — ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніи пѣсни для Малороссіи — все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнулъ въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытѣ этой цвѣтущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы или точнаго объясненія мѣста, вѣрной реляціи; въ этомъ отношеніи немногія пѣсни помогутъ ему. Но когда онъ захочетъ узнать вѣрный бытъ, стихіи характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будетъ удовлетворенъ вполнѣ: исторія народа разоблачится передъ нимъ въ ясномъ величіи.

Пѣсни малороссійскія могутъ вполнѣ назваться историческими, потому что онѣ не отрываются ни на мигъ отъ жизни и всегда вѣрны тогдашней минутѣ и тогдашнему состоянію чувствъ. Вездѣ проникаетъ ихъ, вездѣ въ нихъ дышитъ эта широкая воля казацкой жизни. Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою казакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свѣжестью, съ карими очами, съ ослѣпительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся, какъ ручей, слезами,

которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство, — ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ, — все замѣняетъ ватага гульливыхъ рыцарей набѣговъ. Узы этого братства для него выше всего, сильнѣе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмѣримая степь отъ Тамана до Дуная — дикій океанъ цвѣтовъ колышется однимъ налетомъ вѣтра; въ безпредѣльной глубинѣ неба тонутъ лебеди и журавли; умирающій казакъ лежитъ среди этой свѣжести дѣвственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

То ще добре козацька голова знала.
Що безъ війска козацького не вмирала.

Увидѣвши ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли казацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновеніемъ; извергается ли изъ самопаловъ потопъ дыма и пуль; кружаетъ ли вольно медъ, вино; описываются ли ужасная казнь гетмана, отъ которой дыбомъ подымается волосъ, мщеніе ли казаковъ, видъ ли убитаго казака, съ широко-раскинутыми руками на травѣ, съ разметаннымъ чубомъ, клекты ли орловъ въ небѣ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать казацкія очи, — все это живетъ въ пѣсняхъ и окинуто смѣлыми красками. Остальная половина пѣсней изображаетъ другую половину жизни народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашняго; здѣсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ одни казаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здѣсь, напротивъ, одинъ женскій міръ, нѣжный, тоскливый, дышащій любовію. Эти два пола видѣлись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цѣлые годы. Годы эти

были проводимы женщинами въ тоскѣ, въ ожиданіи своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ передъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранствѣ, какъ сновидѣніе, какъ мечта. Оттого любовь ихъ дѣлается чрезвычайно поэтическою. Свѣжая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столпило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгновеніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновеніемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

Ой, чорные бровенята!
Лыхо мини зъ вами:
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живетъ воспоминаніемъ. Все, на что они глядѣли вмѣстѣ, куда они вмѣстѣ ходили, что вмѣстѣ говорили, — все это припоминаетъ она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видитъ въ природѣ, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всѣмъ имъ говоритъ и жалуется. И какъ просты, какъ поэтически-просты ея исполненныя души рѣчи! Ко всему примѣняетъ она состояніе свое и не можетъ наговориться, потому что человѣкъ многорѣчивъ всегда, когда въ его грусти заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяніемъ говоритъ она:

Да вжежъ мини не ходыты,
Куда я ходыла!
Да вжежъ мини не любиты,
Кого я любила!
Да вжежъ мини не ходыты
Ранкомъ по-пидъ замкомъ!

Да вжежъ минц не стояты
Изъ моимъ коханкомъ!
Да вжежъ мини не ходыты
Въ лиски по оришки!
Да вжежъ мини минулися
Дивоцкія смишки!

Чтобы сколько-нибудь сдѣлать доступною для незнающихъ малороссійскаго языка глубину чувствъ, разсыпанныхъ въ этихъ пѣсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводѣ.

Разсердился, разгнѣвался на меня мой милый! Вотъ онъ сѣдлаетъ своего вороного коня и ѣдетъ далеко, далеко отъ меня.

Куда же ты, мой милый, голубчикъ мой сизый, куда ты уѣзжаешь? Кому ты меня беззащитную, молодую, кому оставляешь?

„Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь изъ дальней дороги".

О, еслибъ я знала, еслибы видѣла, откуда будетъ ѣхать мой милый, я бы ему по всей дорогѣ мостила мосты изъ зеленаго тростника и все бы ждала его въ гости.

Боже Всесильный! выровняй всѣ долины и горы, чтобы вездѣ было ровно, чтобы оттолѣ ему до самаго дому было хорошо ѣхать!

Чу! луга шумятъ, берега звенятъ, по дорогѣ зеленѣетъ трава — это онъ! это мой милый ѣдетъ!

Чу! луга шумятъ, берега звенятъ, расцвѣтаетъ калина — вѣрно гдѣ-нибудь мой милый, голубчикъ мой сизый, съ другою разговариваетъ.

Зачѣмъ же ты не пріѣхалъ, зачѣмъ не прилетѣлъ, какъ я тебѣ говорила? Коня ли не имѣлъ, дороги ли не зналъ, или мать не велѣла тебѣ?

„Я коня имѣю; я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велѣла мнѣ сѣдлать коня.

„Но только лишь сяду на коня, только лишь выѣду за ворота, какъ уже бѣжитъ за мною другая и такъ жалко стонетъ, такъ плачетъ, что тоска ея хватаетъ за самое сердце".

Можно привесть до тысячи подобныхъ пѣсенъ, можетъ быть, даже гораздо лучшихъ. Всѣ онѣ благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездѣ новыя краски, вездѣ простота и невыразимая нѣжность чувствъ. Гдѣ же мысли въ нихъ

коснулись религіознаго, тамъ онѣ необыкновенно поэтически. Онѣ не изумляются колоссальнымъ созданіямъ вѣчнаго Творца: это изумленіе принадлежитъ уже ступившему на высшую ступень самопознанія; но ихъ вѣра такъ невинна, такъ трогательна, такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онѣ обращаются къ Богу, какъ дѣти къ отцу; онѣ вводятъ Его часто въ бытъ своей жизни съ такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображеніе становится у нихъ величественнымъ въ самой простотѣ своей. Отъ этого самые обыкновенные предметы въ пѣсняхъ ихъ облекаются невыразимою поэзіей, чему еще болѣе помогаютъ остатки обрядовъ древней славянской миѳологіи, которые онѣ покорили христіанству. Часто тоскующая дѣва умоляетъ Бога, чтобы Онъ засвѣтилъ на небѣ восковую свѣчку, пока ея милый перебредетъ черезъ рѣку Дунай. На всемъ печать чистаго первоначальнаго младенчества, стало быть — и высокой поэзіи. Изложеніе пѣсней ихъ, какъ женскихъ, такъ и казацкихъ, почти всегда драматическое — признакъ развитія народнаго духа и дѣятельной, безпокойной жизни, долго обнимавшей народъ. Пѣсни ихъ почти никогда не обращаются въ описательныя и не занимаются долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользитъ въ куплетѣ, но тѣмъ не менѣе черты ея такъ новы, тонки, рѣзки, что представляютъ весь предметъ. Впрочемъ, къ нимъ прибѣгаютъ для того только, чтобы сильнѣе выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. То же самое у нихъ представляется разомъ и во внѣшнемъ, и во внутреннемъ мірѣ. Часто, вмѣсто цѣлаго внѣшняго, находится только одна рѣзкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдѣ нельзя найти подобной фразы: былъ вечеръ; но вмѣсто этого говорится то, что бываетъ вечеромъ, напр.:

Шли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля:
Выплакала кари очи, край около милого стоя.

Оттого весьма многіе, не понявъ, считали подобные обороты безсмыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругъ, сильно, рѣзко, и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многихъ пѣсняхъ нѣтъ одной общей мысли, такъ что онѣ походятъ на рядъ куплетовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ отдѣльную мысль. Иногда онѣ кажутся совершенно безпорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыновенно тѣ предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помѣщаются и въ пѣсни; но зато изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражаютъ самою очаровательною безотчетностью поэзіи. Самая яркая и вѣрная живопись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пѣсня сочиняется не съ перомъ въ рукѣ, не на бумагѣ, не съ строгимъ разсчетомъ, но въ вихрѣ, въ забвеніи, когда душа звучитъ, и всѣ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободнѣе, руки вольно вскидываются на воздухъ, и дикія волны веселья уносятъ его отъ всего. Это примѣчается даже въ самыхъ заунывныхъ пѣсняхъ, которыхъ раздирающіе звуки съ болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться изъ души человѣка въ обыкновенномъ состояніи, при настоящемъ воззрѣніи на предметъ. Только тогда, когда вино перемѣшаетъ и разрушитъ весь прозаическій порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласіи звучатъ внутреннимъ согласіемъ, — въ такомъ то разгулѣ, торжественномъ больше, нежели веселомъ, душа, къ непостижимой загадкѣ, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдѣніе! Весь таинственный составъ его требуетъ звуковъ, однихъ звуковъ. Оттого поэзія въ пѣс-

нихъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болѣе доступна каждому, нежели поэзія звуковъ, или, лучше сказать, поэзія поэзіи. Ее одинъ только избранный, одинъ истинный въ душѣ поэтъ понимаетъ; и потому то часто самая лучшая пѣсня остается незамѣченною, тогда какъ незавидная выигрываетъ своимъ содержаніемъ.

Стихосложеніе малороссійское самое выгодное для пѣсенъ: въ немъ соединяются вмѣстѣ и размѣръ, и тоника, и риѳма. Паденіе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бываетъ слишкомъ длинна; если же это и случается, то цезура посерединѣ, съ звонкою риѳмою, перерѣзываетъ ее. Чистые, протяжные ямбы рѣдко попадаются; большею частію быстрые хореи, дактили, амфибрахіи летятъ шибко, одинъ за другимъ, прихотливо и вольно мѣшаются между собою, производятъ новые размѣры и разнообразятъ ихъ до чрезвычайности. Риѳмы звучатъ и сшибаются одна съ другою, какъ серебряныя подковы танцующихъ. Вѣрность и музыкальность уха — общая принадлежность ихъ. Часто вся строка созвукивается съ другою, несмотря, что иногда у обѣихъ даже риѳмы нѣтъ. Близость риѳмъ изумительна. Часто строка два раза терпитъ цезуру и два раза риѳмуется до замыкающей риѳмы, которой сверхъ того даетъ отвѣтъ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на серединѣ. Иногда встрѣчается такая риѳма, которую, повидимому, нельзя назвать риѳмою, но она такъ вѣрна своимъ отголоскомъ звуковъ, что нравится иногда болѣе, нежели риѳма, и никогда бы не пришла въ голову поэту съ перомъ въ рукѣ.

Характеръ музыки нельзя опредѣлить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ пѣсняхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалитъ, рѣзвится зву-

ками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную физіогномію, становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело ударяютъ въ землю, и, кажется, какъ будто бы подъ нихъ можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ея становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, силящіеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуетъ себя исполиномъ: душа его и все существованіе раздвигается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ отъ земли, чтобы сильнѣе ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то она нигдѣ не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живутъ, жгутъ, раздираютъ душу. Русская заунывная музыка выражаетъ, какъ справедливо замѣтилъ М. Максимовичъ, забвеніе жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить вседневныя нужды и заботы; но въ малороссійскихъ пѣсняхъ она слилась съ жизнью: звуки ея такъ живы, что, кажется, не звучатъ, а говорятъ, — говорятъ словами, выговариваютъ рѣчи, и каждое слово этой яркой рѣчи проходитъ душу. Взвизги ея иногда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваетъ, какъ будто бы коснулось къ нему острое желѣзо. Безотрадное, равнодушное отчаяніе иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуетъ, что надежда давно улетѣла изъ міра. Въ другомъ мѣстѣ отрывистыя стенанія, вопли, такіе яркіе, живые, что съ трепетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирѣпое насиліе вырываетъ младенца, чтобы съ звѣрскимъ смѣхомъ расшибить его о камень. Ничто не можетъ быть сильнѣе народной музыки, если только

народъ имѣлъ поэтическое расположеніе, разнообразіе и дѣятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ вѣчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и нигдѣ выразиться, какъ только въ его пѣсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту годину, когда хищно ворвалась въ нее унія. По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей бурѣ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по брилліантовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освѣженныя деревья, когда солнце мечетъ вечерній лучъ, разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звонко дребезжитъ мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, вѣстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свѣтлыми кольцами къ небу, и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

1833.

Мысли о географіи.

(Для дѣтскаго возраста.)

Велика и поразительна область географіи: край, гдѣ кипитъ югъ, и каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдѣ въ искаженныхъ чертахъ природы прочитывается ужасъ, и земля превращается въ оледенѣлый трупъ; исполины-горы, парящія въ небо, наброшенный небрежно, дышащій всею роскошью растительной силы и разнообразія видъ, и раскаленныя пустыни и степи; оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предѣлъ всего живущаго! — Гдѣ найдутся предметы, сильнѣе говорящіе юному воображенію? — Какая другая наука можетъ быть прекраснѣе для дѣтей, можетъ быстрѣе возвысить поэзію младенческой души ихъ? И не больно ли, если показываютъ имъ, вмѣсто всего этого, какой то безжизненный, сухой скелетъ, холодно говоря: „Вотъ земля, на которой живемъ мы; вотъ тотъ прекрасный міръ, подаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ!“ — Этого мало: его совершенно скрываютъ отъ нихъ и даютъ имъ вмѣсто того грызть политическое тѣло, превышающее міръ ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями.—Невольно при этомъ приходитъ на мысль: неужели великій Гумбольдтъ и тѣ отважные изслѣдователи, принесшіе такъ много

свѣдѣній въ область науки, истолковавшіе дивные іероглифы, коими покрытъ міръ нашъ, — должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрастъ, болѣе другихъ нуждающійся въ ясности и опредѣлительности, долженъ видѣть передъ собою одни непонятныя изображенія?

Дѣтскій возрастъ есть еще одна жажда, одно безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуетъ, все хочетъ узнать. Его болѣе всего интересуютъ отдаленныя земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живутъ? Эти вопросы стремятся у него толпою, и всѣ они относятся прямо къ физической географіи, и потому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плѣнительный, — долженъ болѣе и обширнѣе занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности воспитанниковъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читаютъ ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стоитъ, чтобъ ее проходили не въ одномъ классѣ; но преподаватели впадаютъ въ большую ошибку: размежевываютъ земной шаръ на двѣ или, смотря по классамъ, на три части, и самому начальному классу достается Европа, разсматриваемая обыкновенно въ политическомъ отношеніи съ подробнѣйшими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждаютъ по степямъ и пескамъ африканскимъ и бесѣдуютъ съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формѣ такого преподаванія, нужно имѣть необыкновенную память, чтобы удержать въ ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феноменъ въ природѣ, то въ головѣ этого феномена никогда не удержится одно

прекрасное цѣлое. — Это будутъ тщательно отдѣланныя, разрозненныя части, которыми не управляетъ одна мощная жизнь, бьющая ровнымъ пульсомъ по всѣмъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархическаго правленія и утратившій его въ бурѣ политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходить географію въ два разные періоды своего возраста. Въ первомъ онъ долженъ узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ такой, который бы пробудилъ всю внимательность его, который бы показалъ всю обширность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ должны ниспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составилъ одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всѣ концы его. Ничего въ подробности, но только однѣ рѣзкія черты, но только, чтобы онъ чувствовалъ, гдѣ стужа, гдѣ болѣе растительность, гдѣ выше мануфактурность, гдѣ сильнѣе образованность, гдѣ глубже невѣжество, гдѣ ниже земля, гдѣ стремительнѣе горы.—Во второмъ періодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть передъ нимъ раздвинутъ. Онъ долженъ разсмотрѣть въ микроскопъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узнаетъ всѣ исключенія и переходы, менѣе рѣзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имѣть вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будетъ сжимать его и умерщвлять воображеніе: передъ нимъ должна быть одна только карта. Ни одного географическаго явленія не нужно объяснять, не укрѣпивши на мѣстѣ, хотя бы это было только яркое, живописное описаніе, чтобы воспитанникъ. внимая ему,

глядѣлъ на мѣсто въ своей картѣ, и чтобы эта маленькая точка какъ бы раздвигалась передъ нимъ и вмѣстила бы въ себѣ всѣ тѣ картины, которыя онъ видитъ въ рѣчахъ преподавателя. Тогда можно быть увѣреннымъ, что онѣ останутся въ памяти его вѣчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнитъ красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его памяти. Черченіе картъ, надъ которымъ заставляютъ воспитанниковъ трудиться, мало приноситъ пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ ихъ уничтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтовалъ сдѣлать всю воду бѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ совершенно отдѣлились, рѣзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и преслѣдовали бы ихъ неотступно неправильною своею фигурою. Послѣ этого будетъ имъ гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т. е. означать всѣ мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они вначалѣ совсѣмъ не знаютъ ихъ, но зато удержатъ общій видъ земли.

Гораздо лучше проходить вначалѣ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всѣ части свѣта: чрезъ это очевиднѣе будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замѣтивши ихъ въ общей массѣ, они могутъ тогда погрузиться глубже въ каждую часть свѣта. Но въ порядкѣ частей свѣта я бы совѣтовалъ лучше слѣдовать за постепеннымъ развитіемъ человѣка, стало быть, вмѣстѣ и за постепеннымъ открытіемъ земли: начать съ Азіи, съ его колы-

бели, съ его младенчества, перейти въ Африку, въ его пламенное и вмѣстѣ грубое юношество, обратиться къ Европѣ, къ его быстрому разоблаченію и зрѣлости ума, шагнуть вмѣстѣ съ нимъ въ Америку, гдѣ, развитый и властительный, встрѣтился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое раздѣленіе, мнѣ кажется, будетъ гораздо естественнѣе. Прежде всего воспитанникъ долженъ составить себѣ общее характеристическое понятіе о каждой изъ нихъ. Во-первыхъ, объ Азіи, гдѣ все такъ велико и обширно, гдѣ люди такъ важны, такъ холодны съ вида и вдругъ кипятъ неукротимыми страстями; при дѣтскомъ умѣ своемъ думаютъ, что они умнѣе всѣхъ; гдѣ все гордость и рабство; гдѣ все одѣвается и вооружается легко и свободно, все наѣздничаетъ; гдѣ турокъ радъ просидѣть цѣлый вѣкъ, поджавъ ноги и куря кальянъ свой, и гдѣ бедуинъ, какъ вихорь, мчится по пустынѣ; гдѣ вѣра переходитъ въ фанатизмъ, и вся страна — страна вѣроисповѣданій, разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африкѣ, гдѣ солнце жжетъ, и океаны песчаныхъ степей растягиваются на неизмѣримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человѣкъ, мало чѣмъ разнящійся наружностью и своими чувственными наклонностями отъ обезьянъ, кочующихъ по ней ордами, и т. далѣе.

Начертивъ видъ части свѣта, воспитанникъ указываетъ всѣ высочайшія и низменныя мѣста на ней, разсказываетъ, какъ развѣтвляются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразныя цѣпи. Въ этомъ смыслѣ можно съ пользою употреблять Риттерово барельефное изображеніе Европы, хотя оно не совсѣмъ еще удобно для дѣтей, по причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней.

Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины или изъ металла настоящій барельефъ. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ памяти всѣ высокія и низменныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей землѣ, то познаніе ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развѣтвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и, наконецъ, характеръ и отличіе каждой цѣпи, — все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ гранитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или, наконецъ, самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже разсказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ — и можно разсказать занимательно. Что же касается до поверхности ихъ, то само собою разумѣется, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ и высоту, до которой подымался человѣкъ.

Не мѣшало бы коснуться слегка подземной географіи. Мнѣ кажется, нѣтъ предмета болѣе поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можетъ только возрастъ высшій. Тутъ всѣ явленія и факты дышатъ исполинскою колоссальностью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя массы. Тутъ на всемъ отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли; душа сильнѣе чувствуетъ великія дѣла Творца. Тутъ лежатъ погребенными цѣлыя цѣпи подземныхъ лѣсовъ. Тутъ лежитъ въ глубокомъ уединеніи раковина и уже превращается въ мра-

моръ. Тутъ дышатъ вѣчные огни, и отъ взрыва ихъ измѣняется поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтобъ не тронула его воображенія.

Процессъ и разселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстницею градусовъ: гдѣ растеніе юга — хозяинъ, куда перешло оно, какъ гость, подъ какимъ градусомъ умираетъ, гдѣ начинается растеніе сѣвера, гдѣ и оно, наконецъ, гибнетъ, прозябеніе прекращается, природа обмираетъ въ объятіяхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается недоступными для человѣка льдами. Такимъ же образомъ и разселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особенный видъ ея.

Произведенія искусства вообще являются доселѣ у географовъ отрывисто. Перехода нѣтъ никакого отъ природы къ произведеніямъ человѣка. Они отрублены, какъ топоромъ, отъ своего источника. Я уже не говорю о томъ, что у нихъ не представленъ вовсе этотъ брачный союзъ человѣка съ природою, отъ котораго раждается мануфактурность. Итакъ, прежде нежели воспитанникъ приступитъ къ обозрѣнію мануфактуръ и произведеній рукъ человѣка, нужно, чтобы онъ былъ пріуготовленъ къ тому произведеніями земли, чтобы онъ самъ собою могъ вывесть, какія мануфактуры должны быть въ такомъ то государствѣ; если же встрѣтится исключеніе, тогда необходимо показать, отчего оно произошло: можетъ быть, безпечный характеръ народа, можетъ, сторонніе обстоятельства, или излишнее богатство сосѣдей, или невозможность дальнѣйшихъ сообщеній, или другія по-

добныя имъ — воспрепятствовали. Пріуготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить къ торговлѣ, которая безъ того будетъ тоже незанимательна и непонятна.

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязанъ показать каждаго физіогномію и тѣ отпечатки, которые принялъ его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Всѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т. е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отчего, напримѣръ, тевтонское племя среди своей Германіи означено твердостью флегматическаго характера, и отчего оно, перейдя Альпы, напротивъ, принимаетъ всю игривость характера легкаго.

Весьма полезны для дѣтей карты, изображающія разселеніе просвѣщенія по земному шару. Эта польза превращается въ необходимость, когда проходятъ они Европу. Но какъ у насъ нѣтъ такихъ картъ, то преподавателю небольшого труда стоитъ сдѣлать оныя самому. Мѣста, гдѣ просвѣщеніе достигло высочайшей степени, означать свѣтомъ и бросать легкія тѣни, гдѣ оно ниже. Тѣни сіи становятся, чѣмъ далѣе, тѣмъ крѣпче, и, наконецъ, превращаются въ мракъ, по мѣрѣ того, какъ природа дичаетъ, и человѣкъ оканчивается бездушнымъ эскимосомъ.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчисленіемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотрѣть на карту — вотъ одно средство узнать ее. Не мѣшало бы вырѣзать каждое государство особенно, такъ, чтобы оно составляло

отдѣльный кусокъ и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ и форма.

При изображеніи каждаго города, непремѣнно должно означить рѣзко его мѣстоположеніе: подымается ли онъ на горѣ, опрокинутъ ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и, вообще, сильными и немногими чертами обозначить характеръ его. Преподаватель обязанъ исторгнуть изъ обширнаго матеріала все, что бросаетъ на городъ отличіе и отмѣняетъ его отъ множества другихъ. Пусть воспитанникъ знаетъ, что такое Римъ, что Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мѣряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видѣ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно бытъ исключено въ опредѣленіи отдѣльно каждаго города. Во многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ опредѣленіяхъ губернскаго города разсказывается, что въ немъ есть гимназія, соборная церковь; уѣзднаго — что въ немъ есть уѣздное училище и т. п. Къ чему? Воспитаннику довольно сказать сначала, что у насъ гимназіи во всѣхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-рояля, Фальконетова Петра [1], Кіево-печерской лавры, Кингъ-Бенча [2] — нѣтъ другихъ въ мірѣ. Объ нихъ дитя, вѣрно, потребуетъ подробнаго свѣдѣнія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воспитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда оно, по своей величинѣ или отрицательно, выходитъ изъ категоріи обыкновеннаго. Вмѣсто этого, можно занять его архитектурой го-

---

[1] Памятникъ Петру I въ Петербургѣ.

[2] Вѣроятно, судъ королевской скамьи или тюрьма при немъ въ Лондонѣ (King's bench).

рода, — въ какомъ вкусѣ онъ выстроенъ, колоссальны ли, прекрасны ли его строенія. Если онъ древній, то какъ величественна, даже въ самой странности своей, его старинная, повитая столѣтіями и на чудо взлелѣянная самими потрясеніями архитектура, и какъ, напротивъ того, легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столѣтіемъ. При мысли о какомъ-нибудь германскомъ городкѣ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себѣ тѣсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдѣ все такъ просто, такъ мило, такъ буколически, и рядомъ съ ними угловатые, просѣкающіе остріемъ воздухъ, шпицы церквей. При мысли о Римѣ, гдѣ глухо отозвался весь канувшій въ пучину столѣтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тѣмъ мысль о зданіяхъ-исполинахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колонны, дряхлѣютъ, какъ бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мѣшаетъ чаще показывать фасады примѣчательнѣйшихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ врѣжется въ памяти; притомъ это послужитъ невольно и нечувствительно къ образованію юнаго вкуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять воспоминаніями географическій міръ ихъ. Протекшее должно быть слишкомъ разительно, и развѣ уже происходитъ изъ чисто-географическихъ причинъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходитъ въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія. тогда географія сливается и составляетъ одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный: всѣ поразительныя мѣстоположенія, великія явленія природы — должны быть окинуты яркими красками. Что дѣйствуетъ сильно на воображеніе, то не скоро выбьется изъ головы. Слогъ его долженъ болѣе подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можетъ удержаться въ головѣ отрока, особливо если она распространена въ мелочахъ. Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда она искусно скрыта отъ него. Его система — интересъ, нить происшествій или нить описаній. Все, что истинно нужно, что болѣе относится къ нашей жизни, что болѣе можемъ мы впослѣдствіи приспособить къ себѣ, — все это уже интересно. Да, впрочемъ, что не интересно въ географіи? Она такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дѣйствія, и, несмотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослаго представляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болѣе съ міромъ, со всѣмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило памяти, а представлялось бы свѣтло нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ путешественниковъ, которыхъ множество и изъ которыхъ, кажется, донынѣ, въ этомъ отношеніи, мало умѣли извлекать пользы.

Лѣность и непонятливость воспитанника обращаются въ вину педагога и суть только вывѣски его собственнаго нерадѣнія: онъ не умѣлъ, онъ не хотѣлъ овладѣть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставилъ ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать въ дитяти. Мнѣ

часто случалось быть свидѣтелемъ, какъ ребенокъ, признанный за неспособнаго ни къ чему, обиженаго природою [1], слушалъ съ неразвлекаемымъ вниманіемъ страшную сказку, и на лицѣ его, почти бездушномъ, не оживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, поперемѣнно порывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого вниманія въ пользу науки?

1829.

---

[1] Срв. разсказъ гр. Сологуба (Восп., Спб., 1887, стр. 114) о занятіяхъ Гоголя съ слабоумнымъ Васильчиковымъ.

Послѣдній день Помпеи.

(Картина Брюлова.)

Картина Брюлова — одно изъ яркихъ явленій XIX вѣка. Она — свѣтлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ то полулетаргическомъ состояніи. Не стану говорить о причинѣ этого необыкновеннаго застоя, хотя она представляетъ занимательный предметъ для изслѣдованія; замѣчу только, что если конецъ XVIII стол. и начало XIX в. ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи, то зато они много разработали ея части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развитъ и постигнутъ несравненно глубже, нежели въ прежнія времена. Замѣтили такія тайныя явленія, какихъ прежде никто не подозрѣвалъ. Вся та природа, которую чаще видитъ человѣкъ, которая его окружаетъ и живетъ съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великіе художники, достигли изумительной истины и совершенства. Всѣ наперерывъ старались замѣтить тотъ живой колоритъ, которымъ дышитъ природа. Все тайное въ ея лонѣ, весь этотъ нѣмой языкъ пейзажа, подмѣчены или, лучше сказать, украдены, вырваны изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя всѣ произведенія этого вѣка похожи болѣе на опыты или, лучше сказать, записки, мате-

ріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вноситъ путешественникъ въ свою книгу съ тѣмъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ послѣ нѣчто цѣлое. Живопись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многочисленныя мелкія явленія были съ жадностію разрабатываемы въ частяхъ. Этимъ обязаны мы XIX вѣку. Колоритъ, употребляемый XIX вѣкомъ, показываетъ великій шагъ въ знаніи природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющіеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые рѣшительно въ XIX вѣкѣ опредѣлили сліяніе человѣка съ окружающею природою: какъ въ нихъ дѣлится и выходитъ окинутая мракомъ и освѣщенная свѣтомъ перспектива строеній! какъ сквозитъ освѣщенная вода, какъ дышитъ она въ сумракѣ вѣтвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляетъ предметы передъ самыми глазами зрителя! какое смѣлое, какое дерзкое употребленіе тѣней тамъ, гдѣ прежде вовсе ихъ не подозрѣвали! и вмѣстѣ, при всей этой рѣзкости, какая роскошная нѣжность, какая подмѣчена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнѣе всего постигнуто въ наше время, такъ это освѣщеніе. Освѣщеніе придаетъ такую силу и, можно сказать, единство всѣмъ нашимъ твореніямъ, что они, не имѣя въ себѣ никакого глубокаго достоинства, показывающаго геній, необыкновенно, однако же, пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить, хотя внимательно разсматривая, иногда увидишь въ творцѣ ихъ необширное познаніе искусства.

Возьмите всѣ безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго таланта, въ которыхъ дышитъ и вѣетъ природа такъ, что они, кажется, какъ будто оцвѣчены колоритомъ. Въ нихъ заря такъ тонко свѣтлѣетъ на небѣ, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя

сіяніемъ солнца, какъ будто покрыты тонкою пылью; въ нихъ яркая бѣлизна сладострастно сверкаетъ въ самомъ глубокомъ мракѣ тѣни. Разсматривая ихъ, кажется, боишься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлитъ въ природѣ, который происходитъ отъ сраженія свѣта съ тѣнью, весь этотъ эффектъ сдѣлался цѣлью и стремленіемъ всѣхъ нашихъ артистовъ. Можно сказать, что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до послѣдняго, топорщится произвесть эффектъ, начиная отъ поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надоѣдаютъ, и, можетъ быть, XIX[1] вѣкъ, по странной причудѣ своей, наконецъ, обратится ко всему безъэффектному. Впрочемъ, можно сказать, что эффекты болѣе всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами: тамъ, если они будутъ ложны и неумѣстны, то ихъ ложность и неумѣстность тотчасъ видна всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дѣло: тамъ они, если ложны, то вредны тѣмъ, что распространяютъ ложь, потому что простодушная толпа безъ разсужденія кидается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они вѣрны и превращаютъ человѣка въ исполина; но когда они въ рукахъ поддѣльнаго таланта, то для истиннаго понимателя они отвратительны, какъ отвратителенъ карло, одѣтый въ платье великана, какъ отвратителенъ подлый человѣкъ, пользующійся незаслуженнымъ знакомъ отличія. Но все это, однакожъ, не относится къ нынѣшнему дѣлу. Должно признаться, что въ общей массѣ стремленіе къ эффектамъ болѣе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ, и даже въ послѣднее время подвинуло все къ усовершенствованію. Желая произвести эффектъ, многіе болѣе стали разсматривать

[1] XX?

предметъ свой, сильнѣе напрягать умственныя способности. И если вѣрный эффектъ оказывался большею частію только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ геніевъ, а не огромное раздробленіе жизни и познаній, которымъ обыкновенно приписываютъ. Притомъ, стремленіе къ эффектамъ обдѣлало многія мелкія части чрезвычайно удовлетворительно и рѣзкою своею очевидностію сдѣлало ихъ доступными для всѣхъ. Не помню, кто то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не будетъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ. И его шаги уже, вѣрно, будутъ исполински и видимы всѣми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можетъ назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ. Въ ней все заключилось. По крайней мѣрѣ, она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ. Мысль ея принадлежитъ совершенно вкусу нашего вѣка, который вообще, какъ бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всѣ явленія въ общія группы и выбираетъ сильные кризисы, чувствуемые цѣлою массою. Всякому извѣстны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежатъ: „Видѣніе Валтазара“, „Разрушеніе Ниневіи“ и нѣсколько другихъ, гдѣ въ страшномъ величіи представлены эти великія катастрофы, которыя составляютъ совершенство освѣщенія, гдѣ молнія въ грозномъ величіи озаряетъ ужасный мракъ и скользитъ по верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выраженіе этихъ картинъ поразительно и исполнено необыкновеннаго единства; но въ нихъ вообще только одна

идея этой мысли. Онѣ похожи на отдаленные виды; въ нихъ только общее выраженіе. Мы чувствуемъ только страшное положеніе всей толпы, но не видимъ человѣка, въ лицѣ котораго былъ бы весь ужасъ имъ самимъ зримаго разрушенія. Ту мысль, которая видѣлась намъ въ такой отдаленной перспективѣ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвелъ онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросилъ ее цѣлымъ потопомъ на свою картину. Молнія у него залила и потопила все, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы все выказать, чтобы ни одинъ предметъ не укрылся отъ зрителя. Оттого на всемъ у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры онъ кинулъ сильно, такою рукою, какою мечетъ только могущественный геній: эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлетъ, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевъ; эта грянувшаяся на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся въ такой красотѣ руку; этотъ ребенокъ, вонзившій въ зрителя взоръ свой; этотъ несомый дѣтьми старикъ, въ страшномъ тѣлѣ котораго дышитъ уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окаменѣла въ воздухѣ съ распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бѣжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышитъ зритель; толпа, съ ужасомъ отступающая отъ строеній или со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взирающая на страшное явленіе, наконецъ, знаменующее конецъ міра; жрецъ въ бѣломъ саванѣ, съ безнадежною яростью мечущій взглядъ свой на весь міръ, — все это у него такъ мощно, такъ смѣло,

такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возникнуть въ головѣ генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержаніе картины и приводить толкованіе и поясненія на изображенныя событія. Для этого у всякаго есть глазъ и мѣрило чувствъ; притомъ же это слишкомъ очевидно, слишкомъ касается жизни человѣка и той природы, которую онъ видитъ и понимаетъ, потому то они доступны всѣмъ отъ мала до велика: я замѣчу только тѣ достоинства, тѣ рѣзкія отличія, которыя имѣетъ въ себѣ стиль Брюлова, тѣмъ болѣе, что эти замѣчанія, вѣроятно, сдѣлали немногіе. Брюловъ — первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, несмотря на ужасъ всеобщаго событія и своего положенія, не вмѣщаютъ въ себѣ того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышатъ суровыя созданія Микеля-Анжела. У него нѣтъ также того высокаго преобладанія небесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми весь исполненъ Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всемъ ужасѣ своего положенія. Онѣ заглушаютъ его своею красотою. У него не такъ, какъ у Микеля-Анжела, у котораго тѣло только служило для того, чтобы показать одну силу души, ея страданія, ея вопль, ея грозныя явленія; у котораго пластика погибала, контура человѣка пріобрѣтала исполинскій размѣръ, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у котораго являлся не человѣкъ, но только — его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человѣкъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, вѣрныя, огненныя, выражаются на такомъ прекрасномъ обликѣ, въ такомъ прекрасномъ человѣкѣ, что наслаждаешься до упоенія. Когда я глядѣлъ въ третій, въ четвертый разъ, мнѣ казалось, что

скульптура, — та скульптура, которая была постигнута въ такомъ пластическомъ совершенствѣ древними, что скульптура эта перешла, наконецъ, въ живопись и, сверхъ того, проникнулась какой то тайной музыкой. Его человѣкъ исполненъ прекрасно-гордыхъ движеній; женщина его блещетъ, но она не женщина Рафаэля: съ тонкими, незамѣтными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, италіанка, во всей красотѣ полудня, мощная, крѣпкая, пылающая всею роскошью страсти, всѣмъ могуществомъ красоты, — прекрасная, какъ женщина. Нѣтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, гдѣ бы человѣкъ не былъ прекрасенъ. Всѣ общія движенія группъ его дышатъ мощнымъ размѣромъ и въ своемъ общемъ движеніи уже составляютъ красоту. Въ созданіи ихъ онъ такъ же крѣпко и сильно правитъ своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни арабскимъ бѣгуномъ своимъ. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картинѣ выказывается отсутствіе идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ то состоитъ ея первое достоинство. Явись идеальность, явись перевѣсъ мысли, и она бы имѣла совершенно другое выраженіе, она бы не произвела того впечатлѣнія; чувство жалости и страстнаго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и вѣрной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушеніе, не смерть страшны; напротивъ, въ этой минутѣ есть что то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслажденіе; намъ жалка наша милая чувственность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнулъ во всей силѣ эту мысль. Онъ представилъ человѣка какъ можно прекраснѣе; его женщина дышитъ всѣмъ, что есть лучшаго въ мірѣ. Ея глаза, свѣтлые, какъ звѣзды, ея дышащая нѣгою и силою грудь

обѣщаютъ роскошь блаженства. И эта прекрасная, этотъ вѣнецъ творенія, идеалъ земли, должна погибнуть въ общей гибели, на ряду съ послѣднимъ презрѣннымъ твореніемъ, которое недостойно было и ползать у ногъ ея. Слезы, испугъ, рыданіе — все въ ней прекрасно.

Видимое отличіе — или манера Брюлова уже представляетъ тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагъ. Въ его картинахъ цѣлое море блеска. Это его характеръ. Тѣни его рѣзки, сильны, но въ общей массѣ тонутъ и исчезаютъ въ свѣтѣ. Онѣ у него, такъ же какъ въ природѣ, незамѣтны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тѣла у него какъ будто просвѣчиваетъ и кажется фарфоровою; свѣтъ, обливая его сіяніемъ, вмѣстѣ проникаетъ его. Свѣтъ у него такъ нѣженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая тѣнь кажется у него какъ будто прозрачною и, при всей крѣпости, дышитъ какою то чистою, тонкою нѣжностью и поэзіей.

Его кисть остается навѣки въ памяти. Я прежде видѣлъ одну только его картину — семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, врѣзалась въ мое воображеніе и осталась въ немъ вѣчно въ своемъ яркомъ блескѣ. Когда я шелъ смотрѣть картину „Разрушеніе Помпеи“, у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вмѣстѣ съ толпою къ той комнатѣ, гдѣ она стояла, и на минуту, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, я позабылъ вовсе о томъ, что иду смотрѣть картину Брюлова; я даже позабылъ о томъ, есть ли на свѣтѣ Брюловъ. Но когда я вглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ моихъ, какъ молнія, пролетѣло слово: „Брюловъ!“ Я узналъ его. Кисть его вмѣщаетъ въ себѣ ту поэзію, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знаютъ

и видятъ даже отличительные признаки, но слова ихъ никогда не разскажутъ. Колоритъ его такъ ярокъ, какимъ никогда почти не являлся прежде; его краски горятъ и мечутся въ глаза. Онѣ были бы нестерпимы, еслибы явились у художника, градусомъ ниже Брюлова, но у него онѣ облечены въ ту гармонію и дышатъ тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ, и что выше всего въ Брюловѣ — такъ это необыкновенная многосторонность и обширность генія. Онъ ничѣмъ не пренебрегаетъ: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ, до послѣдняго камня на мостовой, живо и свѣжо. Онъ силится обхватить все предметы и на всѣхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избиралъ себѣ какую-нибудь одну сторону и въ нее погружалъ весь талантъ свой, развивавшійся оттого въ необыкновенномъ и какомъ то отвлеченномъ величіи. Рафаэль обыкновенно писалъ одни только лица, одно развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросалъ онъ додѣлывать ученикамъ своимъ. Всѣ другіе великіе художники, настроенные высокостью религіозною или высокостью страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болѣе на копны сѣна или на гранитныя массы; дерево или дѣтски-однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротивъ, всѣ предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоцѣнны. Онъ силится схватить природу исполинскими объятіями и сжимаетъ ее съ страстью любовника. Можетъ быть, въ этомъ ему помогла много раздробленная разработка въ частяхъ, которую приготовилъ для него XIX вѣкъ. Можетъ

быть, Брюловъ, явившись прежде, не получилъ бы такого разносторонняго и вмѣстѣ полнаго и колоссальнаго стремленія. Оттого то его произведенія, можетъ быть, первыя, которыя живостью, чистымъ зеркаломъ природы доступны всякому. Его произведенія первыя, которыя можетъ понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имѣющій высшее развитіе вкуса, и не знающій, что такое художество. Они первыя, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользованія всемірною славою, и высшею степенью ихъ есть до сихъ поръ — Послѣдній день Помпеи, которую, по необыкновенной обширности и соединенію въ себѣ всего прекраснаго, можно сравнить развѣ съ оперою, если только опера есть дѣйствительно соединеніе тройственнаго міра искусствъ: живописи, поэзіи и музыки.

1834, августъ.

Плѣнникъ.

(Отрывокъ изъ историческаго романа.)

Въ 1543 году, въ началѣ весны, ночью, тишина маленькаго городка Лукомья была смущена отрядомъ реестровыхъ коронныхъ войскъ. Ущербленный мѣсяцъ, вырѣзываясь блестящимъ рогомъ своимъ сквозь безпрерывно обступавшія его тучи, на мгновеніе освѣщалъ дно провала, въ которомъ лѣпился этотъ небольшой городокъ. Къ удивленію немногихъ жителей, успѣвшихъ проснуться, отрядъ, котораго одно уже появленіе служило предвѣстіемъ буйства и грабительствъ, ѣхалъ съ какою то ужасающею тишиною. Замѣтно было, что всю силу напряженнаго вниманія его останавливалъ тащившійся среди его плѣнникъ, въ самомъ странномъ нарядѣ, какой когда-либо налагало насиліе на человѣка: онъ былъ весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, вѣроятно, для сообщенія неподвижности его тѣлу. Пушечный лафетъ былъ укрѣпленъ на спинѣ его. Конь едва ступалъ подъ нимъ. Несчастный плѣнникъ давно бы свалился, еслибы толстый канатъ не прирастилъ его къ сѣдлу. Освѣтить бы мѣсячному лучу хоть на минуту его лицо — и онъ бы, вѣрно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мѣсяцъ не могъ видѣть его лица, потому что оно было заковано въ желѣзную

рѣшетку. Любопытные жители, съ разинутыми ртами, иногда рѣшались подступить поближе, но, увидя угрожающій кулакъ или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бѣжали въ свои тщедушные домики, закутываясь покрѣпче въ наброшенные на плеча татарскіе тулупы и продрагивая отъ свѣжести ночного воздуха.

Отрядъ минулъ городъ и приближался къ уединенному монастырю. Это строеніе, составленное изъ двухъ совершенно противоположныхъ частей, стояло почти въ концѣ города на косогорѣ. Нижняя половина церкви была каменная, и, можно сказать, вся состояла изъ трещинъ, обожжена, закурена порохомъ, почернѣвшая, позеленѣвшая, покрытая крапивою, хмелемъ и дикими колокольчиками, носившая на себѣ всю лѣтопись страны, терпѣвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тѣми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная ахитектура византійская, еще болѣе изуродованная варваризмомъ подражателей, былъ весь деревянный. Новыя доски, желтѣвшія между почернѣлыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Блѣдный лучъ серпорогаго мѣсяца, продравшись сквозь кудрявыя яблони, укрывавшія вѣтвями въ своей гущѣ часть зданія, упалъ на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный (карнизъ), покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цвѣтами, которые на тотъ разъ блестѣли и казались огнями или золотою надписью на дикомъ карнизѣ. Одинъ изъ толпы съ неизмѣримыми, когда-либо виданными усами, длиннѣе даже локтей рукъ его, котораго, по замашкамъ и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь. Дряхлыя монастырскія стѣны отозвались и, казалось, испустили умирающій го-

лось, уныло потерявшійся въ воздухѣ. Послѣ сего молчаніе снова заступило свое мѣсто. Брань на разныхъ нарѣчіяхъ посыпалась изъ-подъ огромнѣйшихъ усовъ начальника отряда: „Теремте-те[1], поповство проклятое! Ато я знаю, чѣмъ васъ разбудить!“ Раздался пистолетный выстрѣлъ, пуля пробила ворота и шлепнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятеніе въ кельяхъ, которыя примыкали къ церкви; показались огни; связка ключей загремѣла; ворота со скрипомъ отворились — и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали блѣдные, съ крестами въ рукахъ.

— Изыдите, нечистые! кромѣшники! — произнесъ едва слышнымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, изыди, діаволъ!

— Але то еще и брешетъ, поганый, — прогремѣлъ начальникъ языкомъ, которому ни одинъ человѣкъ не могъ бы дать имени: изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. — То брешешь, лайдакъ[2], же говоришь, что мы дьяволы: ато мы не дьяволы, мы — коронные.

— Что вы за люди? я не знаю васъ! Зачѣмъ вы пришли смущать православную церковь?

— Я тебѣ, псяюха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ.

— На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?

— Я, глупый попъ, не буду съ тобой говорить. А если ты хочешь, басамаженята, поговори зъ моимъ конемъ!

— Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ! — простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. — Только у меня нѣтъ вина!

---

[1] Крупная венгерская ругань.
[2] Негодяй.

Какъ Богъ святъ, нѣтъ! Ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, что бы вамъ было нужно.

— А мнѣ какое дѣло? Ребята хотятъ пить. Я тебѣ говорю, если ты, глупый попъ, сѣна, стойла и пшеницы не дашь лошадямъ, то я ихъ въ костелъ вашъ поставлю и тебя сапогомъ до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвелъ на нихъ оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтился съ злобно устремившимися на него глазами іезуита. Онъ отворотился отъ него и остановилъ ихъ на странномъ плѣнникѣ съ желѣзнымъ наличникомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственнаго ко всему, кромѣ церкви, старца.

— За что вы схватили этого человѣка? Господи, накажи ихъ трехъипостасною силою своею! Вѣрно, опять какой-нибудь мученикъ за вѣру Христову!

Плѣнникъ испустилъ только слабое стенаніе.

Ключи были принесены, и при свѣтѣ сонно горѣвшей свѣтильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всѣхъ. Въ молчаніи шелъ начальствовавшій отрядомъ, и непостоянный огонь свѣтильни, окруженный туманнымъ кружкомъ, бросалъ въ лицо ему какое то блѣдное привидѣніе свѣта, тогда какъ тѣнь отъ безконечныхъ усовъ его подымалась вверхъ и двумя длинными полосами покрывала всѣхъ. Однѣ только грубо закругленныя оконечности лица его были опредѣлительно тронуты свѣтомъ и давали разглядѣть глубоко-безчувственное выраженіе его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло въ этой душѣ, что жизнь и смерть — трынъ-трава, что величайшее наслажденіе — табакъ и водка, что блаженство тамъ, гдѣ все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. Это было какое то смѣ-

шеніе пограничныхъ націй: родомъ сербъ, буйно искоренившій изъ себя все человѣческое въ венгерскихъ попойкахъ и грабительствахъ, по костюму и нѣсколько по языку полякъ, по жадности къ золоту жидъ, по расточительности его казакъ, по желѣзному равнодушію дьяволъ. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только шумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной полъ, часъ отъ часу уходившій глубже внизъ, заставлялъ его оступаться. Тщательно осматривалъ онъ находившіяся въ земляныхъ стѣнахъ норы, совершенно обсыпавшіяся, служившія когда то кельями и единственными убѣжищами въ той землѣ, гдѣ въ рѣдкій годъ не проходило по степямъ и полямъ разрушеніе, гдѣ никто не строилъ крѣпкихъ строеній и замковъ, зная, какъ непрочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревянная, заросшая мхомъ, зацвѣтшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Передъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно снизу до верху. „А ну!“ сказалъ онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, пахнулъ вѣтеръ. Нѣсколько человѣкъ принялись и не безъ труда отваливали бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазамъ! Присутствовавшіе взглянули безмолвно другъ на друга прежде, нежели осмѣлились войти туда. Есть что то могильно-страшное во внутренности земли. Тамъ царствуетъ въ оцѣпенѣломъ величіи смерть, распустившая свои костистые члены подъ всѣми цвѣтущими весями и городами, подъ всѣмъ веселящимся, живущимъ міромъ. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, тѣми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводитъ содроганіе, тогда она еще ужаснѣе. Запахъ гнили пахнулъ такъ сильно, что сначала заняло у

всѣхъ духъ. Почти исполинскаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ея уединенія. Это была четырехугольная, безъ всякаго другого выхода пещера. Цѣлые лоскутья паутины висѣли темными клоками съ земляного свода, служившаго потолкомъ. Обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу. На одной изъ нихъ торчали человѣческія кости; летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здѣсь красавицами.

— А чѣмъ не свѣтлица? Свѣтлица хорошая! — проревѣлъ предводитель. — Але тебѣ, псяюхѣ, тутъ добре будетъ спать. Самъ ложись на ковалки [1], а подъ голову подмости ту жабу, али возьми за женку на ночь!

Одинъ изъ коронныхъ вздумалъ было засмѣяться на это, но смѣхъ его такъ страшно-беззвучно отдался подъ сырыми сводами, что самъ засмѣявшійся испугался. Плѣнникъ, который стоялъ до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипѣла за нимъ дверь, и глухо застучали заваливаемыя бревна. Свѣтъ пропалъ, и мракъ поглотилъ пещеру.

Несчастный вздрогнулъ. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась надъ нимъ, и стукъ бревенъ, завалившихъ входъ его, показался стукомъ заступа, когда страшная земля валится на послѣдній признакъ существованія человѣка, и могильно-равнодушная толпа говоритъ, какъ сквозь сонъ: „Его нѣтъ уже, но онъ былъ“. Послѣ перваго ужаса, онъ предался какому то безсмысленному вниманію, бездушному существованію, которому предается человѣкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собирается съ духомъ подумать о немъ, но вмѣсто того устремляетъ

[1] Куски, кучи.

глаза на какую-нибудь бездѣлицу и разсматриваетъ ее. Тогда онъ принадлежитъ къ другому міру и ничего не раздѣляетъ человѣческаго: видитъ безъ мыслей; чувствуетъ, не чувствуя; странно живетъ. Прежде всего вниманіе его впилось въ темноту. Все было на время забыто — и ужасъ ея, и мысль о погребеніи живого. Онъ всѣми чувствами вселился въ темноту. И тогда предъ нимъ развернулся совершенно новый, странный міръ: ему начали показываться во мракѣ свѣтлыя струи, — послѣднее воспоминаніе свѣта! Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвѣтовъ. Совершеннаго мрака нѣтъ для глаза. Онъ всегда, какъ ни зажмурь его, рисуетъ и представляетъ цвѣты, которые видѣлъ. Эти разноцвѣтные узоры принимали или видъ пестрой шали, или волнистаго мрамора, или, наконецъ, тотъ видъ, который поражаетъ насъ своею чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопѣ часть крылышка или ножки насѣкомаго. Иногда стройный переплетъ окна, котораго, увы! не было въ его темницѣ, проносился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ черной его рамѣ, потомъ измѣнялась въ кофейную, потомъ исчезала совсѣмъ и обращалась въ черную, усѣянную или желтыми, или голубыми, или неопредѣленнаго цвѣта крапинами. Скоро весь этотъ міръ началъ исчезать: плѣнникъ чувствовалъ что то другое. Сначала чувствованіе это было безотчетное; потомъ начало пріобрѣтать опредѣлительность. Онъ слышалъ на рукѣ своей что то холодное; пальцы его невольно дотронулись къ чему то слизкому. Мысль о жабѣ вдругъ осѣнила его!.. Онъ вскрикнулъ и разомъ переселился въ міръ дѣйствительный. Мысли его окунулись вдругъ въ весь ужасъ существенности. Къ тому еще присоединилось изнуреніе силъ, ужасный спертый воздухъ: все это повергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тѣмъ отрядъ коронныхъ войскъ размѣстился въ монастырскихъ кельяхъ, какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и пировалъ, радуясь, что, наконецъ, схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ.

1830.

О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка.

Великое странствіе народовъ, произведшее нынѣшнее населеніе Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъ быть, современно основанію Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возраждающіяся государства, видѣло первые шаги возникающей торговли, и развивался духъ народовъ, составившихъ цвѣтъ древняго міра, — во глубинѣ Азіи скрывался другой, невѣдомый міръ, которому опредѣлено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній духъ, древнія формы прежняго и замѣстить его всѣмъ новымъ. Средняя Азія совершенно противоположна южной, юго-западной, африканскимъ и европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдѣ цвѣтущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смѣсь земли и моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить дѣятельность и умъ человѣка. Природа Средней Азіи совершенно другого рода: она однообразна и неизмѣрима. Степи ея безбрежны, какъ то огромно ровны, какъ будто похожи на пустынный океанъ, нигдѣ не останавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредѣльныхъ равнинъ не могли возбудить никакой дѣятельности. Казалось, сама природа опредѣлила эту землю народамъ пастушескимъ, чтобы по нимъ имѣли мы

понятіе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Неизмѣримость равнинъ не могла внушить человѣку никакой идеи о постоянномъ жилищѣ, которая обыкновенно возраждается у него при видѣ утесистой горы, берега, моря, острова и, вообще, гдѣ только есть возможность укрѣпиться. Гдѣ же природа усыплена и недвижима, тамъ и человѣкъ безпеченъ: онъ заботится только о слишкомъ нужномъ. Патріархальные обитатели степей питались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ полудикими животными, и рѣдко питались мясомъ. Оттого стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ: владѣльцы ихъ чаще должны были переходить съ мѣста на мѣсто, степей требовалось съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе — и тѣ земли, которыя ужасаютъ донынѣ своею неизмѣримостью, земли, бывшія вдвое болѣе тогдашняго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледѣльцы всего свѣта не знали, что дѣлать, — эти земли сдѣлались тѣсными. Сильнѣйшіе властители должны были вытѣснить слабѣйшихъ. Народы пастушескіе, не имѣя неподвижной собственности, укрѣпленной давностію владѣнія, легко уступаютъ первому напору и уходятъ съ своими стадами далѣе. И такимъ образомъ Азія сдѣлалась народовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ нѣдръ своихъ новыя толпы и стада, которыя, въ свою очередь, сгоняли съ мѣстъ изверженныхъ прежде. Они перешли горы и потянулись въ Европу. Народы, можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мѣстъ. Это не были завоеватели, а какіе то невольники, дѣйствовавшіе только отъ страха наказанія. Цѣпь народовъ отъ востока и сѣверо-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европѣ къ самому югу. На югѣ они встрѣтили первое сопротивленіе, ощутили огромную власть римлянъ и встрѣтились съ древнимъ міромъ. Между тѣмъ,

Азія продолжала извергать новыя толпы. Толчокъ отъ каждаго новаго изверженія проходилъ по всей цѣпи: новые тѣснили прежнихъ, предыдущіе — послѣдующихъ. Стремленіе народовъ становилось сильно, но зато и отпоръ со стороны римлянъ былъ очень силенъ, и потому то на границахъ Римской имперіи накопилось такое множество народовъ. Послѣ каждаго новаго изверженія это накопленіе становилось сильнѣе, и римлянамъ труднѣе было сопротивляться имъ. Наконецъ, римляне уступили — и тогда орды стремительнѣе хлынули на югъ Европы. Не имѣй Европа южною границею своею Средиземнаго моря, или имѣй эти толпы народовъ какое-нибудь понятіе о мореплаваніи, это переселеніе долго бы не остановилось, — потому что Азія не переставала извергать новыя толпы, — народы перешли бы въ Африку. Европа еще бы нѣсколько лѣтъ не устоялась, хаосъ бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и, вообще, весь ходъ образованія отодвинулся бы на дальнѣйшія времена. Но какъ только народы, овладѣвшіе югомъ Европы, увидѣли позади себя море и невозможность идти далѣе, то рѣшились всѣми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ непріятелямъ. Сіи послѣдніе, встрѣтивши неожиданный отпоръ, рѣшились отразить и своихъ непріятелей, которые съ своей стороны употребили то же съ своими, и такимъ образомъ толчокъ получилъ обратное направленіе, и движеніе вдругъ остановилось. Слѣдствіе этого почувствовалось даже въ Азіи, гдѣ нѣкоторые пастушескіе народы принуждены были заняться земледѣліемъ.

Это переселеніе совершилось бы гораздо быстрѣе, еслибы Европа состояла изъ такихъ гладкихъ, открытыхъ равнинъ, какими исполнена Азія. Но въ ней, напротивъ того, природа на небольшомъ пространствѣ показала страшную нерегуляр-

ность и разнообразіе: со всѣхъ сторонъ она изрыта морями, берега ея всѣ изъ полуострововъ и мысовъ, средина почти нигдѣ не имѣетъ ровной поверхности: она идетъ то вверхъ, то внизъ, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъ будто провалившимися между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облечена дремучимъ, непроходимымъ лѣсомъ и пронята топкими болотами. И потому движеніе народовъ, чѣмъ глубже касалось Европы, тѣмъ происходило медленнѣе: они должны были продираться сквозь лѣса, перелѣзать черезъ горы и обходить болота. Они селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другого лѣсами и невѣдомыми мѣстами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нападеній. И когда новое наводненіе толпы, слишкомъ многочисленной, водимой предпріимчивымъ повелителемъ, освѣщало Европу великолѣпными иллюминаціями, зажигая вѣковые лѣса ея, и лѣса исчезали, — тогда изумленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозрѣвали, и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствовалъ съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и отрывковъ, отгороженныхъ другъ отъ друга самою природою; оттого покореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ея безчисленныя націи, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, слились бы и изгладились, еслибы она состояла изъ открытыхъ равнинъ. Это былъ новый невидимый міръ, о которомъ древніе просвѣщенные народы ничего не знали, и который, можно сказать, самъ мало зналъ себя.

Основу его составляло множество разныхъ отраслей германскихъ племенъ, простиравшихся по всему западу. Берега Нѣмецкаго моря, Рейна и Дуная и вся средина Европы до Балтійскаго моря были

заняты ими. Состояніе ихъ во время перваго знакомства съ ними римлянъ уже показывало давнюю осѣдлость въ Европѣ и — что переселеніе ихъ совершилось въ глубокой древности. Но что оно истекло изъ Азіи, тому доказательствомъ служитъ странное сходство нѣкоторыхъ коренныхъ словъ языка германскаго съ персидскимъ [1]. Выбросила ли Азія, въ первоначальной древности, за однимъ разомъ племена на югъ, образовавшіяся среди горъ въ народъ персидскій, и на сѣверъ, превратившіяся въ лѣсахъ Европы въ германцевъ, или позже тяжелое вліяніе парѳянъ, ринувшихся изъ средины Азіи, принесло въ языкъ персидскій множество словъ, раздававшихся дотолѣ въ неизмѣримыхъ степяхъ ея и распространившихся уже и въ Европѣ [2], — какъ бы то ни было, но первоначальное происхожденіе германцевъ было изъ Азіи, и переселеніе ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный міръ отъ римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила рѣзкій отпечатокъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорила съ организаціей народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темные волосы, выразительныя, южныя черты лица, казалось, дышавшія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій, — общей физіогноміей уже остановившагося древняго міра, — встрѣчали здѣсь совершенную противоположность: голубоглазые, свѣтловолосые, рослые, крѣпкіе, съ однимъ только свирѣпымъ выраженіемъ войны на лицѣ, германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый міръ. Ихъ религія, ихъ жизнь, ихъ темпераментъ, первообразныя стихіи характера разнились во всемъ отъ об-

[1] Шлегель. *Прим. Гоголя.*
[2] Миллеръ. *Прим. Гоголя.*

разованныхъ тогдашнихъ народовъ. Религія германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальностію. Ихъ божество и предметъ поклоненія была Земля. Казалось, какъ будто мрачный видъ тогдашней Европы внушилъ имъ идею этой религіи. Будучи рѣдко освѣщаемы солнцемъ и находясь вѣчно подъ мрачною тѣнью вѣковыхъ дубовъ, рòя пещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровищъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бѣдную пищу, и величественныя высокія деревья, шумѣвшія надъ ними, они почитали ее зиждительницею всего. Отъ нея производили они бога своего Туистона или Тевта, у котораго былъ сынъ Манъ, а отъ него различныя вѣтви германскихъ народовъ, которые, по мнѣнію ихъ, были древнѣйшими обитателями міра. Повидимому, такое понятіе о религіи совершенно отдѣляетъ ихъ отъ Азіи, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуетъ надъ первоначальнымъ человѣкомъ. Развиваясь и зрѣя умомъ, онъ получаетъ надъ нею верхъ и предписываетъ ей законы, но въ первобытномъ, но въ дикомъ состояніи онъ долженъ самъ исполнять ея законы: онъ рабъ ея. Въ средней Азіи небо все открыто передъ глазами. Тамъ оно необозримо и велико. Земля передъ нимъ кажется слишкомъ низменною. Никакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливаетъ взора; разстилающаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляетъ ее еще низменнѣе. Солнце тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ свѣтомъ; звѣзды усыпаютъ густо небесный небосклонъ и однѣ только могутъ остановить человѣка и препятствовать совратиться съ пути. Оттого во всей Азіи царствовало всегда поклоненіе солнцу и небеснымъ свѣ-

тиламъ. Передвигаясь въ Европу, народы рѣже видѣлись съ солнцемъ. Густой и величественный мракъ европейскихъ лѣсовъ сильнѣе поражалъ ихъ дикое воображеніе. Туманы сѣвера и болотныя испаренія скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледѣліемъ заставляла ихъ болѣе привязаться къ землѣ. И потому то у германскихъ народовъ было очень слабо поклоненіе свѣтиламъ; едва у немногихъ сохранилась о немъ память. Во глубинѣ и глуши лѣсовъ, непроницаемыхъ солнцемъ, они приносили свои жертвы богинѣ — матери Гертѣ. Казалось, мракъ считался у нихъ чѣмъ то священнымъ, и потому то ихъ религія уже въ самомъ началѣ не сходствовала съ другими. Они вѣрили въ безсмертіе. Но ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Валгалѣ видѣли продолженіе воинственной ихъ жизни: туда переселяли они свои германскіе дубы, пылающіе костры и громъ оружій; небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тѣнями своихъ великихъ, уже погибшихъ на войнѣ, героевъ. Поклоненіе Гертѣ разошлось между всѣми почти германскими племенами. Къ предметамъ поклоненія ихъ принадлежали также тѣни умершихъ героевъ, которыхъ они представляли въ коллоссальномъ видѣ. Такія же почести раздѣляли ихъ товарищикони, изъ которыхъ бѣлые почитались, по свидѣтельству Тацита, священными и хранились въ заповѣдныхъ рощахъ. Ихъ впрягали въ священную колесницу, за которою шелъ король, жрецы, и по храпѣнію ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукѣ ея, какъ молодые, исполненные отваги, тигры. Думали о томъ только, чтобы помѣряться силами и повеселиться битвой. Ихъ мало занимала корысть или добыча: блеснуть бы только подвигомъ, чтобы по-

слѣ пересказали его дѣло въ пѣсняхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастіе жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у всѣхъ народовъ уваженіе и изумленіе. Онъ былъ посредникъ и судья во всѣхъ спорахъ, на войнѣ полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя племена присылали конныя сбруи; ему родныя и подвластныя племена добровольно приносили въ даръ произведенія полей своихъ — плоды, скотъ и лошадей. Храбрость казалась чѣмъ то божескимъ; подъ его знамена всѣ спѣшили наперерывъ и сражались, не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пѣсняхъ, и по смерти его, въ честь ему, совершались пиршества; и долго племя, имѣвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тѣнь его становилась божествомъ и служила предметомъ поклоненія. Такой удѣлъ былъ завиденъ, потому что жажда безсмертія уже кипитъ и въ неразвившемся человѣкѣ. Всѣ наперерывъ стремились прошумѣть подвигами; битвы были часты, и германцы, по первому призванію, готовы были летѣть съ своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простотѣ атлетическую свою силу. Плащъ, застегнутый вмѣсто пряжки терновымъ шипомъ, кожа дикаго звѣря на плечѣ — вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видѣ клина; дѣйствовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятеля; одни щиты ихъ показывали роскошь, испещряемые яркими цвѣтами; толпа женъ, дѣтей слѣдовала за ними въ битву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества; они не мыслили предаться бѣг

ству, при мыслѣ о рабствѣ, ожидающемъ ихъ женъ и дѣтей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріятели уступали. Ихъ жены тутъ же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, залѣчивали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя, вмѣсто того, чтобы разстроить ихъ, связывала желѣзною силою мести и дѣлала ихъ несокрушимыми. Бросить щитъ было верхъ безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрѣнія, убивалъ самъ себя. Предводитель, силою одного уваженія, безъ власти, правилъ самовластно племенами, и воины, съ изумительною покорностью, исполняли его велѣнія. Предводя на войнѣ, они оставляли при себѣ власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами [1].

Они были вольны и не хотѣли никакой имѣть надъ собою власти. Правленія у нихъ почти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуніи каждаго мѣсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лѣниво и медленно, желая показать, что дѣлаютъ это по своей волѣ; нѣсколько дней протекало, покамѣстъ могло составиться нужное число для совѣщанія. Они сидѣли въ полномъ вооруженіи; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе; предсѣдательствовали старѣйшины семействъ, сѣдовласые (grawion), послѣ измѣнившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; рѣчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное краснорѣчіе народовъ свѣжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слѣдствіе невѣжества, а не разврата. То, что было безчестіе и низость духа, называ-

[1] Тацитъ. *Прим. Гоголя.*

лось только преступленіемъ; переметчики, измѣнники были вѣшаны и предаваемы мучительной казни; за низкіе и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали тиною и фашинникомъ, какъ бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, измѣнившая мужу, была въ его власти: онъ могъ отрѣзать ей волоса, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣнія, несмотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что германцы были дики и жестки нравами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самихъ законовъ.

Они были безпечны, бездѣйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнивы и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое занятіе; поля обрабатывали старики, безсильные, малолѣтные и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданаго; напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, наканунѣ свадьбы, принесть въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одѣвались совершенно противоположно римскому міру и всѣмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что то дикое и звѣрообразное. Одѣянія женъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ; у иныхъ платье было льняное алое, доходившее только до

пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ. Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепріимство, свойственное почти всѣмъ дикарямъ и первобытнымъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гостя дарили подарками; не могшій угостить его отводилъ самъ къ другому.

Но болѣе всего можно было видѣть древняго германца въ его пиршествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цѣлыя ночи, гдѣ зажженные дубы величественно освѣщали лѣса, и хлѣбный напитокъ изъ ячменя, можетъ быть, пращуръ нынѣшняго пива, такъ употребительнаго въ Германіи, разрѣшалъ ихъ мысли, рѣчи и намѣренія. Въ этихъ то пиршествахъ созрѣвали всѣ ихъ предпріятія. Тутъ они задумывали свои смѣлыя и дерзкія дѣла, которыя не всегда и не всѣмъ могли придти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали предѣловъ своему стремленію. Азартность ихъ болѣе всего оказывалась въ игрѣ, въ которую заигрывался дикій германецъ до того, что проигрывалъ свой домъ, оружіе, жену, дѣтей, наконецъ, самого себя и становился рабомъ, — состояніе нестерпимѣе для него самой смерти! Эта азартность, можетъ быть, служила основаніемъ тѣхъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германскіе — грубыя стихіи, изъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дѣлились на безчисленныя племена и, какъ густые европейскіе лѣса, усѣивали сѣверную Европу. Чтобы яснѣе обозрѣть ихъ, начнемъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ древній міръ уже видѣлъ этихъ первоначаль-

ныхъ зиждителей новаго, т. е. отъ рѣки Дуная, служившаго предѣломъ для римлянъ. Тутъ обитали уже входившіе въ сношеніе съ древнимъ просвѣщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшіе, какъ то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потомъ великая цѣпь племенъ германскихъ толпилась по Рейну, отъ устья и внизъ до впаденія его въ море: вангіоны, трибоки, нѣметы, матіаки, убіи; за ними слѣдовали тенктеры, бывшіе первыми наѣздниками, которыхъ конница славилась и у римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ наслѣдство только храбрымъ; за ними узипетры и у самаго впаденія Рейна въ море — сильные батавы. Средина Германіи, погруженная въ лѣса, скрывала самыхъ свирѣпыхъ и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встрѣчались хаты, предки нынѣшнихъ гессенцовъ, жившіе при рѣкѣ Майнѣ, гдѣ Германія состоитъ изъ частыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею пѣхотою, регулярнымъ устройствомъ ея, осмотрительностію въ нападеніяхъ и дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычаи невольно поражали своею оригинальностію. Ни одинъ юноша не смѣлъ отрѣзать волосъ своихъ до тѣхъ поръ, пока не омылъ рукъ своихъ въ крови непріятеля; въ битвахъ они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій хатъ носилъ на рукѣ своей желѣзное кольцо, что считалось безчестіемъ, потому что напоминало цѣпи; сбросить его онъ могъ тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятеля.' На югъ отъ хатовъ были херуски, обитатели Гарца; далѣе слѣдовали фозы, сигамбры, бруктеры, айгруаріи, хазуаріи, наконецъ, аряне, отличавшіеся совершенно особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкра-

шивали тѣло, носили щиты, покрытые черною краскою, и, въ видѣ погребальной процессіи, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятелей, не могшихъ выносить такого зрѣлища. За ними на востокъ, въ пространствахъ нѣсколько болѣе открытыхъ, обитали свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ племенъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положеніе земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чѣмъ ближе къ западу и юго-западу, тѣмъ болѣе было занимавшихся земледѣліемъ, или, по крайней мѣрѣ, оно мѣшалось у нихъ съ пастушескою жизнію; чѣмъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Дакіи и Польшѣ, тѣмъ болѣе преобладала пастушеская жизнь; чѣмъ глубже въ лѣса Гарца, тѣмъ мрачнѣе и сильнѣе становились германскія племена. Но самые опасные, которыхъ римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители ихъ владычества — это были всѣ, населявшіе берега морей и прибалтійскія земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здѣсь жили пираты, самые предпріимчивые изъ германцевъ, которыхъ уже положеніе земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія дѣла. Такимъ образомъ, по Нѣмецкому морю жили фризы и хавки; за ними самые сильные корсары сѣвера — саксы, въ Голштиніи — кимвры, по Балтійскому морю — готы, варны, ругіи, бургунды, и въ Пруссіи — ломбарды, вандалы, герулы. Кромѣ того, въ срединѣ Германіи находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лѣсами, которыя, во время частыхъ битвъ между ея племенами, были вытѣсняемы и видѣли необходимость избирать неприступныя мѣста. Горы Альпъ и Карпата заключали въ себѣ множество клочковъ или остатковъ разныхъ племенъ галльскихъ, германскихъ и вендскихъ, бан-

дитствовавшихъ въ дикой Европѣ. Сѣверо-востокъ ея, совершенною бѣдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возрастить сильныхъ народовъ. Въ разсѣянныхъ, бездомовныхъ, безпріютныхъ его обитателяхъ, финнахъ, и отросткахъ народовъ эстскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природѣ того края.

Вотъ каковъ былъ тотъ отдѣльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были тѣ народы, которыхъ мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если Всемірная Имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были чрезвычайное раздробленіе народовъ германскихъ, положеніе Европы, препятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая ихъ довольствоваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе корысти, такъ свойственной разрушающимъ дикарямъ, осѣдлость и любовь къ свободѣ, заставлявшая ихъ удаляться во глубину своихъ лѣсовъ. Римляне чувствовали всю опасность отъ этихъ свѣжихъ силъ европейскихъ народовъ. И оттого никакая изъ границъ имперіи — ни восточно-азійская, ни южно-африканская, не была такъ защищена, какъ сѣверо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что средства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояніи имперіи, были приняты самыя благоразумныя. Имперія отдавала опасныя границы свои свѣжимъ воинственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны вначалѣ немногимъ. Но къ чести народовъ германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ римлянъ. Эта зависимость казалась для нихъ рабствомъ, и они спѣшили въ глубину лѣсовъ своихъ — скрыть тамъ свою свободу. Покушенія римлянъ принуждали ихъ составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не

были нападательны; цѣль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для нихъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извѣстный подъ именемъ союза франковъ, болѣе другихъ возросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножавшимся натискамъ со стороны всѣхъ народовъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфаліи и Гессена и такъ тѣсно слились, что составили, наконецъ, одну націю подъ именемъ франковъ. Но этотъ союзъ не былъ бы такъ страшенъ для римлянъ, и вся Германія долѣе пребывала бы неподвижною, еслибы не дѣйствовали на нее постороннія силы выходившихъ изъ Азіи народовъ. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкія ворота въ западную Европу, большая дорога, черезъ которую переходили попеременно разноцвѣтные народы; лѣса были здѣсь болѣе выжжены, нежели въ другихъ мѣстахъ; болота скорѣе высохли, и съ каждымъ столѣтіемъ она становилась просторнѣе и удобнѣе для переходовъ. Открытыя мѣста ея давали средство народамъ и племенамъ соединяться въ большія массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая даетъ средства производить великіе набѣги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею массою самое страшное, ничѣмъ не отразимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ германскихъ опредѣлено было прежде всѣхъ другихъ произвести всеобщее движеніе. Этотъ народъ былъ готы [1], народъ, надъ которымъ, казалось, тяготѣло какое то проклятіе, осудившее его на скитаніе. Долго блуждалъ онъ и показывался то въ Скандинавіи, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то,

[1] О готахъ Прокопій, Іорнандъ, Гиббонъ. *Прим. Гоголя.*

наконецъ, на широкомъ востокѣ Европы. По свидѣтельству историка Іорнанда, онъ первобытную жизнь велъ въ Скандинавіи. Можетъ быть даже, что это былъ одинъ изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перебравшись изъ снѣговой своей отчизны, онъ устремился на берегъ Пруссіи и произвелъ страшный всемірный переворотъ, вытѣснивъ оттуда вандаловъ, ломбардовъ, геруловъ, бургундовъ и саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставилъ ихъ быть одними изъ ревностныхъ дѣятелей въ разрушеніи Западной имперіи. Всеобщее потрясеніе ощутилось во всей Европѣ: вся эта цѣпь сильныхъ прибалтійскихъ народовъ придвинулась ближе къ границамъ римскимъ, потѣснила въ горы и болота множество племенъ, сжала сильнѣе ихъ силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тѣмъ, готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайскихъ народовъ — маркомановъ, квадовъ; соединились въ южныхъ равнинахъ Дакіи въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились къ Черному морю. Чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ удобнѣе была имъ дорога, и тѣмъ быстрѣе былъ ихъ путь; наконецъ, они очутились въ срединѣ Греціи и въ Малой Азіи, выжгли берега Чернаго моря; Халцедонъ, Эфесъ были обращены въ пепелъ; Аѳины были разграблены страшно, безжалостно. Императоръ Децій видѣлъ опасность восточныхъ границъ обширной своей имперіи, и, между тѣмъ какъ на западныхъ границахъ войска его сражались съ вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми съ мѣстъ готами, онъ самъ предводилъ войсками на востокѣ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли нынѣшнюю Россію, пріобрѣли трактатомъ отъ ри-

млянъ всю Дакію и остались здѣсь, владычествуя надъ придунайскими народами и тревожа присутствіемъ своимъ безпечную имперію. Тогда Всемірные Императоры, узнавшіе несчастнымъ опытомъ дикое мужество готовъ, составили планъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дикарямъ. Симъ пріобрѣли они сильныхъ защитниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣли и сильныхъ непріятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики, которая еще болѣе могла придать имъ перевѣса. Но, впрочемъ, тактика готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крѣпость въ порывѣ перваго нападенія, въ разгарѣ битвы и въ потухающей силѣ ея окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды невозможно было сдвинуть съ мѣста. Нападенія свои они сопровождали такъ же, какъ и другія германскія племена, пѣснями. Въ нѣсняхъ провозглашались имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ лицѣ, который былъ вмѣстѣ и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъ — зависѣлъ отъ совѣта храбрыхъ.

У готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное поколѣніе Бальтовъ, изъ которыхъ только однихъ можно было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные вѣка ихъ предводителемъ вмѣстѣ съ Оденомъ, этимъ сѣвернымъ Улисомъ [1]. Изъ всѣхъ народовъ германскихъ готы болѣе другихъ способны были принять цивилизацію. До средины четвертаго вѣка,

---

[1] Шлегель. *Прим. Гоголя.*

власть готовъ признавалась болѣе или менѣе народами на Дунаѣ, на западѣ и на востокѣ нынѣшней Россіи. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи... Но владычество готовъ было смущено великимъ азіятскимъ нашествіемъ гунновъ.

Гунны или гіонгну, по свидѣтельству Дегине[1], были племена сильныя, занимавшія великія степи Татаріи, Манжуріи, потрясшія Китай, но не умѣвшія противиться китайской лукавой политикѣ и обратившіяся впослѣдствіи въ данниковъ китайскихъ монарховъ. Однако же, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляясь на западъ, заняла закаспійскія земли и скрылась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ каспійскихъ историки римскіе относятъ ко времени Домиціана. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что образованный тогдашній римско-греческій міръ ничего не зналъ даже о томъ, существуетъ ли на свѣтѣ этотъ народъ, до времени императора Валента, т. е. до того времени, когда увидѣли вдругъ извергавшіяся изъ горъ Азіи толпы гунновъ и съ ними аваровъ, гунну-юровъ, ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго и вмѣстѣ испорченнаго слуха римлянъ-грековъ. Набѣгъ этихъ обитателей Азіи, разрушительный, неотразимый, обычай ихъ ѣсть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череповъ и приносить на окровавленномъ кострѣ въ жертву тѣнямъ своихъ предковъ первыхъ попадавшихся плѣнниковъ, самыя ихъ калмыцкія лица, плоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свирѣпымъ движеніемъ, ихъ приземистый ростъ, весь состоявшій изъ однихъ мускуловъ, — привели въ такой ужасъ азіятско-римскія провинціи, что жители не

[1] Deguignes, Histoire générale des Huns etc.

смѣли производить ихъ отъ человѣческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмѣримыхъ каспійскихъ пустынь вошли въ нечистое сношеніе съ дьяволами, и отъ этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому то странному инстинкту, или, можетъ быть, испугавшись слишкомъ пестрой поверхности римской Азіи, усѣянной садами и городами, которыхъ всегда убѣгаютъ кочевые народы, считающіе ихъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ, — какъ бы то ни было, только они двинулись, вмѣсто того, чтобы на югъ, —на сѣверо-западъ, зацѣпили путемъ своимъ Кавказа, сорвали съ его подошвы нѣсколько народовъ кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа высыпала въ Европу. Великій аванпостъ Европы занятъ былъ, какъ мы уже видѣли, владычествомъ готовъ. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ея обширныя ворота, къ несчастію, слишкомъ обширныя для такой небольшой части свѣта, какова Европа. И готы, тѣ готы, которые считались непобѣдимымъ ея оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и долженствовало быть. Тайна азіятскаго многочисленнаго набѣга была совершенно неизвѣстна готамъ. Еслибы они знали, что азіятское нападеніе болѣе всего страшно силою перваго порыва, что умѣніе долѣе противостать ему и продлить битву одни только могутъ выиграть, — еслибы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, измѣнившаго снова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имѣть нечеловѣческую храбрость и крѣпость духа, чтобы выдержать первый напоръ гунновъ. Нападенія ихъ были произ-

водимы съ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летѣла такъ густо и съ такою силою на лошадяхъ бѣшеныхъ, почти дикихъ, какъ будто бы была сброшена съ крутого утеса и не въ состояніи была сама удержать бѣга; узкій, почти пропадавшій между пухлыхъ щекъ ихъ глазъ былъ такъ быстръ и вѣренъ, въ одно мгновеніе они давали столько измѣненій ходу битвы, такъ быстро могли разсыпаться и изчезнуть изъ виду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мѣтко высылать летящій лѣсъ стрѣлъ; даже убѣгая, такъ ловко они умѣли отстрѣливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ, оглушительнымъ крикомъ, что врядъ ли могъ сыскаться предводитель, чей глазъ не разбѣжался бы, и голова не закружилась въ битвѣ съ ними.

Погнавши готовъ, гунны заняли нынѣшній польскій западъ Россіи да сѣверныя и дунайскія земли, — и географія Европы измѣнилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвесть сильное потрясеніе и всеобщую перемѣну мѣстъ. Сдвинутые готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ; вандалы и свевы, съ которыми римляне, или, лучше сказать, римскіе германцы мѣрялись уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свѣта: свевы съ береговъ Балтики и снѣжной Скандинавіи, и алане, оторванные гуннскимъ порывомъ съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россіи, переносили свои кибитки и перегоняли табуны въ теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальнихъ завоеваній, потому что западную Европу и на этотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе, и потому что гуннамъ недоставало предпріимчиваго

предводителя. Они производили свои набѣги на сосѣдей, которые обыкновенно состояли въ хищничествѣ женъ, дѣтей и въ угонкѣ стадъ въ свои предѣлы. Эти хищничества болѣе всего должны были испытать готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы въ это время раздѣлились на двѣ великія вѣтви: на визиготовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линіи Бальтовъ, и остроготовъ, избиравшихъ царей изъ новой царственной вѣтви Амаловъ. Столкнутые гуннами, они притѣснились къ самому югу нынѣшней Украйны и Молдавіи. Не нашедшая безопасности часть визиготовъ, подъ начальствомъ Фридигера, Алета, Сафраха, обратилась съ просьбою къ римскому императору о позволеніи перейти черезъ Дунай и, поселившись на южной сторонѣ его, защищать провинціи отъ нападенія усиливавшихся варваровъ. Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вмѣстѣ съ братомъ своимъ Валентомъ, принялъ съ радостію неожиданную помощь — и визиготы перешли чрезъ Дунай. Между тѣмъ остроготы и часть визиготовъ, жившихъ на юго-востокѣ, терпѣли часто голодъ и видѣли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валента, который имѣлъ надзоръ надъ восточными провинціями и жилъ въ Константинополѣ, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ таможними жителями. Императоръ поручилъ удовлетворить ихъ во всемъ ѳракійскимъ правителямъ Луципину и Максиму, которые были совершенные греки временъ византійскихъ — коварные, готовые оказать злодѣйскіе поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшіе позволительными всѣ поступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дѣтей; наконецъ, подъ видомъ пріязни, призвали доблестнѣйшихъ готовъ и рѣшились тайно умертвить ихъ. Это

пробудило мщеніе въ дикомъ, но сохранившемъ первоначальныя человѣческія чувства народѣ. Многочисленныя толпы готовъ ворвались во Ѳракію и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ пепелъ всѣ находившіеся по дорогѣ города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагопріятномъ положеніи. Онъ былъ ревностный аріанецъ, и потому гналъ безъ милосердія противниковъ секты, потому имѣлъ враговъ, и самъ братъ его Валентиніанъ, императорствовавшій въ Римѣ, отказался подать ему помощь. Кромѣ того, императоръ Валентъ былъ жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его послѣдуетъ отъ человѣка, котораго имя начинается словомъ Ѳео — и онъ перерѣзалъ и передушилъ всѣхъ Ѳеодориковъ, Ѳеодотовъ и Ѳеодосіевъ, которые только занимали какія-нибудь значительныя должности. Само собою разумѣется, что такіе поступки не внушили его подданнымъ излишняго жара защищать своего монарха. Притомъ, и самые подданные были жалкій, безхарактерный народъ; войска умѣли только бунтоваться и готовы были бѣжать при первомъ случаѣ; финансы разбрелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ, Валенту, наконецъ, пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бѣгущими войсками, онъ спрятался въ бѣдную хижину и былъ сожженъ вмѣстѣ съ нею мстительными готами. Константинополь уцѣлѣлъ, благодаря незнанію готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ римлянамъ страшную память своего посѣщенія.

Скоро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Ѳеодосій думалъ спасти ее чрезъ эту секуляризацію, приписывая слабость ея неизмѣримости и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая

очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливѣе могла бы назваться имперіей евнуховъ, комедіантовъ, любимцевъ, ристалищъ, заговоровъ, низкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ,—досталась Аркадію, которымъ управлялъ пронырливый опекунъ его Руфимъ; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что всѣ административныя значительныя мѣста были заняты выслужившимися варварами изъ готовъ, вандаловъ и другихъ германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ римскаго образованія, которая уже въ собственномъ сердцѣ своемъ видѣла насильно тѣснившихся враговъ, которая въ живомъ трупѣ своемъ видѣла и чувствовала онѣмѣніе жизни, — эта Западная имперія вручена была малолѣтнему Гонорію, которымъ управлялъ Стиликонъ, родомъ вандалъ, бывшій вѣрнымъ и храбрымъ при Ѳеодосіи и сдѣлавшійся низкимъ и слабымъ при ничтожномъ его сынѣ. Опекуны, правительствовавшіе въ разныхъ углахъ Европы, ненавидѣли другъ друга. Первый подарокъ, который Руфимъ, хитрый, какъ византійскій грекъ, препроводилъ къ своему непріятелю Стиликону, состоялъ въ сильныхъ войскахъ визиготовъ, которыхъ онъ настроилъ воевать Италію, обѣщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всѣ визиготы поднялись съ своихъ становищъ въ Дакіи и съ береговъ Дуная и вступили въ Италію. Но Стиликонъ, вмѣсто того, чтобы устрашиться такого нашествія, втайнѣ былъ радъ ему. Онъ основывалъ на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свѣжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втѣснявшихся въ самые предѣлы Римской имперіи. Тогда Галлія и принадлежала, и не принадлежала римлянамъ. Сильный франкскій союзъ стоялъ на границахъ ея вмѣстѣ съ накопленными подъ его эгидомъ племена-

ми; на востокѣ и на югѣ, т. е. въ нѣдрѣ самой Франціи, вольно расположились алеманы и бургунды. Въ Испаніи свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ея, т. е. югъ. Среди ихъ римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имѣли достоинство безъ власти. Казалось, вмѣсто Римской имперіи лежала надъ полумiромъ одна только величественная длинная тѣнь ея. Имперія была похожа на тысячелѣтній дубъ, который изумляетъ своею страшною толщиною, и котораго средина давно уже обратилась въ гниль и прахъ. Стиликонъ искусно отклонилъ Алариха отъ желанія поселиться въ Италіи и предложилъ ему богатую, цвѣтущую Испанію. Онъ даже замышлялъ обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ располагалъ даже, въ случаѣ удачи, объявить себя императоромъ вмѣсто слабаго Гонорія, но черезчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетѣла съ плечъ его. Слабый, ничтожный Гонорій, не понявшій ни одного прожекта Стиликона, велѣлъ одному изъ своихъ, также неразсудительныхъ полководцевъ напасть съ тыла на готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тѣмъ, чтобы нанести имъ какой-нибудь вредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стѣнами Рима. Гонорій по обыкновенію бѣжалъ. Сенатъ, видѣвши безсиліе свое, умолилъ могущественнаго гота отступить, обѣщая дань, часть которой ему была выдана тогда же; остальной рѣшился побѣдитель ждать и отступилъ отъ Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновала, какъ уже вновь прибылъ въ Римъ и вовсе не думалъ платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подъ стѣнами уже гнѣвный, грозившій обратить въ пепелъ вѣчный городъ. 23 августа 409 года стѣны всемірной столицы увидѣли среди себя предводителя готовъ. Великолѣпные домы и дворцы были разграблены, но грозъ-

ный Аларихъ запретилъ зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видѣть силу воли и власть, какую онъ имѣлъ надъ своими дикарями, удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда не властенъ удержать и начальникъ образованныхъ войскъ. Гонорія и слѣда уже не было въ Римѣ, онъ давно умѣлъ скрыться. Но зато побѣдитель показалъ въ величайшей степени презрѣніе, какое чувствовалъ къ римлянамъ: возвелъ имъ царя ихъ же префекта Атала, и заставилъ его ползать у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое мщеніе, оставилъ онъ Римъ и обратился на югъ Италіи. Здѣсь онъ замышлялъ великіе планы, строилъ флотъ и намѣревался перенести свои побѣдительныя знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели теченіе рѣки Везанто, вырыли на бывшемъ днѣ ея глубокую могилу, въ которую зарыли трупъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго гота. Избранный послѣ него Астольфъ, наконецъ, вывелъ готовъ въ Испанію, гдѣ они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнавъ не имѣвшихъ значенія римскихъ начальниковъ.

Вторженіе визиготовъ было сильно почувствовано во всѣхъ концахъ Испаніи. Алане и свевы были крѣпко стѣснены, и большая часть ихъ должна была признать власть готовъ. Даже вандалы, бывшіе сильнѣйшими въ Испаніи, были сильно притѣснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, помышлялъ о переправѣ въ Африку. Но одно происшествіе, какъ будто нарочно, ускорило исполненіе его мысли. Въ Римѣ управлялъ, именемъ малолѣтняго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій, предпріимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишкомъ разборчивый на средства къ достиженію желаемаго.

Онъ имѣлъ сильнаго противника въ Бонифаціи, правителѣ Африки, и рѣшился его погубить; для этого призывалъ его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умыселъ, рѣшился остаться въ Африкѣ и призвать на помощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ вандалами и частію алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь свой пожарами и опустошеніями. Бонифацій увидѣлъ, наконецъ, свою ошибку, что призвалъ такого гостя. Онъ успѣлъ уже примириться съ императоромъ и рѣшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться; Бонифацій былъ разбитъ. Гензерихъ зажегъ Карѳагену, ограбилъ домы, рубилъ жителей и извлекъ, гдѣ только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успѣхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь сѣверный берегъ Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестилъ онъ его въ аріанство и составилъ сильнѣйшее въ этотъ мятежный и темный вѣкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный флотъ его разсыпался по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствомъ всякое плаваніе. Каждый годъ этотъ нумидійскій левъ появлялся у всѣхъ береговъ Средиземнаго моря, отъ Греціи и Илиріи до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвесть цвѣтущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація попеременно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого вѣнчаннаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ первое государство христіанскихъ корсаровъ. Но, наконецъ, среди величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладѣло то состояніе духа, та свирѣпая задумчивость, которая сушитъ, мучитъ душу и служитъ близкимъ предвѣстіемъ тиранства, ужасной нравственной болѣзни

властителя. Онъ сталъ подозрѣвать всѣхъ окружающихъ и подозрѣніе, наконецъ, простеръ на жену свою, дочь визиготскаго короля: ему вообразилось, что она имѣетъ умыселъ отравить его. Наполненный этою мыслію, онъ приказалъ отрѣзать ей носъ и уши и въ такомъ видѣ отправить къ ея отцу. Но, испугавшись самъ мщенія готовъ, пригласилъ Аттилу, предводителя гунновъ, напасть съ сѣвера на Испанію и Италію.

Аттила имѣлъ свою резиденцію въ Дакіи, гдѣ, недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревянныхъ юртъ, среди которыхъ возвышался неуклюжій дворецъ его. Аттила былъ именно такой предводитель, какого дотолѣ недоставало гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна стремительная азіятская сила. Весь сѣверо-востокъ Европы признавалъ его владычество. Цѣпь народовъ, несшихъ дань непобѣдимому царю гунновъ, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презрѣніе, униженно присылалъ ему дань и ползалъ передъ его могуществомъ. Это былъ маленькій человѣчекъ, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими калмыцкими глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ всѣми своими племенами, которыя, несмотря на разбросанное свое положеніе, различіе жизни, нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ, этотъ необыкновенный человѣкъ носилъ грубую широкую одежду, лежалъ на простомъ войлокѣ, пилъ почти одну воду изъ деревяннаго котла; ни сѣдло, ни лошадь его не видали на себѣ драгоцѣнныхъ ка-

меньевъ, и самъ (онъ) себя называлъ бичомъ Божіимъ, посланнымъ для того, чтобы исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредѣльна: оно вѣрило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущеніи, потому что Аттила могъ выставить возлѣ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядя [1] на которую немного находилось охотниковъ. Онъ не любилъ заводить напрасно войны, особенно, когда миръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушіе, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Мщеніе же Аттилы ... но вызвать его мщеніе никто не имѣлъ духа.

Предложеніе Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собралъ онъ безчисленныя племена свои и шелъ на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Всѣ народы, составлявшіе тогда западъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа сдвинулась въ одинъ союзъ. Римляне соединились съ своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующіе и пастушескіе шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледѣльцевъ, стремительная и деспотическая Азія — на крѣпкую и вольную Европу. Нужно замѣтить, что германскіе народы, чѣмъ ближе къ западу, тѣмъ болѣе означались вольнымъ духомъ. Альпы были древнимъ хранилищемъ европейской свободы, и вокругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранятъ еще и донынѣ черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи опредѣлено было быть теат-

[1] Глядѣть?

ромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ римлянъ, визиготовъ, арморикановъ, бреоновъ, бургундовъ, саксоновъ, алановъ и франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ распоряженіемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ остроготовъ, алановъ, гепидовъ, маркомановъ, венедовъ, ломбардовъ, геруловъ, аказировъ, аваровъ, туринговъ, роксолановъ и нѣкоторыхъ племенъ славянскихъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были рѣшить многое важное въ потомствѣ. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вмѣстѣ съ союзными народами, и непобѣдимый гуннъ, употребившій все возможное напряженіе своей воли, поворотилъ свои табуны и народы въ равнины Венгріи и Паноніи. Аэцій, не желая дать перевѣса визиготамъ, дѣйствовавшимъ сильнѣе другихъ въ этой кровопролитной сѣчѣ, облегчилъ ему удаленіе. Великая лига, исполнившая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшею опасность.

Но ужасный предводитель гунновъ рвалъ на себѣ благородный клокъ волосъ своихъ отъ гнѣва, и черезъ годъ, пополнивши свои войска новыми, вступилъ въ Италію, гдѣ безпечный императоръ Валентіанъ, и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую руку, былъ Аквилея. Онъ его обратилъ въ пепелъ и заставилъ горсть спасшихся жителей зародить на Адріатическомъ морѣ Венецію. Отсюда прошелъ онъ всю Италію, дѣйствуя, какъ огненный бичъ. Города: Конкордія, Бресчіа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма — представили однѣ обнаженныя стѣны. „Клянусь, — гордо провозгласилъ дикій гуннъ, — что, гдѣ коснется копыто коня моего, тамъ болѣе не

вырастетъ трава!“ Наконецъ, и Римъ увидѣлъ подъ стѣнами своими Аттилу. Испуганный папа, въ облаченіи, со всѣмъ крестнымъ ходомъ, вышелъ навстрѣчу неумолимому гунну, и великолѣпный ли обрядъ христіанства, или мысль, разсѣянная между дикими, даже языческими народами, о пребываніи чего то священнаго въ Римѣ, — что бы то ни было, но Аттила отступилъ, взявши великій выкупъ, и вышелъ изъ Италіи.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигѣ западныхъ народовъ, но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ. Суровый, воздержный, не позволявшій золотымъ украшеніямъ и камнямъ убрать даже рукояти сабли и войлочнаго сѣдла своего, онъ въ одинъ день измѣнилъ свою жизнь. Сочетавшись бракомъ съ дочерью бактріанскаго царя, необыкновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ, онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что выпилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у него пошла изъ ушей, изъ носа, изо рта — и онъ задохнулся.

Въ невѣдомой пустынѣ, среди глубокой ночи, копали могилу Аттилѣ, сопровождая пѣснями о его подвигахъ. Тѣло его было положено въ тройной гробъ — изъ золота, серебра и мѣди; съ нимъ легли его оружія, его конныя сбруи. На могилѣ его были заколоты всѣ рабы и копавшіе землю, чтобы никто изъ живущихъ не вѣдалъ о мѣстѣ, гдѣ лежатъ кости великаго человѣка [1].

По смерти Аттилы, гунны вдругъ разсѣялись и разсыпались, какъ всякій азіятскій народъ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейскіе народы шире и вольнѣе раздались и болѣе приняли самостоятельности, и

[1] О гуннахъ и объ Аттилѣ: Іорнандъ, Дегинь, Фишеръ. *Прим. Гоголя.*

на востокѣ начали виднѣе показываться племена славянъ, которыя мало-по-малу разрослись въ шестьдесятъ разныхъ вѣтвей [1], протянулись до Тироля, прошумѣли по уходѣ остроготовъ на границахъ имперіи греческой и, углубившись въ великія пространства, наконецъ, превратились въ мирныхъ осѣдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и среди полуразрушенныхъ развалинъ ея крылись еще происки. И въ этомъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе честолюбцы! Сенаторъ Максимъ успѣлъ очернить передъ безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную опору его шаткаго трона — Аэція, и неблагодарный Валентиніанъ убилъ его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, онъ самъ погибъ, умерщвленный Максимомъ, который надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдовѣ Евдоксіи. Мстительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя; онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толпами своихъ вандаловъ, на пиратскихъ судахъ, и высадился въ Италію. И что только уцѣлѣло отъ меча Аттилы, все то истребилъ, по своему обыкновенію, Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имѣлъ необыкновенное искусство грабить: послѣ него уже никто не могъ ничѣмъ поживиться. Римъ, который дотолѣ щаженъ былъ даже язычниками, былъ ограбленъ безъ ми-

---

[1] Конрадъ Геснеръ. *Прим. Гоголя.*

лосердія этимъ христіанскимъ королемъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ плѣнниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что дѣлать; вывезъ множество артистовъ и художниковъ, увезъ даже супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмѣстѣ съ дочерьми ея, наконецъ, даже сорвалъ золотой куполъ съ Капитолія и утащилъ его вмѣстѣ съ другими сокровищами въ Африку.

Послѣ всѣхъ этихъ событій, Италія не походила и на тѣнь прежней своей славы. Цвѣтущая, прекрасная, вѣнецъ европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустѣлыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имѣть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состояніи даже платить жалованья собственному войску, набранному изъ геруловъ, ругіевъ и турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ, Одоакръ, отрѣшилъ своего императора отъ должности, сдѣлался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотѣлъ принять императорскаго достоинства, но назвался, просто, королемъ геруловъ. Еще часть римскаго войска находилась какъ бы отрѣзанною за Альпами въ Галліи, и предводитель ея, Сіагрій, не зная ничего о происшествіяхъ въ Италіи, защищалъ не существующую имперію противъ соединеннаго франкскаго союза, который сдѣлался уже слишкомъ страшнымъ, потому что имѣлъ предпріимчиваго короля и полководца Кловиса. Сіагрію, отрѣзанному отъ своего государства, не получавшему никакихъ подкрѣпленій, трудно было противоборствовать этимъ свѣжимъ силамъ: онъ уступилъ — и Галлія потопилась франкскими народами. Скоро послѣ того остроготы, предводимые Θеодорикомъ, двинулись съ сѣверныхъ границъ имперіи Восточной и заняли Италію, подчинивъ

ея народы своей власти. Скоро послѣ того англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, перебрались черезъ море и овладѣли Англіею — и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но, въ частности, и малыми силами, онѣ производились безпрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и безпрерывною перемѣною мѣстъ, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіямъ, и вся Европа, несмотря на то, что, повидимому, уже казалася неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Всѣ націи перемѣшалась между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цѣльной, и только впослѣдствіи постоянный образъ правленія или занятій сообщилъ главнымъ изъ нихъ нѣкоторую особенность и нѣкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главныхъ пункта европейской силы: въ Испаніи — визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренныхъ народовъ и присоединившіе къ себѣ уже въ Испаніи алановъ, свевовъ, вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившіе толпу сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи — франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ сосѣдей римлянъ, дунайскихъ и рейнскихъ германцевъ: узипетровъ, сигамбровъ, херусковъ, хатовъ, бруктеровъ, ангриваріевъ, хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами римскими галлами, соединившіеся, но не слившіеся съ покоренными арморикапами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами, и простершіе владычество за Альпы и Рейнъ. Это было одно изъ сильнѣйшихъ собраній народовъ. Въ сѣверной Германіи — саксоны, страшные своею дикостью и пиратствомъ, менѣе смѣшавшіеся съ другими народами, и въ Италіи — остро-

готы, имѣвшіе въ толпахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европѣ — свевскихъ, аланскихъ, аварскихъ, славянскихъ, гепидскихъ — и, подъ расторопнымъ, твердымъ правленіемъ Ѳеодорика, получившіе на время перевѣсъ въ Европѣ. Сверхъ того еще, всѣ эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными племенами. — Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопредѣленныхъ пространствахъ; въ этихъ промежуткахъ земли, иногда полосно и независимо, сохранялись многіе народы: такимъ образомъ, въ средней Германіи — ломбарды, потомъ блеснувшіе въ Италіи, часть бауаровъ, всѣ народы, жившіе въ неизмѣримыхъ прежде лѣсахъ Гарца, и въ гористыхъ уклоненіяхъ Альпъ. Востокъ Европы занимали совершенно разбросанныя племена славянскія, которыя, находясь подъ вѣчнымъ угнетеніемъ всѣхъ стремившихся изъ Азіи народовъ, еще не успѣли явиться дѣятелями всемірной исторіи. За означеннымъ кругомъ, на сѣверъ и на востокъ, разсѣивались народы, еще покрытые темною недѣятельностью.

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостижимою волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу, когда разрушающіе народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачныя событія, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися безпокойными кометами, когда между тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокѣ, робкое римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сиріи, Александріи, Цареграда, и ереси Несторія и Евтихія раздирали дряхлыя, старческія его силы.

Записки сумасшедшаго.

Октября 3.

Сегодняшняго дня случилось необыкновенное приключеніе. Я всталъ поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мнѣ вычищенные сапоги, я спросилъ, который часъ. Услышавши, что уже давно било десять, я поспѣшилъ поскорѣе одѣться. Признаюсь, я бы совсѣмъ не пошелъ въ департаментъ, зная заранѣе, какую кислую мину сдѣлаетъ нашъ начальникъ отдѣленія. Онъ уже давно мнѣ говоритъ: „Что это у тебя, братецъ, въ головѣ всегда ералашъ такой? Ты иной разъ метаешься, какъ угорѣлый, дѣло подчасъ такъ спутаешь, что самъ сатана не разберетъ, въ титулѣ поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера“. Проклятая цапля! онъ, вѣрно, завидуетъ, что я сижу въ директорскомъ кабинетѣ и очиниваю перья для его пр—ва. Словомъ, я не пошелъ бы въ департаментъ, еслибы не надежда видѣться съ казначеемъ и, авось-либо, выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ. Вотъ еще созданіе! Чтобы онъ выдалъ когда-нибудь впередъ за мѣсяцъ деньги—Господи, Боже мой, да скорѣе страшный судъ придетъ. Проси, хоть тресни, хоть будь въ разнуждѣ,—не выдастъ, сѣдой чортъ. А на квартирѣ собственная кухарка бьетъ его по щекамъ; это всему свѣту извѣстно. Я не понимаю выгодъ служить въ де-

партаментѣ: никакихъ совершенно рессурсовъ. Вотъ въ губернскомъ правленіи, гражданскихъ и казенныхъ палатахъ совсѣмъ другое дѣло: тамъ, смотришь, иной прижался въ самомъ уголку и пописываетъ, фрачишка на немъ гадкій, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаетъ! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси къ нему: „Это“, говоритъ, „докторскій подарокъ“; а ему давай или пару рысаковъ, или дрожки, или боберъ рублей въ триста. Съ виду такой тихенькій, говоритъ такъ деликатно: „одолжите ножичка починить перышко“, а тамъ обчиститъ такъ, что только одну рубашку оставитъ на просителѣ. Правда, у насъ зато служба благородная, чистота во всемъ такая, какой вовѣки не видѣть губернскому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всѣ начальники на вы... Да, признаюсь, еслибы не благородство службы, я бы давно оставилъ департаментъ.

Я надѣлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однѣ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе кущы подъ зонтиками, да курьеры попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнѣ. Я увидѣлъ его на перекресткѣ. Я, какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: „Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что бѣжитъ впереди, и глядишь на ея ножки“. Что это за бестія нашъ братъ, чиновникъ! Ей Богу, не уступитъ никакому офицеру: пройди только какая-нибудь въ шляпкѣ, непремѣнно зацѣпитъ. Когда я думалъ это, увидѣлъ подъѣхавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сейчасъ узналъ ее: это была карета нашего директора. „Но ему не зачѣмъ въ магазинъ“, я подумалъ: „вѣрно, это его дочка“. Я прижался къ стѣнкѣ. Лакей отворилъ дверцы,

и она выпорхнула изъ кареты, какъ птичка. Какъ взглянула она направо и налѣво, какъ мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой, пропалъ я, пропалъ совсѣмъ! И зачѣмъ ей выѣзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всѣхъ этихъ тряпокъ. Она не узнала меня, да и я самъ нарочно старался закутаться, какъ можно болѣе, потому что на мнѣ была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи носятъ съ длинными воротниками, а на мнѣ были коротенькіе, одинъ на другомъ; да и сукно совсѣмъ не дегатированное. Собачонка ея, не успѣвши вскочить въ дверь магазина, осталась на улицѣ. Я знаю эту собачонку. Ее зовутъ—Меджи. Не успѣлъ я пробыть минуту, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ:

— Здравствуй, Меджи!

Вотъ тебѣ на! кто это говоритъ? Я обсмотрѣлся и увидѣлъ шедшихъ подъ зонтикомъ двухъ дамъ: одну старушку, другую молоденькую; но онѣ уже прошли; а возлѣ меня опять раздалось:

— Грѣхъ тебѣ, Меджи!

Что за чортъ! я увидѣлъ, что Меджи обнюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами. „Эге!“ сказалъ я самъ себѣ: „да полно, не пьянъ ли я! Только это, кажется, со мною рѣдко случается“.

— Нѣтъ, Фидель, ты напрасно думаешь, — произнесла, — я видѣлъ самъ, что произнесла Меджи, — я была, авъ, авъ! я была, авъ, авъ, авъ! очень больна!

Ахъ, ты жъ собачонка! вишь! Признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую по-человѣчески; но послѣ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталъ удивляться. Дѣйствительно, на свѣтѣ уже случилось множество подобныхъ примѣровъ. Говорятъ, въ Англіи выплыла рыба, которая сказала два слова на такомъ стран-

номъ языкѣ, что ученые уже три года стараются опредѣлить и еще до сихъ поръ ничего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себѣ фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болѣе удивился, когда Меджи сказала:

— Я писала къ тебѣ, Фидель; вѣрно, Полканъ не принесъ письма моего!

Чортъ возьми! Я еще въ жизнь не слышалъ, чтобы собака могла писать. Правильно писать можетъ только дворянинъ. Оно, конечно, нѣкоторые и купчики-конторщики и даже крѣпостной народъ пописываетъ иногда; но ихъ писаніе большею частью механическое: ни запятыхъ, ни точекъ, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я начинаю иногда слышать и видѣть такія вещи, которыхъ никто еще не видывалъ и не слыхивалъ. „Пойду-ка я“, сказалъ я самъ въ себѣ, „за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думаетъ“. Я развернулъ свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороховую, повернули въ Мѣщанскую, оттуда въ Столярную, наконецъ, къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. „Этотъ домъ я знаю“, сказалъ я самъ въ себѣ: „это домъ Звѣркова“. Эка машина! Какого въ немъ народа не живетъ: сколько кухарокъ, сколько пріѣзжихъ! а нашей братьи — чиновниковъ, какъ собакъ, одинъ на другомъ сидитъ, а третьимъ погоняетъ. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играетъ на трубѣ. Дамы взошли въ пятый этажъ. „Хорошо“, подумалъ я: „теперь не пойду, а замѣчу мѣсто и при первомъ случаѣ не премину воспользоваться“.

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я былъ у нашего начальника въ кабинетѣ. Я нарочно пришелъ по-

раньше и, засѣвши, перечинилъ всѣ перья. Нашъ директоръ долженъ быть очень умный человѣкъ. Весь кабинетъ его уставленъ шкафами съ книгами. Я читалъ названіе нѣкоторыхъ: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нѣтъ, — все или на французскомъ, или на нѣмецкомъ. А посмотрѣть въ лицо ему: фу, какая важность сіяетъ въ глазахъ! Я еще никогда не слышалъ, чтобы онъ сказалъ лишнее слово. Только, развѣ, когда подашь бумаги, спроситъ:

— Каково на дворѣ?

— Сыро, ваше превосходительство!

Да, не нашему брату чета! Государственный человѣкъ. — Я замѣчаю, однакоже, что онъ меня особенно любитъ. Еслибы и дочка... эхъ, канальство!.. Ничего, ничего, молчаніе — читалъ „Пчелку“ [1]. Эка глупый народъ французы! Ну, чего хотятъ они? [2] Взялъ бы, ей Богу, ихъ всѣхъ да и перепоролъ розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помѣщикомъ. Курскіе помѣщики хорошо пишутъ. Послѣ этого замѣтилъ я, что уже било половину перваго, а нашъ не выходилъ изъ своей спальни. Но около половины второго случилось происшествіе, котораго никакое перо не опишетъ. Отворилась дверь, я думалъ, что директоръ, и вскочилъ со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одѣта! Платье на ней было бѣлое, какъ лебедь, — фу, какое пышное! А какъ глянула — солнце! ей Богу, солнце! Она поклонилась и сказала:

— Папа́ здѣсь не было?

Ай, ай, ай! какой голосокъ! Канарейка, право, канарейка! „Ваше превосходительство“, хотѣлъ я было сказать: „не прикажите казнить, а если уже

---

[1] „Сѣверная Пчела“ Булгарина.

[2] Вѣроятно, намекъ на революцію 1830 г. и послѣдующее политическое броженіе во Франціи.

хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою"; да, чортъ возьми, какъ то языкъ не поворотился, и я сказалъ только: „никакъ нѣтъ-съ". Она поглядѣла на меня, на книги, и уронила платокъ. Я кинулся со всѣхъ ногъ, поскользнулся на проклятомъ паркетѣ и чуть-чуть не расклеилъ носа, однакожъ удержался и досталъ платокъ. Святые, какой платокъ! тончайшій, батистовый—амбра, совершенная амбра! такъ и дышитъ отъ него генеральствомъ. Она поблагодарила и чуть-чуть усмѣхнулась, такъ что сахарныя губки ея почти не тронулись, и послѣ этого ушла. Я еще часъ сидѣлъ, какъ вдругъ пришелъ лакей и сказалъ:

— Ступайте, Аксентій Ивановичъ, домой, баринъ уже уѣхалъ изъ дому.

Я терпѣть не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: одинъ разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мѣста, потчивать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глупый холопъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія? Однакожъ, я взялъ шляпу и надѣлъ самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадутъ, и вышелъ. Дома большею частію лежалъ на кровати. Потомъ переписалъ очень хорошіе стишки: „Душеньки часокъ не видя, Думалъ, годъ ужъ не видалъ; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мнѣ, я сказалъ". Должно быть Пушкина сочиненіе. Ввечеру, закутавшись въ шинель, ходилъ къ подъѣзду ея пр — ва и поджидалъ долго, не выйдетъ ли сѣсть въ карету, чтобы посмотрѣть еще разикъ; но нѣтъ, не выходила.

Ноября 6.

Разбѣсилъ начальникъ отдѣленія. Когда я пришелъ въ департаментъ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и началъ мнѣ говорить такъ:

— Ну, скажи, пожалуйста, что ты дѣлаешь?

— Какъ, что? Я ничего не дѣлаю, — отвѣчалъ я.

— Ну, размысли хорошенько! вѣдь тебѣ уже за сорокъ лѣтъ — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себѣ? Ты думаешь, я не знаю всѣхъ твоихъ проказъ? Вѣдь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты! Вѣдь ты нуль, болѣе ничего. Вѣдь у тебя нѣтъ ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркало на свое лицо — куды тебѣ думать о томъ!

Чортъ возьми! что у него лицо похоже нѣсколько на аптекарскій пузырекъ, да на головѣ клочокъ волосъ, завитый хохолкомъ, да держитъ ее кверху, да примазываетъ ее какою то розеткою, такъ ужъ и думаетъ, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидѣлъ, можетъ быть, предпочтительно мнѣ оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный совѣтникъ! Вывѣсилъ золотую цѣпочку къ часамъ, заказываетъ сапоги по тридцати рублей — да чортъ его побери! Я развѣ изъ какихъ-нибудь разночинцевъ, изъ портныхъ, или изъ унтеръ-офицерскихъ дѣтей? Я дворянинъ. Что жъ, и я могу дослужиться. Мнѣ еще сорокъ два года — время такое, въ которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а, можетъ быть, если Богъ дастъ, то чѣмъ-нибудь и побольше. Заведемъ и мы себѣ квартиру и еще, можетъ быть, получше твоей. Что жъ ты себѣ забралъ въ голову, что кромѣ тебя уже нѣтъ вовсе порядочнаго человѣка? Дай-ка мнѣ ручевскій фракъ, сшитый по модѣ, да повяжи я себѣ такой же, какъ ты, галстукъ, — тебѣ тогда не стать мнѣ и въ подметки. Достатковъ нѣтъ — вотъ бѣда.

Ноября 8.

Былъ въ театрѣ. Играли русскаго дурака Филатку. Очень смѣялся. Былъ еще какой то во-

девиль съ забавными стишками на стряпчихъ, особенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился, какъ пропустила цензура; а о купцахъ прямо говорятъ, что они обманываютъ народъ, и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплетъ: что они любятъ все бранить, и что авторъ проситъ у публики защиты. Очень забавныя піесы пишутъ нынче сочинители. Я люблю бывать въ театрѣ. Какъ только грошъ заведется въ карманѣ — никакъ не утерпишь не пойти. А вотъ изъ нашей братьи чиновниковъ есть такія свиньи: рѣшительно не пойдетъ, мужикъ, въ театрѣ; развѣ уже дашь ему билетъ даромъ. Пѣла одна актриса очень хорошо. Я вспомнилъ о той... эхъ, каналь-ство!.. Ничего, ничего... молчаніе.

Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія показалъ такой видъ, какъ будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже съ своей стороны, какъ будто бы между нами ничего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частью лежалъ на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидѣлъ въ кабинетѣ нашего директора, починилъ для него 23 пера, и для ея... ай! ай! для ея превосходительства четыре пера. Онъ очень любитъ, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчитъ, а въ головѣ, я думаю, все обсуживаетъ. Желалось бы мнѣ узнать, о чемъ онъ больше всего думаетъ, что такое затѣвается въ этой головѣ. Хотѣлось

бы мнѣ разсмотрѣть поближе жизнь этихъ господъ, всѣ эти экивоки и придворныя штуки: какъ они, что они дѣлаютъ въ своемъ кругу — вотъ что бы мнѣ хотѣлось узнать! Я думалъ нѣсколько разъ завести разговоръ съ его пр—вомъ, только, чортъ возьми, никакъ не слушается языкъ; скажешь только, холодно или тепло на дворѣ, а больше рѣшительно ничего не выговоришь. Хотѣлось бы мнѣ заглянуть въ гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! Какіе зеркала и фарфоры! Хотѣлось бы заглянуть туда, на ту половину, гдѣ ея пр—во, — вотъ куда хотѣлось бы мнѣ! въ будуаръ, какъ тамъ стоятъ всѣ эти баночки, скляночки, цвѣты такіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежитъ тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ, чѣмъ на платье. Хотѣлось бы заглянуть въ спальню... тамъ то, я думаю, чудеса, тамъ то, я думаю, рай, какого и на небесахъ нѣтъ. Посмотрѣть бы ту скамеечку, на которую она становитъ, вставая съ постели, свою ножку, какъ надѣвается на эту ножку бѣлый, какъ снѣгъ, чулочекъ... Ай! ай! ай! ничего, ничего... молчаніе.

Сегодня, однакожъ, меня какъ бы свѣтомъ озарило: я вспомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектѣ. „Хорошо“, подумалъ я самъ въ себѣ: „я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я, вѣрно, кое-что узнаю“. Признаюсь, я даже подозвалъ было къ себѣ одинъ разъ Меджи и сказалъ ей:

— Послушай, Меджи, вотъ мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видѣть, — разскажи мнѣ все, что знаешь про барышню: что она и какъ? Я тебѣ побожусь, что никому не открою.

Но хитрая собачонка поджала хвостъ, съежилась вдвое и вышла тихо въ двери, такъ, какъ будто бы ничего не слышала. Я давно подозрѣвалъ, что собака гораздо умнѣе человѣка; я даже былъ увѣренъ, что она можетъ говорить, но что въ ней есть только какое то упрямство. Она чрезвычайный политикъ: все замѣчаетъ, всѣ шаги человѣка. Нѣтъ, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь въ домъ Звѣркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу всѣ письма, которыя писала къ ней Меджи.

Ноября 12.

Въ два часа пополудни отправился я съ тѣмъ, чтобы непремѣнно увидѣть Фидель и допросить ее. Я терпѣть не люблю капусты, запахъ которой валитъ изъ всѣхъ мелочныхъ лавочекъ въ Мѣщанской; къ тому же изъ-подъ воротъ каждаго дома несетъ такой адъ, что я, заткнувъ носъ, бѣжалъ во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускаютъ копоти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множество, что человѣку благородному рѣшительно невозможно здѣсь прогуливаться. Когда я пробрался въ шестой этажъ и зазвонилъ въ колокольчикъ, вышла дѣвчонка не совсѣмъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналъ ее: это была та самая, которая шла вмѣстѣ со старушкою. Она немножко закраснѣлась, и я тотчасъ смекнулъ — ты, голубушка, жениха хочешь.

— Что вамъ угодно? — сказала она.

— Мнѣ нужно поговорить съ вашей собачонкой.

Дѣвчонка была глупа! Я сейчасъ узналъ, что глупа! Собачонка въ это время прибѣжала, съ лаемъ; я хотѣлъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидалъ, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, вотъ, этого

мнѣ и нужно! Я подошелъ къ нему, перерылъ солому въ деревянной коробкѣ и, къ необыкновенному удовольствію своему, вытащилъ небольшую связку маленькихъ бумажекъ. Скверная собачонка, увидѣвши это, сначала укусила меня за икру, а потомъ, когда пронюхала, что я взялъ бумаги, начала визжать и ласться, но я сказалъ:

— Нѣтъ, голубушка, прощай! — и бросился бѣжать.

Я думаю, что дѣвчонка приняла меня за сумасшедшаго, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотѣлъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свѣчахъ нѣсколько дурно вижу; но Мавра вздумала мыть полъ. Эти глупыя чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошелъ прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь то, наконецъ, я узнаю всѣ дѣла, помышленія, всѣ эти пружины, и доберусь, наконецъ, до всего. Эти письма мнѣ все откроютъ. Собаки народъ умный, онѣ знаютъ всѣ политическія отношенія и потому, вѣрно, тамъ все будетъ про нашего: портретъ и всѣ дѣла этого мужа. Тамъ будетъ что-нибудь и о той, которая... ничего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Большею частію лежалъ на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно четкое, однакоже въ почеркѣ все есть какъ будто что то собачье. Прочитаемъ:

„Милая Фидель! я все не могу привыкнуть къ твоему мѣщанскому имени. Какъ будто бы уже не могли дать тебѣ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать другъ къ другу“.

Письмо писано очень правильно. Пунктуація

и даже буква ѣ вездѣ на своемъ мѣстѣ. Да этакъ, просто, не напишетъ и нашъ начальникъ отдѣленія, хотя онъ и толкуетъ, что гдѣ то учился въ университетѣ. Посмотримъ далѣе:

„Мнѣ кажется, что раздѣлять мысли, чувства и впечатлѣнія съ другимъ есть одно изъ первыхъ благъ на свѣтѣ".

Гм!.. мысль почерпнута изъ одного сочиненія, переведеннаго съ нѣмецкаго. Названія не припомню.

„Я говорю это по опыту, хотя и не бѣгала по свѣту далѣе воротъ нашего дома. Моя ли жизнь не протекаетъ въ довольствѣ? Моя барышня, которую папа называетъ Софи, любитъ меня безъ памяти".

Ай, ай!.. ничего, ничего! Молчаніе!

„Папа тоже очень часто ласкаетъ. Я пью чай и кофій со сливками. Ахъ, ma chère, я должна тебѣ сказать, что я вовсе не вижу удовольствія въ большихъ обглоданныхъ костяхъ, которыя жретъ на кухнѣ нашъ Полканъ. Кости хороши только изъ дичи, и притомъ тогда, когда еще никто не высосалъ изъ нихъ мозга. Очень хорошо мѣшать нѣсколько соусовъ вмѣстѣ, но только безъ каперсовъ и безъ зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновенія давать собакамъ скатанные изъ хлѣба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господинъ, который въ рукахъ своихъ держалъ всякую дрянь, начнетъ мять этими руками хлѣбъ, подзоветъ тебя и сунетъ тебѣ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ то неучтиво, — ну, и ѣшь, съ отвращеніемъ, а ѣшь"...

Чортъ знаетъ, что такое! Экой вздоръ! Какъ будто бы не было предмета получше, о чемъ писать. Посмотримъ на другой страницѣ, не будетъ ли чего подѣльнѣе:

„...Я съ большою охотою готова тебя увѣдомлять о всѣхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я уже тебѣ кое-что говорила о главномъ господинѣ, котораго Софи называетъ папа. Это очень странный человѣкъ"...

А, вотъ, наконецъ! Да, я зналъ; у нихъ поли-

тическій взглядъ на всѣ предметы. Посмотримъ, что папа:

„...очень странный человѣкъ. Онъ больше все молчитъ; говоритъ очень рѣдко. Но недѣлю назадъ безпрестанно говорилъ самъ съ собою: „Получу, или не получу?“ Возьметъ въ одну руку бумажку, другую сложитъ пустую и говоритъ: „Получу, или не получу?“ Одинъ разъ онъ обратился и ко мнѣ съ вопросомъ: „Какъ ты думаешь, Меджи, получу или не получу?“ Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапогъ и ушла прочь. Потомъ, ma chère, черезъ недѣлю папа пришелъ въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чѣмъ то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала, отпускалъ анекдоты. А послѣ обѣда поднялъ меня къ своей шеѣ и сказалъ: „А посмотри, Меджи, что это такое“. Я увидѣла какую то ленточку. Я нюхала ее, но рѣшительно не нашла никакого аромата; наконецъ, потихоньку лизнула: соленое немного“.

Гмъ! Эта собачонка, мнѣ кажется, уже слишкомъ... чтобы ее не высѣкли! А, такъ онъ честолюбецъ! Это нужно взять къ свѣдѣнію.

„...Прощай, ma chère! Я бѣгу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. — Ну, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышня моя Софи“...

А! ну, посмотримъ, что Софи. Эхъ, каналство!.. Ничего, ничего... будемъ продолжать:

„...барышня моя Софи была въ чрезвычайной суматохѣ. Она собиралась на балъ, и я очень обрадовалась, что въ отсутствіе ея могу писать къ тебѣ. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ѣхать на балъ, хотя при одѣваніи всегда почти сердится. Я не могу понять, отчего люди одѣваются. Почему не ходить такъ, напримѣръ, какъ мы? И хорошо, и покойно. Я никакъ не понимаю, ma chère, удовольствія ѣхать на балъ. Софи пріѣзжаетъ всегда съ балу домой въ 6 часовъ утра, и я всегда почти угадываю по ея блѣдному и тощему виду, что ей, бѣдняжкѣ, не давали тамъ ѣсть. Я, признаюсь, никогда бы не могла такъ жить. Еслибы мнѣ не дали соуса съ рябчикомъ, или жаркого куриныхъ крылышекъ, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорошъ также и соусъ съ кашкою; а морковь или рѣпа, или артишоки — никогда не будутъ хороши“.

Чрезвычайно неровный слогъ! Тотчасъ видно, что не человѣкъ писалъ: начнетъ такъ, какъ слѣдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ одно письмецо. Что то длинновато. Гмъ! и числа не выставлено:

„Ахъ, милая, какъ ощутительно приближеніе весны! Сердце мое бьется, какъ будто все кого то ожидаетъ. Въ ушахъ у меня вѣчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою нѣсколько минутъ, прислушиваясь къ дверямъ. Я тебѣ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окнѣ, разсматриваю ихъ. Ахъ, еслибъ ты знала, какіе между ними есть уроды! Иной преаляповатый дворняга, глупъ страшно, на лицѣ написана глупость, преважно идетъ по улицѣ и воображаетъ, что онъ презнатная особа, думаетъ, что такъ на него и заглядятся всѣ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила — такъ, какъ бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ моимъ окномъ! Еслибы онъ сталъ на заднія лапы, чего, грубіянъ, онъ, вѣрно, не умѣетъ, то онъ бы былъ цѣлою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толстъ собою. Этотъ болванъ, должно быть, наглецъ преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало: хотя бы поморщился! высунулъ свой языкъ, повѣсилъ огромныя уши и глядитъ въ окно — такой мужикъ! Но неужели ты думаешь, ma chère, что сердце мое равнодушно ко всѣмъ исканіямъ? Ахъ, нѣтъ... Еслибы ты видѣла одного кавалера, перелѣзающаго черезъ заборъ сосѣдняго дома, именемъ Трезора... Ахъ, ma chère, какая у него мордочка!“...

Тьфу, къ чорту!.. Экая дрянь! И какъ можно наполнять письма этакими глупостями! Мнѣ подавайте человѣка! Я хочу видѣть человѣка, я требую духовной пищи,—той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вмѣсто того этакіе пустяки... Перевернемъ черезъ страницу, не будетъ ли лучше?

„...Софи сидѣла за столикомъ и что то шила. Я глядѣла въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ, какъ вдругъ вошелъ лакей и сказалъ: „Тепловъ!“ — „Проси!“ закричала Софи и бросилась обнимать меня. „Ахъ, Меджи, Меджи! Еслибъ ты знала, кто это: брюнетъ, камеръ-юнкеръ, а глаза какіе!

черные, какъ агатъ!“ И Софи убѣжала къ себѣ. Минуту спустя, вошелъ молодой камеръ-юнкеръ съ черными бакенбардами, подошелъ къ зеркалу, поправилъ волоса и осмотрѣлъ комнату. Я поворчала и сѣла на свое мѣсто. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себѣ такъ, какъ будто не замѣчая ничего, продолжала себѣ глядѣть въ окошко; однакожъ, голову наклонила нѣсколько на бокъ и старалась услышать, о чемъ они говорятъ. Ахъ, ma chère, о какомъ вздорѣ они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ вмѣсто одной какой то фигуры сдѣлала другую; также, что какой то Бобовъ былъ очень похожъ въ своемъ жабо на аиста, и чуть было не упалъ, что какая то Лидина воображаетъ, что у нея голубые глаза, между тѣмъ какъ они зеленые,—и тому подобное. „Куда жъ“, подумала я сама въ себѣ: „если сравнить камеръ-юнкера съ Трезоромъ! Небо! какая разница! Во-первыхъ, у камеръ-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокругъ бакенбарды, какъ будто бы онъ обвязалъ его чернымъ платкомъ; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самомъ лбу бѣлая лысинка. Талію Трезора и сравнить нельзя съ камеръюнкерскою. А глаза, пріемы, ухватки совершенно не тѣ. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла въ своемъ Тепловѣ. Отчего она такъ имъ восхищается?“..

Мнѣ самому кажется, здѣсь что-нибудь да не такъ. Не можетъ быть, чтобы ее могъ такъ обворожить Тепловъ. Посмотримъ далѣе:

„Мнѣ кажется, если этотъ камеръ-юнкеръ нравится, то скоро будетъ нравиться и тотъ чиновникъ, который сидитъ у папа въ кабинетѣ. Ахъ, ma chère, еслибъ ты знала, какой этотъ уродъ! Совершенная черепаха въ мѣшкѣ“...

Какой же бы это чиновникъ?...

„.. Фамилія его престранная. Онъ всегда сидитъ и чинитъ перья. Волоса на головѣ его очень похожи на сѣно. Папа иногда посылаетъ его вмѣсто слуги“...

Мнѣ кажется, что эта мерзкая собачонка мѣтитъ на меня. Гдѣжъ у меня волоса, какъ сѣно?

„... Софи никакъ не можетъ удержаться отъ смѣху, когда глядитъ на него“.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экій мерзкій языкъ! Какъ будто я не знаю, что это дѣло зависти? Какъ будто я не знаю, чьи здѣсь штуки? Это штуки начальника отдѣленія. Вѣдь поклялся же человѣкъ непримиримою ненавистью — и вотъ вредитъ, на каждомъ шагу вредитъ. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ быть, дѣло раскроется само собою.

„Ma chère Фидель, ты извини меня, что такъ давно не писала. Я была въ усовершенномъ упоеніи. Подлинно справедливо сказалъ какой то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притомъ же у насъ въ домѣ теперь большія перемѣны. Камеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень веселъ. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететъ полъ и всегда почти разговариваетъ самъ съ собою, что скоро будетъ свадьба, потому что папа хочетъ видѣть Софи или за генераломъ, или за камеръ-юнкеромъ, или за военнымъ полковникомъ“...

Чортъ возьми! я не могу больше читать... Все или камеръ-юнкеръ, или генералъ. Все, что есть лучшаго на свѣтѣ, все достается или камеръ-юнкерамъ, или генераламъ. Найдешь себѣ бѣдное богатство, думаешь достать его рукою, — срываетъ у тебя камеръ-юнкеръ или генералъ. Чортъ побери! Желалъ бы я самъ сдѣлаться генераломъ, не для того, чтобы получить руку и прочее, — нѣтъ, хотѣлъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидѣть, какъ они будутъ увиваться и дѣлать всѣ эти разныя придворныя штуки и экивоки, и потомъ сказать имъ, что я плюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не можетъ быть. Враки! Свадьбѣ не бывать! Что жъ изъ того, что онъ камеръ-юнкеръ? Вѣдь это больше ничего, кромѣ достоинство: не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять

въ руки. Вѣдь черезъ то, что камеръ-юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Вѣдь у него же носъ не изъ золота сдѣланъ, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякаго; вѣдь онъ имъ нюхаетъ, а не ѣстъ, чихаетъ, а не кашляетъ. Я нѣсколько разъ уже хотѣлъ добраться, отчего происходятъ всѣ эти разности. Отчего я титулярный совѣтникъ и съ какой стати я титулярный совѣтникъ? Можетъ быть, я совсѣмъ не титулярный совѣтникъ? Можетъ быть, я какой-нибудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совѣтникомъ. Можетъ быть, я самъ еще не знаю, кто я таковъ. Вѣдь сколько примѣровъ по исторіи: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-нибудь мѣщанинъ или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его... Когда изъ мужика да иногда выходитъ этакое, что же изъ дворянина можетъ выйти? Вдругъ, напримѣръ, я вхожу къ нашему въ генеральскомъ мундирѣ: у меня и на правомъ плечѣ эполета, и на лѣвомъ плечѣ эполета, черезъ плечо голубая лента — что? какъ тогда запоетъ красавица моя? что скажетъ и самъ папа, директоръ нашъ? О, это большой честолюбецъ! Это—масонъ, непремѣнно масонъ; хотя онъ и прикидывается такимъ и этакимъ, но я тотчасъ замѣтилъ, что онъ масонъ: онъ если даетъ кому руку, то высовываетъ только два пальца. Да развѣ я не могу быть сію же минуту пожалованъ генералъ-губернаторомъ, или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь? Мнѣ бы хотѣлось знать, отчего я титулярный совѣтникъ? Почему именно титулярный совѣтникъ?

Декабря 5.

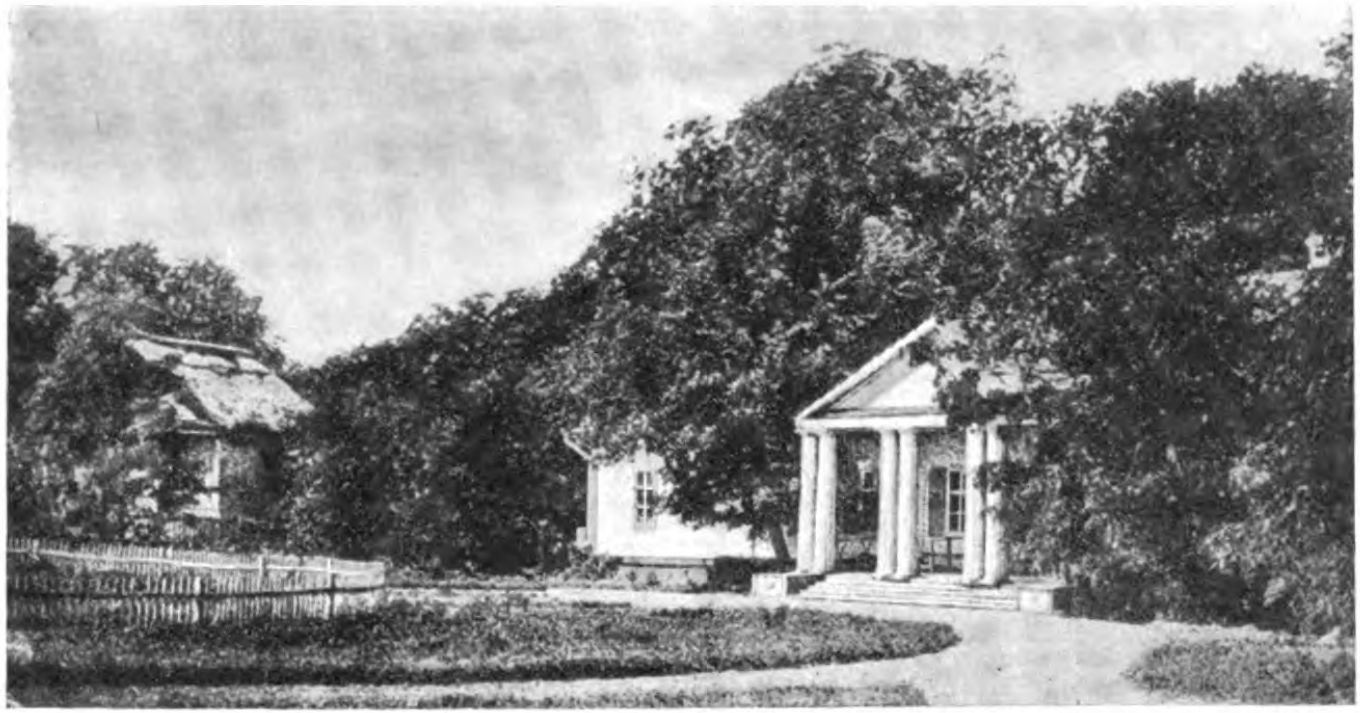
Я сегодня все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престолъ

упраздненъ, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслѣдника, и отъ того происходятъ возмущенія[1]. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ упраздненъ? Говорятъ, какая то донна должна взойти на престолъ. Не можетъ взойти донна на престолъ, никакъ не можетъ. На престолѣ долженъ быть король. „Да", говорятъ, „нѣтъ короля". Не можетъ статься, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ, вѣрно, гдѣ-нибудь находится въ неизвѣстности. Онъ, статься можетъ, находится тамъ же, но какія-нибудь или фамильныя причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ то: Франціи или другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какія-нибудь другія причины.

Декабря 8.

Я было уже совсѣмъ хотѣлъ идти въ департаментъ, но разныя причины и размышленія меня удержали. У меня все не могли выйти изъ головы испанскія дѣла. Какъ же можетъ это быть, чтобы донна сдѣлалась королевою? Не позволятъ этого. И, во-первыхъ, Англія не позволитъ. Да притомъ и дѣла политическія всей Европы, австрійскій императоръ, нашъ государь... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я рѣшительно ничѣмъ не могъ заняться во весь день. Мавра замѣчала мнѣ, что я за столомъ былъ чрезвычайно развлеченъ. И точно, я двѣ тарелки, кажется, въ разсѣянности бросилъ на полъ, которыя тутъ же расшиблись. Послѣ обѣда ходилъ подъ горы: ничего поучительнаго не могъ извлечь. Большею частію лежалъ на кровати и разсуждалъ о дѣлахъ Испаніи.

[1] Событія 1833 г.



Яновщина. Домъ Гоголя.

Съ фотографическаго снимка.

Годъ 2000-й апрѣля 43 числа.

Сегодняшній день есть день величайшаго торжества! Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этотъ король — я. Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ будто молніей освѣтило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себѣ, что я титулярный совѣтникъ. Какъ могла взойти мнѣ въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедшій домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ то туманѣ. И это все происходитъ, думаю, оттого, что люди воображаютъ, будто человѣческій мозгъ находится въ головѣ; совсѣмъ нѣтъ: онъ приносится вѣтромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявилъ Маврѣ, кто я. Когда она услышала, что передъ нею испанскій король, то всплеснула руками и чуть не умерла отъ страха: она, глупая, еще никогда не видала испанскаго короля. Я, однакоже, старался ее успокоить, и въ милостивыхъ словахъ старался ее увѣрить въ благосклонности, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она мнѣ иногда дурно чистила сапоги. Вѣдь это черный народъ: имъ нельзя говорить о высокихъ матеріяхъ. Она испугалась оттого, что находится въ увѣренности, будто всѣ короли въ Испаніи похожи на Филиппа II. Но я растолковалъ ей, что между мною и Филиппомъ нѣтъ никакого почти сходства, и что у меня нѣтъ ни одного капуцина. Въ департаментъ не ходилъ. Чортъ съ нимъ! Нѣтъ, пріятели, теперь не заманите меня: я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

Мартобря 86 числа, между днемъ и ночью.

Сегодня приходилъ нашъ экзекуторъ съ тѣмъ, чтобы я шелъ въ департаментъ, что уже болѣе трехъ недѣль, какъ я не хожу на должность.

Но люди несправедливы: ведутъ счеты по недѣлямъ. Это жиды ввели, потому что раввинъ ихъ въ это время моется. Я, однакоже, для штуки пошелъ въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія думалъ, что я ему поклонюсь и стану извиняться; но я посмотрѣлъ на него равнодушно, не слишкомъ гнѣвно и не слишкомъ благосклонно, и сѣлъ на свое мѣсто, какъ будто никого не замѣчая. Я глядѣлъ на всю канцелярскую сволочь и думалъ: „что еслибы вы знали, кто между вами сидитъ?“... Господи Боже, какую бы вы ералашь подняли! Да и самъ начальникъ отдѣленія началъ бы мнѣ такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія то бумаги, чтобы я сдѣлалъ изъ нихъ экстрактъ. Но я и пальцемъ не притронулся. Чрезъ нѣсколько минутъ все засуетилось. Сказали, что директоръ идетъ. Многіе чиновники побѣжали наперерывъ, чтобы показать себя передъ нимъ, но я ни съ мѣста. Когда онъ проходилъ черезъ наше отдѣленіе, всѣ застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директоръ? Чтобы я всталъ передъ нимъ — никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего — вотъ, которою закупориваютъ бутылки! Мнѣ больше всего было забавно, когда подсунули мнѣ бумагу, чтобы я подписалъ. Они думали, что я напишу на самомъ кончикѣ листа: столоначальникъ такой то — какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мѣстѣ, гдѣ подписывается директоръ департамента, черкнулъ: „Фердинандъ VIII“. Нужно

было видѣть, какое благоговѣйное молчаніе воцарилось; но я кивнулъ только рукою, сказавъ: „Не нужно никакихъ знаковъ подданничества!“ и вышелъ. Оттуда я пошелъ прямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотѣлъ меня не впустить, но я ему такое сказалъ, что онъ и руки опустилъ. Я прямо пробрался въ уборную. Она сидѣла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я, однакоже, не сказалъ ей, что я испанскій король. Я сказалъ только, что счастіе ее ожидаетъ такое, какого она и вообразить себѣ не можетъ, и что, несмотря на козни непріятелей, мы будемъ вмѣстѣ. Я больше ничего не хотѣлъ говорить и вышелъ. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнулъ, что такое женщина. До сихъ поръ никто еще не узналъ, въ кого она влюблена: я первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, не шутя. Физики пишутъ глупости, что она то и то, — она любитъ только одного чорта. Вонъ видите, изъ ложи перваго яруса она наводитъ лорнетъ. Вы думаете, что она глядитъ на этого толстяка со звѣздою? Совсѣмъ нѣтъ: она глядитъ на чорта, что у него стоитъ за спиною. Вонъ онъ спрятался къ нему во фракъ. Вонъ онъ киваетъ оттуда къ ней пальцемъ! И она выйдетъ за него, выйдетъ. А вотъ эти всѣ, чиновные отцы ихъ, вотъ эти всѣ, что юлятъ во всѣ стороны и лѣзутъ ко двору, и говорятъ, что они патріоты, и то, и се: аренды, аренды хотятъ эти патріоты! Мать, отца, Бога продадутъ за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбіе, и честолюбіе оттого, что подъ язычкомъ находится маленькій пузырекъ, и въ немъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дѣлаетъ какой то цырюльникъ, который живетъ въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовутъ; но достовѣрно извѣстно, что онъ, вмѣстѣ съ одною повивальною бабкою,

хочетъ по всему свѣту распространить магометанство, и оттого, уже, говорятъ, во Франціи большая часть народа признаетъ вѣру Магомета.

Никотораго числа. День былъ безъ числа.

Ходилъ инкогнито по Невскому проспекту. Проѣзжалъ государь императоръ. Весь городъ снялъ шапки, и я также; однакоже, не подалъ никакого вида, что я испанскій король. Я почелъ неприличнымъ открыться тутъ же при всѣхъ, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имѣю испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантію. Я хотѣлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; притомъ же они совсѣмъ небрегутъ своею работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камни на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантію изъ новаго вицъ-мундира, который надѣвалъ всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперши дверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножницами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

Числа не помню. Мѣсяца тоже не было. Было, чортъ знаетъ, что такое.

Мантія совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надѣлъ ее. Однакоже, я еще не рѣшаюсь представляться ко двору: до сихъ поръ нѣтъ депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично: никакого не будетъ вѣса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Числа 1-го.

Удивляетъ меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Неужели Франція? Да это самая неблагопріятствующая держава. Ходилъ справляться на почту, не прибыли ли испанскіе депутаты; но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаетъ.

— Нѣтъ, — говоритъ, — здѣсь нѣтъ никакихъ испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу.

— Чортъ возьми! что письмо? Письмо — вздоръ. Письма пишутъ аптекари, да и то прежде смочивши уксусомъ языкъ, потому что безъ этого все лицо было бы въ лишаяхъ.

Мадридъ. Февруарій тридцатый.

Итакъ, я въ Испаніи, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня по утру явились ко мнѣ депутаты испанскіе, и я вмѣстѣ съ ними сѣлъ въ карету. Мнѣ показалась странною необыкновенная скорость. Мы ѣхали такъ шибко, что черезъ полчаса достигли испанскихъ границъ. Впрочемъ, вѣдь теперь по всей Европѣ чугунныя дороги, и пароходы ѣздятъ чрезвычайно скоро. Странная земля Испанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидѣлъ множество людей съ выбритыми головами. Я, однакоже, догадался, что это должно быть или гранды, или солдаты, потому что они бреютъ головы. Мнѣ показалось чрезвычайно страннымъ обхожденіе государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ толкнулъ меня въ небольшую комнату и сказалъ:

— Сиди тутъ, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбью эту охоту.

Но я, зная, что это было больше ничего, кромѣ искушеніе, отвѣчалъ отрицательно, за что канцлеръ ударилъ меня два раза палкою по спинѣ такъ больно, что я чуть было не вскрикнулъ, но удержался, вспомнивши, что это рыцарскій обычай при вступленіи въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донынѣ ведутся рыцарскіе обычаи. Оставшись одинъ, я рѣшился заняться дѣлами государственными. Я открылъ, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по невѣжеству считаютъ ихъ за разныя государства. Я совѣтую всѣмъ нарочно написать на бумагѣ Испанія, то и выйдетъ Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, имѣющее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явленіе: земля сядетъ на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразилъ себѣ необыкновенную нѣжность и непрочность луны. Луна вѣдь обыкновенно дѣлается въ Гамбургѣ, и прескверно дѣлается. Я удивляюсь, какъ не обратитъ на это вниманіе Англія. Дѣлалъ ее хромой бочаръ, и видно, что дуракъ, никакого понятія не имѣлъ о лунѣ. Онъ положилъ смоляной канатъ и часть деревяннаго масла; и оттого по всей землѣ вонь страшная, такъ что нужно затыкать носъ. И оттого самая луна такой нѣжный шаръ, что люди никакъ не могутъ жить, и тамъ теперь живутъ только одни носы. И потому то самому мы не можемъ видѣть носовъ своихъ, ибо они всѣ находятся въ лунѣ. И когда я вообразилъ, что земля вещество тяжелое и можетъ, насѣвши, размолоть въ муку носы наши, то мною овладѣло такое безпокойство, что я, надѣвши чулки и башмаки, поспѣшилъ въ залу государственнаго совѣта, съ тѣмъ, чтобы дать приказъ полиціи не допустить землѣ сѣсть на луну. Бритые гранды, которыхъ

я засталъ въ залѣ государственнаго совѣта великое множество, были народъ очень умный, и когда я сказалъ: „Господа, спасемъ луну, потому что земля хочетъ сѣсть на нее!“, то всѣ въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе, и многіе полѣзли на стѣну съ тѣмъ, чтобы достать луну; но въ это время вошелъ великій канцлеръ. Увидѣвши его, всѣ разбѣжались. Я, какъ король, остался одинъ. Но канцлеръ, къ удивленію моему, ударилъ меня палкою и прогналъ въ мою комнату. Такую имѣютъ власть въ Испаніи народные обычаи!

Январь того же года, случившійся послѣ февруарія.

До сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мнѣ голову, несмотря на то, что я кричалъ изо всей силы о нежеланіи быть монахомъ. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мнѣ на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовалъ. Я готовъ былъ впасть въ бѣшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страннаго обычая. Обычай глупый, безсмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей, которые до сихъ поръ не уничтожаютъ его. Судя по всѣмъ вѣроятіямъ, догадываюсь, не попался ли я въ руки инквизиціи, и тотъ, котораго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ. Только я все не могу понять, какъ же могъ король подвергнуться инквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиніякъ. О, это бестія Полиніякъ! Поклялся вредить мнѣ по смерть.

И вотъ гонитъ да и гонитъ; но я знаю, пріятель, что тебя водитъ англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездѣ юлитъ. Это уже извѣстно всему свѣту, что когда Англія нюхаетъ табакъ, то Франція чихаетъ.

Число 25.

Сегодня великій инквизиторъ опять пришелъ въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидѣвши, что нѣтъ меня, началъ звать. Сначала закричалъ: „Поприщинъ!“ — Я ни слова. Потомъ: „Аксентій Ивановъ! Тутулярный совѣтникъ! Дворянинъ!“ — Я все молчу. — „Фердинандъ VIII, король испанскій!“ — Я хотѣлъ было высунуть голову, но послѣ подумалъ: „Нѣтъ, братъ, не надуешь! Знаемъ мы тебя: опять будешь лить холодную воду мнѣ на голову“. Однакоже, онъ увидѣлъ меня и выгналъ палкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочемъ, за все это вознаградило меня нынѣшнее открытіе: я узналъ, что у всякаго пѣтуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями, недалеко возлѣ хвоста. Великій инквизиторъ, однакоже, ушелъ отъ меня, разгнѣванный и грозя мнѣ какимъ то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегаю его безсильною злобою, зная, что онъ дѣйствуетъ, какъ машина, какъ орудіе англичанина.

Число 34 Мц. Февраля 349 года.

Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть. Боже! что они дѣлаютъ со мною! Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдѣлалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня бѣднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего

не имѣю. Я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ, какъ вихорь, коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеся, кони, и несите меня съ этого свѣта! Далѣе, далѣе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится передо мною; звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманѣ; съ одной стороны море, съ другой Италія; вонъ и русскія избы виднѣются. Домъ ли то мой синѣетъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучатъ они его! Прижми ко груди своей бѣднаго сиротку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! его гонятъ! — Матушка, пожалѣй о своемъ больномъ дитяткѣ!... А знаете ли, что у алжирскаго бея подъ самымъ носомъ шишка?[1]

Конецъ „Арабесокъ“.

---

[1] Въ 1852 г. д-ръ Тарасенковъ завелъ съ Гоголемъ разговоръ о „Запискахъ сумасшедшаго“ („Послѣдніе дни жизни Н. В. Гоголя, М., 1902, стр. 11): „разсказавъ, что я постоянно наблюдаю психопатовъ и даже имѣю ихъ подлинныя записки, я пожелалъ отъ него узнать, не читалъ ли онъ подобныхъ записокъ прежде, нежели написать это сочиненіе. Онъ отвѣчалъ: „читалъ, но послѣ“. — „Да какъ же вы такъ вѣрно приблизились къ естественности?“ спросилъ я его. „Это легко: стоитъ представить себѣ“... Разговоръ былъ прерванъ приходомъ гостя. По словамъ Анненкова (I, 185), онъ засталъ однажды у Гоголя „пожилого человѣка, разсказывавшаго о привычкахъ сумасшедшихъ, строгой, почти логической послѣдовательности, замѣчаемой въ развитіи нелѣпыхъ ихъ идей. Гоголь подсѣлъ къ нему, внимательно слушалъ его повѣствованіе... Большая часть матеріаловъ, собранныхъ изъ разсказовъ пожилого человѣка, употреблена была Гоголемъ потомъ въ „Зап. сум.“.

Приложеніе.

Портретъ.

(Въ позднѣйшей редакціи.)

Часть I.

Нигдѣ не останавливалось столько народа, какъ предъ картинною лавочкою на Щукиномъ дворѣ. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленымъ лакомъ, въ темно-желтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго пѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка, — вотъ ихъ обыкновенные сюжеты. Къ этому нужно присовокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. Сверхъ того, двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками произведеній, отпечатанныхъ лубками на большихъ листахъ, которыя свидѣтельствуютъ о самородномъ дарованіи русскаго человѣка. На одномъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна [1],

---

[1] „Бова Королевичъ". Хозревъ-Мирза пріѣзжалъ въ Россію въ 1829 г.

на другомъ городъ Іерусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ нимъ уже, вѣрно, стоитъ въ шинели солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка-охтенка съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается посвоему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смѣются и дразнятъ другъ друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спѣшатъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чартковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодости. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинами. Наконецъ, овладѣло имъ невольное размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаревичей, на объѣдалъ и опивалъ, на Ѳому и Ерему, это не казалось ему удивительнымъ: из-

ображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ пестрыхъ, грязныхъ масляныхъ малеваній? Кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которомъ выразилось все глубокое его униженіе? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки; иначе въ нихъ, при всей безчувственной карикатурности цѣлаго, вырывался бы острый порывъ. Но здѣсь было видно, просто, тупоуміе, безсильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала въ ряды искусствъ, тогда какъ ей мѣсто было среди низкихъ ремеслъ, — бездарность, которая была вѣрна, однакожъ, своему призванію и внесла въ самое искусство свое ремесло. Тѣ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку!..

Долго стоялъ онъ предъ этими грязными картинами, уже, наконецъ, не думая вовсе о нихъ, а между тѣмъ хозяинъ лавки, сѣренькій человѣчекъ, во фризовой шинели, съ бородой, небритой съ самаго воскресенья, толковалъ ему уже давно, торговался и условливался въ цѣнѣ, еще не узнавъ, что ему понравилось, и что нужно.

— Вотъ за этихъ мужичковъ и за ландштафтикъ возьму бѣленькую. Живопись то какая! просто, глазъ прошибетъ; только что получены съ биржи: еще лакъ не высохъ. Или вотъ зима, — возьмите зиму! пятнадцать рублей! одна рамка чего стоитъ! Вонъ она какая зима! — Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, вѣроятно, чтобы показать всю доброту зимы. — Прикажете связать ихъ вмѣстѣ и снести за вами? Гдѣ изволите жить? Эй, малый! подай веревочку.

— Постой, братъ, не такъ скоро, — сказалъ очнувшійся художникъ, видя, что ужъ проворный

купецъ принялся не въ шутку ихъ связывать вмѣстѣ. Ему сдѣлалось нѣсколько совѣстно не взять ничего, застоявшись такъ долго въ лавкѣ, и онъ сказалъ: — А вотъ постой, я посмотрю, нѣтъ ли для меня чего-нибудь здѣсь, — и, наклонившись, сталъ доставать съ полу громоздко наваленныя, истертыя, запыленныя старыя малеванья, не пользовавшіяся, какъ видно, никакимъ почетомъ. Тутъ были старинные фамильные портреты, которыхъ потомковъ, можетъ быть, и на свѣтѣ нельзя было отыскать; совершенно неизвѣстныя изображенія съ прорваннымъ холстомъ; рамки, лишенныя позолоты; словомъ, всякій ветхій соръ. Но художникъ принялся разсматривать, думая втайнѣ: „Авось что-нибудь и отыщется“. Онъ не разъ слышалъ разсказы о томъ, какъ иногда у лубочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины великихъ мастеровъ.

Хозяинъ, увидѣвъ, куда полѣзъ онъ, оставилъ свою суетливость и, принявши свое обыкновенное положеніе и надлежащій вѣсъ, помѣстился сызнова у дверей, зазывая прохожихъ и указывая имъ одной рукой на лавку:

— Сюда, батюшка! вотъ картины! зайдите, зайдите! съ биржи получены.

Уже накричался онъ вдоволь и большею частью безплодно; наговорился досыта съ лоскутнымъ продавцомъ, стоявшимъ насупротивъ его, также у дверей своей лавчонки, и, наконецъ, вспомнивъ, что у него въ лавкѣ есть покупатель, оборотился къ народу спиной и отправился внутрь ея.

— Что, батюшка, выбрали что-нибудь?

Но художникъ уже стоялъ нѣсколько времени неподвижно передъ однимъ портретомъ въ огромныхъ, когда то великолѣпныхъ рамахъ, но на которыхъ чуть блестѣли теперь слѣды позолоты.

Это былъ старикъ съ лицомъ бронзоваго цвѣта, скулистымъ, чахлымъ; черты лица, казалось, были

схвачены въ минуту судорожнаго движенія и отзывались не сѣверною силою: пламенный полдень былъ запечатлѣнъ въ нихъ. Онъ былъ драпированъ въ широкій азіятскій костюмъ. Какъ ни былъ поврежденъ и запыленъ портретъ, но когда удалось ему счистить съ лица пыль, онъ увидѣлъ слѣды работы высокаго художника. Портретъ, казалось, былъ неконченъ; но сила кисти была разительна. Необыкновеннѣе всего были глаза: казалось, въ нихъ употребилъ всю силу кисти и все тщаніе свое художникъ. Они, просто, глядѣли, глядѣли даже изъ самаго портрета, какъ будто разрушая его гармонію своею странною живостью. Когда поднесъ онъ портретъ къ дверямъ еще сильнѣе глядѣли глаза. Почти то же впечатлѣніе произвели они и въ народѣ. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: „Глядитъ, глядитъ!“ и попятилась назадъ. Что то непріятное, непонятное самому себѣ почувствовалъ онъ и поставилъ портретъ на землю.

— А что жъ, возьмите портретъ! — сказалъ хозяинъ.

— А сколько? — сказалъ художникъ.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нѣтъ.

— Ну, да что жъ дадите?

— Двугривенный, — сказалъ художникъ, готовясь идти.

— Экъ цѣну какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить? Господинъ, господинъ, воротитесь! гривенничекъ хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только; вотъ только, что первый покупатель. — За симъ онъ сдѣлалъ жестъ рукой, какъ будто бы говорившій: „Такъ ужъ и быть, пропадай картина!“

Такимъ образомъ Чартковъ совершенно неожиданно купилъ старый портретъ и въ то же время подумалъ: „Зачѣмъ я его купилъ? на что онъ мнѣ?“ Но дѣлать было нечего. Онъ вынулъ изъ кармана двугривенный, отдалъ хозяину, взялъ портретъ подъ мышку и потащилъ его съ собою. Дорогою онъ вспомнилъ, что двугривенный, который онъ отдалъ, былъ у него послѣдній. Мысли его вдругъ омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его въ ту же минуту. „Чортъ побери! гадко на свѣтѣ!“ сказалъ онъ съ чувствомъ русскаго, у котораго дѣла плохи. И почти машинально шелъ скорыми шагами, полный безчувствія ко всему. Красный свѣтъ вечерней зари оставался еще на половинѣ неба, еще домы, обращенные къ той сторонѣ, чуть озарялись ея теплымъ свѣтомъ; а между тѣмъ уже холодное синеватое сіянье мѣсяца становилось сильнѣе. Полупрозрачныя легкія тѣни хвостами падали на землю, отбрасываемыя домами и ногами пѣшеходцевъ. Уже художникъ начиналъ мало-по-малу заглядываться на небо, озаренное какимъ то прозрачнымъ, тонкимъ, сомнительнымъ свѣтомъ, и почти въ одно время излетали изъ устъ его слова: „Какой легкій тонъ!“ и слова: „Досадно, чортъ побери!“ и онъ, поправляя портретъ, безпрестанно съѣзжавшій изъ-подъ мышки, ускорялъ шагъ.

Усталый и весь въ поту, дотащился онъ къ себѣ въ пятнадцатую линію, на Васильевскій островъ. Съ трудомъ и съ отдышкой взобрался онъ по лѣстницѣ, облитой помоями и украшенной слѣдами кошекъ и собакъ. На стукъ его въ дверь не было никакого отвѣта: человѣка не было дома. Онъ прислонился къ окну и расположился ожидать терпѣливо, пока не раздались, наконецъ, позади его шаги парня въ синей рубахѣ, его приспѣшника, натурщика, краскотерщика и выметателя половъ, пачкавшаго ихъ тутъ же своими са-

погами. Парень назывался Никитою и проводилъ все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключомъ въ замочную дырку, вовсе незамѣтную по причинѣ темноты. Наконецъ, дверь была отперта. Чартковъ вступилъ въ свою переднюю, нестерпимо холодную, какъ всегда бываетъ у художниковъ, чего, впрочемъ, они не замѣчаютъ. Не отдавая Никитѣ шинели, онъ вошелъ въ ней въ свою студію — квадратную комнату, большую, но низенькую, съ мерзнувшими окнами, уставленную всякимъ художескимъ хламомъ: кусками гипсовыхъ рукъ, рамками, обтянутыми холстомъ, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развѣшенной по стульямъ. Онъ усталъ сильно, скинулъ шинель, поставилъ разсѣянно принесенный портретъ между двухъ небольшихъ холстовъ и бросился на узкій диванчикъ, о которомъ нельзя было сказать, что онъ обтянутъ кожею, потому что рядъ мѣдныхъ гвоздиковъ, когда то прикрѣплявшихъ ее, давно уже остался самъ по себѣ, а кожа осталась тоже сверху сама по себѣ, такъ что Никита засовывалъ подъ нее черные чулки, рубашки и все немытое бѣлье. Посидѣвъ и разлегшись, сколько можно было разлечься на этомъ узенькомъ диванѣ, онъ, наконецъ, спросилъ свѣчу.

— Свѣчи нѣтъ, — сказалъ Никита.

— Какъ нѣтъ?

— Да вѣдь и вчера еще не было, — сказалъ Никита. Художникъ вспомнилъ, что дѣйствительно и вчера еще не было свѣчи, успокоился и замолчалъ. Онъ далъ себя раздѣть и надѣлъ свой, крѣпко и сильно заношенный, халатъ.

— Да вотъ еще, хозяинъ былъ,—сказалъ Никита.

— Ну, приходилъ за деньгами? Знаю, — сказалъ художникъ, махнувъ рукой.

— Да онъ не одинъ приходилъ, — сказалъ Никита.

— Съ кѣмъ же?

— Не знаю, съ кѣмъ ... какой то квартальный.

— А квартальный зачѣмъ?

— Не знаю, зачѣмъ; говоритъ, затѣмъ, что за квартиру не плачено.

— Ну, что жъ изъ того выйдетъ?

— Я не знаю, что выйдетъ; онъ говорилъ: „Коли не хочетъ, такъ пусть, говоритъ, съѣзжаетъ съ квартиры". Хотѣли завтра еще придти оба.

— Пусть ихъ приходятъ, — сказалъ съ грустнымъ равнодушіемъ Чартковъ. И ненастное расположеніе духа овладѣло имъ вполнѣ.

Молодой Чартковъ былъ художникъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: вспышками и мгновеньями, его кисть отзывалась наблюдательностью, соображеніемъ, шибкимъ порывомъ приблизиться къ природѣ. „Смотри, братъ", говорилъ ему не разъ его профессоръ: „у тебя есть талантъ; грѣшно будетъ, если ты его погубишь; но ты нетерпѣливъ: тебя одно что-нибудь заманитъ, одно что-нибудь тебѣ полюбится — ты имъ занятъ, а прочее у тебя дрянь, прочее тебѣ ни по чемъ, ты ужъ и глядѣть на него не хочешь. Смотри, чтобъ изъ тебя не вышелъ модный живописецъ: у тебя и теперь уже что то начинаютъ слишкомъ бойко кричать краски; рисунокъ у тебя не строгъ, а подчасъ и вовсе слабъ, линія не видна; ты ужъ гоняешься за моднымъ освѣщеньемъ, за тѣмъ, что бьетъ на первые глаза — смотри, какъ разъ попадешь въ аглицкой родъ. Берегись: тебя ужъ начинаетъ свѣтъ тянуть; ужъ, я вижу, у тебя иной разъ на шеѣ щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ ... Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки и портретики за деньги; да вѣдь на этомъ губится, а не развертывается талантъ. Терпи. Обдумывай всякую работу; брось щегольство — пусть ихъ другіе набираютъ деньги, — твое отъ тебя не уйдетъ".

Профессоръ былъ отчасти правъ. Иногда нашему художнику, точно, хотѣлось кутнуть, щегольнуть, — словомъ, кое-гдѣ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прерваннаго сна. Вкусъ его развивался замѣтно. Еще не понималъ онъ всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался передъ портретами Тиціана, восхищался фламандцами. Еще потемнѣвшій обликъ, облекающій старыя картины, не весь сошелъ предъ нимъ; но онъ ужъ прозрѣвалъ въ нихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недосягаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятнадцатый вѣкъ кое въ чемъ значительно ихъ опередилъ, что подражаніе природѣ какъ то сдѣлалось теперь ярче, живѣе, ближе; словомъ, онъ думалъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это въ гордомъ внутреннемъ сознаніи. Иногда становилось ему досадно, когда онъ видѣлъ, какъ заѣзжій живописецъ, французъ или нѣмецъ, иногда даже вовсе не живописецъ по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красокъ производилъ всеобщій шумъ и накоплялъ себѣ вмигъ денежный капиталъ. Это приходило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ и питье, и пищу, и весь свѣтъ, но тогда, когда, наконецъ, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красокъ, когда неотвязчивый хозяинъ приходилъ разъ по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалось въ голодномъ его воображеніи участь богача-живописца; тогда пробѣгала даже мысль, пробѣгающая часто въ русской голо-

вѣ — бросить все и закутить съ горя, на зло всему. И теперь онъ почти былъ въ такомъ положеніи.

„Да, терпи, терпи!“ произнесъ онъ съ досадою: „есть же, наконецъ, и терпѣнью конецъ. Терпи! а на какія деньги я буду завтра обѣдать? Взаймы вѣдь никто не дастъ. А понеси я продавать всѣ мои картины и рисунки: за нихъ мнѣ за всѣ двугривенный дадутъ. Они полезны, конечно; я это чувствую: каждая изъ нихъ была предпринята не даромъ, въ каждой изъ нихъ я что-нибудь узналъ. Да вѣдь что пользы? этюды, попытки, — и все будутъ этюды, попытки, — и конца не будетъ имъ. Да и кто купитъ, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки съ антиковъ и натурнаго класса, или моя неконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портретъ моего Никиты, хотя онъ, право, лучше портретовъ какого-нибудь моднаго живописца? Что въ самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ я мучусь и, какъ ученикъ, копаюсь надъ азбукой, тогда какъ могъ бы блеснуть ничѣмъ не хуже другихъ и быть такъ же, какъ они, съ деньгами?“

Произнесши это, художникъ вдругъ задрожалъ и поблѣднѣлъ: на него глядѣло, высунувшись изъза поставленнаго холста, чье то судорожно искаженное лицо; два страшныхъ глаза прямо вперились въ него, какъ бы готовясь сожрать его; на устахъ написано было грозное повелѣнье молчать. Испуганный, онъ хотѣлъ вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успѣлъ запустить въ своей передней богатырское храпѣнье; но вдругъ остановился и засмѣялся; чувство страха отлегло вмигъ: это былъ имъ купленный портретъ, о которомъ онъ позабылъ вовсе. Сіянье мѣсяца, озарившее комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Онъ принялся его разсматривать и оттирать. Обмакнулъ въ воду губку, прошелъ ею

по немъ нѣсколько разъ, смылъ съ него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повѣсилъ передъ собой на стѣну и подивился еще болѣе необыкновенной работѣ: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него такъ, что онъ, наконецъ, вздрогнулъ и, попятившись назадъ, произнесъ изумленнымъ голосомъ: „Глядитъ, глядитъ человѣческими глазами!“ Ему пришла вдругъ на умъ исторія, слышанная имъ давно отъ своего профессора объ одномъ портретѣ знаменитаго Леонарда да Винчи, надъ которымъ великій мастеръ трудился нѣсколько лѣтъ и все еще почиталъ его неоконченнымъ, и который, по словамъ Вазари, былъ, однакоже, почтенъ отъ всѣхъ за совершеннѣйшее и окончаннѣйшее произведеніе искусства. Окончаннѣе всего были въ немъ глаза, которымъ изумлялись современники: даже малѣйшія, чуть видныя въ нихъ, жилки были не упущены и преданы полотну. Но здѣсь, однакоже, въ этомъ, нынѣ бывшемъ передъ нимъ, портретѣ было что то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонію самаго портрета; это были живые, это были человѣческіе глаза! Казалось, какъ будто они были вырѣзаны изъ живого человѣка и вставлены сюда. Здѣсь не было уже того высокаго наслажденья, которое объемлетъ душу при взглядѣ на произведеніе художника, какъ ни ужасенъ взятый имъ предметъ: здѣсь было какое то болѣзненное, томительное чувство. „Что это?“ невольно вопрошалъ себя художникъ: „вѣдь это, однакоже, натура, это живая натура; отчего же это странно-непріятное чувство? Или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ какой то непостижимой,

скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность — и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ то свѣту — и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнья; напротивъ, кажется, какъ будто насладился, и послѣ того спокойнѣе и ровнѣе все течетъ и движется вокругъ тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочимъ, онъ такъ же былъ вѣренъ природѣ? Но нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ въ ней чего то озаряющаго. Все равно, какъ видъ въ природѣ: какъ онъ ни великолѣпенъ, а все недостаетъ чего то, если нѣтъ на небѣ солнца".

Онъ опять подошелъ къ портрету, съ тѣмъ, чтобы разсмотрѣть эти чудные глаза, и съ ужасомъ замѣтилъ, что они точно глядятъ на него. Это уже не была копія съ натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшаго изъ могилы. Свѣтъ ли мѣсяца, несущій съ собой бредъ мечты и облекающій все въ иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, — только ему сдѣлалось вдругъ, неизвѣстно отчего, страшно сидѣть одному въ комнатѣ. Онъ тихо отошелъ отъ портрета, отворотялся въ другую сторону и старался не глядѣть на него, а между тѣмъ глазъ невольно, самъ собою, косясь, окидывалъ его. Наконецъ, ему сдѣлалось даже страшно ходить по комнатѣ: ему казалось, какъ будто сей же часъ кто то другой станетъ ходить позади его, — и всякій разъ робко оглядывался онъ назадъ. Онъ не былъ никогда трусливъ; но воображенье и нервы его были чутки, и въ этотъ вечеръ онъ самъ не могъ истолковать себѣ своей

невольной боязни. Онъ сѣлъ въ уголокъ, но и здѣсь казалось ему, что кто то вотъ-вотъ взглянетъ черезъ плечо къ нему въ лицо. Самое храпѣнье Никиты, раздававшееся изъ передней, не прогоняло его боязни. Онъ, наконецъ, робко, не подымая глазъ, поднялся съ своего мѣста, отправился къ себѣ за ширмы и легъ въ постель. Сквозь щелки въ ширмахъ онъ видѣлъ освѣщенную мѣсяцемъ свою комнату и видѣлъ прямо висѣвшій на стѣнѣ портретъ. Глаза еще страшнѣе, еще значительнѣе вперились въ него и, казалось, не хотѣли ни на что другое глядѣть, какъ только на него. Полный тягостнаго чувства, онъ рѣшился встать съ постели, схватилъ простыню и, приблизясь къ портрету, закуталъ его всего.

Сдѣлавши это, онъ легъ въ постель покойнѣе, сталъ думать о бѣдности и жалкой судьбѣ художника, о тернистомъ пути, предстоящемъ ему на этомъ свѣтѣ; а между тѣмъ глаза его невольно глядѣли сквозь щелку ширмъ на закутанный простынею портретъ. Сіянье мѣсяца усиливало бѣлизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвѣчивать сквозь холстину, Со страхомъ вперилъ онъ пристальнѣе глаза, какъ бы желая увѣриться, что это вздоръ. Но, наконецъ, уже въ самомъ дѣлѣ... онъ видитъ, видитъ ясно: простыни уже нѣтъ... портретъ открытъ весь и глядитъ, мимо всего, что ни есть вокругъ, прямо въ него, — глядитъ, просто, къ нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видитъ: старикъ пошевелился и вдругъ уперся въ рамку обѣими руками, наконецъ, приподнялся на рукахъ и, высунувъ обѣ ноги, выпрыгнулъ изъ рамъ... Сквозь щелку ширмъ видны были уже однѣ только пустыя рамы. По комнатѣ раздался стукъ шаговъ, который, наконецъ, становился ближе и ближе къ ширмамъ. Сердце стало сильно колотиться у бѣднаго художника. Съ занявшимся отъ страха ды-

ханьемъ, онъ ожидалъ, что вотъ-вотъ глянетъ къ нему за ширмы старикъ. И вотъ онъ глянулъ, точно, за ширмы, съ тѣмъ же бронзовымъ лицомъ и поводя большими глазами. Чартковъ силился вскрикнуть — и почувствовалъ, что у него нѣтъ голоса, силился пошевельнуться, сдѣлать какое-нибудь движенье — не движутся члены. Съ раскрытымъ ртомъ и замершимъ дыханьемъ, смотрѣлъ онъ на этотъ странный фантомъ высокаго роста, въ какой то широкой азіятской рясѣ, и ждалъ, что станетъ онъ дѣлать. Старикъ сѣлъ почти у самыхъ ногъ его и вслѣдъ затѣмъ что то вытащилъ изъ-подъ складокъ своего широкаго платья. Это былъ мѣшокъ. Старикъ развязалъ его и, схвативши за два конца, встряхнулъ: съ глухимъ звукомъ упали на полъ тяжелые свертки, въ видѣ длинныхъ столбиковъ; каждый былъ завернутъ въ синюю бумагу и на каждомъ было выставлено: „1000 червонныхъ“. Высунувъ свои длинныя, костистыя руки изъ широкихъ рукавовъ, старикъ началъ разворачивать свертки. Золото блеснуло. Какъ ни велико было тягостное чувство и обезпамятѣвшій страхъ художника, но онъ вперился весь въ золото, глядя неподвижно, какъ оно разворачивалось въ костистыхъ рукахъ, блестѣло, звенѣло тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тутъ замѣтилъ онъ одинъ свертокъ, откатившійся подалѣе отъ другихъ къ самой ножкѣ его кровати, въ головахъ у него. Почти судорожно схватилъ онъ его и, полный страха, смотрѣлъ, не замѣтитъ ли старикъ. Но старикъ былъ, казалось, очень занятъ; онъ собралъ всѣ свертки свои, уложилъ ихъ снова въ мѣшокъ и, не взглянувши на него, ушелъ за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда онъ услышалъ, какъ раздавался по комнатѣ шелестъ удалявшихся шаговъ. Онъ сжималъ покрѣпче свертокъ въ своей рукѣ, дрожа всѣмъ тѣломъ за него, — и вдругъ услышалъ,

что шаги вновь приближаются къ ширмамъ — видно, старикъ вспомнилъ, что недоставало одного свертка. И вотъ — онъ глянулъ къ нему вновь за ширмы. Полный отчаянія, художникъ стиснулъ всею силою въ рукѣ своей свертокъ, употребилъ все усиліе сдѣлать движенье, вскрикнулъ — и проснулся.

Холодный потъ облилъ его всего; сердце его билось такъ сильно, какъ только можно было биться; грудь была стѣснена, какъ будто хотѣло улетѣть изъ нея послѣднее дыханье. „Неужели это былъ сонъ?“ сказалъ онъ, взявши себя обѣими руками за голову. Но страшная живость явленья не была похожа на сонъ. Онъ видѣлъ, уже пробудившись, какъ старикъ ушелъ въ рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту предъ симъ какую то тяжесть. Свѣтъ мѣсяца озарялъ комнату, заставляя выступать изъ темныхъ угловъ ея — гдѣ холстъ, гдѣ гипсовую руку, гдѣ оставленную на стулѣ драпировку, гдѣ панталоны и нечищенные сапоги. Тутъ только замѣтилъ онъ, что не лежитъ въ постели, а стоитъ на ногахъ прямо передъ портретомъ Какъ онъ добрался сюда — ужъ этого никакъ не могъ онъ понять. Еще болѣе изумило его, что портретъ былъ открытъ весь, и простыни на немъ, дѣйствительно, не было. Съ неподвижнымъ страхомъ глядѣлъ онъ на него и видѣлъ, какъ прямо вперились въ него живые человѣческіе глаза. Холодный потъ выступилъ на лицѣ его; онъ хотѣлъ отойти, но чувствовалъ, что ноги его какъ будто приросли къ землѣ. И видитъ онъ, — это уже не сонъ, — черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться къ нему, какъ будто бы хотѣли его высосать... Съ воплемъ отчаянья отскочилъ онъ — проснулся.

„Неужели и это былъ сонъ?“ Съ бьющимся

на разрывъ сердцемъ ощупалъ онъ руками вокругъ себя. Да, онъ лежитъ на постели, въ такомъ точно положеньи, какъ заснулъ. Предъ нимъ ширмы; свѣтъ мѣсяца наполнялъ комнату. Сквозь щель въ ширмахъ виденъ былъ портретъ, закрытый, какъ слѣдуетъ, простынею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ его. Итакъ, это былъ тоже сонъ! Но сжатая рука еще чувствуетъ, какъ будто бы въ ней что то было. Біенье сердца было сильно, почти страшно; тягость въ груди невыносимая. Онъ вперилъ глаза въ щель и пристально глядѣлъ на простыню. И вотъ видитъ ясно, что простыня начинаетъ раскрываться, какъ будто бы подъ нею барахтались руки и силились ее сбросить. „Господи, Боже мой, что это!“ вскрикнулъ онъ, крестясь отчаянно, — и проснулся.

И это былъ также сонъ! Онъ вскочилъ съ постели, полоумный, обезпамятѣвшій, и уже не могъ изъяснить, что это съ нимъ дѣлается: давленье ли кошмара, или домового, бредъ ли горячки, или живое видѣнье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженнымъ пульсомъ по всѣмъ его жиламъ, онъ подошелъ къ окну и открылъ форточку. Холодный пахнувшій вѣтеръ оживилъ его. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Долго глядѣлъ онъ, высунувши голову въ форточку. Уже на небѣ раждались признаки приближающейся зари; наконецъ, почувствовалъ онъ дремоту, захлопнулъ форточку, отошелъ прочь, легъ въ постель и скоро заснулъ, какъ убитый, самымъ крѣпкимъ сномъ

Проснулся онъ очень поздно и почувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло: непріятная мокрота сѣялась въ воздухѣ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или нагрунтованнымъ холстомъ. Пасмурный, недовольный, какъ мокрый пѣтухъ, усѣлся онъ на своемъ оборванномъ диванѣ, не зная самъ, за что приняться, что дѣлать, и вспомнилъ, наконецъ, весь свой сонъ. По мѣрѣ припоминанья, сонъ этотъ представлялся въ его воображеньи такъ тягостно-живъ, что онъ даже сталъ подозрѣвать, точно ли это былъ сонъ и простой бредъ, не было ли здѣсь чего то другого, не было ли это видѣнье. Сдернувши простыню, онъ разсмотрѣлъ при дневномъ свѣтѣ этотъ странный портретъ. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего онъ не находилъ въ нихъ особенно страшнаго; только какъ будто какое то неизъяснимое, непріятное чувство оставалось на душѣ. При всемъ томъ онъ все-таки не могъ совершенно увѣриться, чтобы это былъ сонъ. Ему казалось, что среди сна былъ какой то странный отрывокъ изъ дѣйствительности. Казалось, даже въ самомъ взглядѣ и выраженіи старика какъ будто что то говорило, что онъ былъ у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую въ ней тяжесть, какъ будто бы кто то, за одну только минуту предъ симъ, ее выхватилъ у него. Ему казалось, что еслибы онъ держалъ только покрѣпче свертокъ, онъ, вѣрно, остался бы у него въ рукѣ и послѣ пробужденія.

„Боже мой! еслибы хотя часть этихъ денегъ!“ сказалъ онъ, тяжело вздохнувши. И въ воображеньи его стали высыпаться изъ мѣшка всѣ видѣнные имъ свертки съ заманчивой надписью: „1000 червонныхъ“. Свертки разворачивались, золото блестѣло, заворачивалось вновь — и онъ

сидѣлъ, уставивши неподвижно и безсмысленно свои глаза въ пустой воздухъ, не будучи въ состояньи оторваться отъ такого предмета, какъ ребенокъ, сидящій предъ сладкимъ блюдомъ и видящій, глотая слюнки, какъ ѣдятъ его другіе.

Наконецъ, у дверей раздался стукъ, заставившій его непріятно очнуться. Вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ, какъ извѣстно, еще непріятнѣе, чѣмъ для богатыхъ лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чартковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ гдѣ-нибудь въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонѣ, или въ отдаленномъ углу Коломны, — творенье, какихъ много на Руси, и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу, съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его конуры, куда тотъ запрятывался спать: однимъ словомъ, былъ человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладныхъ, остаются однѣ пошлыя привычки.

— Извольте сами глядѣть, Варухъ Кузьмичъ, — сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и

разставивъ руки: — вотъ не платитъ за квартиру, не платитъ.

— Что жъ, если нѣтъ денегъ! Подождите, я заплачу.

— Мнѣ, батюшка, ждать нельзя, — сказалъ хозяинъ въ-сердцахъ, дѣлая жестъ ключомъ, который держалъ въ рукѣ: — у меня вотъ Потогонкинъ, подполковникъ, живетъ, семь лѣтъ ужъ живетъ; Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшню нанимаетъ на два стойла, три при ней дворовыхъ человѣка — вотъ какіе у меня жильцы! У меня, сказать вамъ откровенно, нѣтъ такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сей же часъ заплатить деньги, да и съѣзжать вонъ.

— Да, ужъ если порядились, такъ извольте платить, — сказалъ квартальный надзиратель съ небольшимъ потряхиваньемъ головы и заложивъ палецъ за пуговицу своего мундира.

— Да чѣмъ платить? вопросъ. У меня нѣтъ теперь ни гроша.

— Въ такомъ случаѣ, удовлетворите Ивана Ивановича издѣльями своей профессіи, — сказалъ квартальный, — онъ, можетъ быть, согласится взять картинами.

— Нѣтъ, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины съ благороднымъ содержаніемъ, чтобы можно было на стѣну повѣсить: хоть какой-нибудь генералъ со звѣздой, или князя Кутузова портретъ; а то вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахѣ, слуги то, что третъ краски. Еще съ него, свиньи, портретъ рисовать! Ему я шею наколочу: онъ у меня всѣ гвозди изъ задвижекъ повыдергалъ, мошенникъ. Вотъ посмотрите, какіе предметы: вотъ комнату рисуетъ. Добро бы ужъ взялъ комнату прибранную, опрятную; а онъ вонъ какъ нарисовалъ ее, со всѣмъ соромъ и дрязгомъ, какой ни валялся. Вотъ, посмотрите, какъ за-

пакостилъ у меня комнату; извольте сами видѣть. Да у меня по семи лѣтъ живутъ жильцы, полковники, Бухмистерева Анна Петровна... Нѣтъ, я вамъ скажу: нѣтъ хуже жильца, какъ живописецъ: свинья-свиньей живетъ, просто — не приведи Богъ.

И все это долженъ былъ выслушать терпѣливо бѣдный живописецъ. Квартальный надзиратель между тѣмъ занялся разсматриваньемъ картинъ и этюдовъ, и тутъ же показалъ, что у него душа живѣе хозяйской и даже была не чужда художественнымъ впечатлѣніямъ.

— Хе, — сказалъ онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ, гдѣ была изображена нагая женщина: — предметъ, того... игривый... А у этого зачѣмъ такъ подъ носомъ черно? табакомъ, что ли, онъ себѣ засыпалъ?

— Тѣнь, — отвѣчалъ на это сурово, и не обращая на него глазъ, Чартковъ.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь въ другое мѣсто отнести, а подъ носомъ слишкомъ видное мѣсто, — сказалъ квартальный. — А это чей портретъ? — продолжалъ онъ, подходя къ портрету старика. — Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто онъ въ самомъ дѣлѣ былъ такой страшный? Ахти, да онъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой [1]! Съ кого вы писали?

— А, это съ одного... — сказалъ Чартковъ, и не кончилъ слова: послышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слишкомъ крѣпко рамку портрета, благодаря топорному устройству полицейскихъ рукъ своихъ; боковыя дощечки вломились внутрь; одна упала на полъ, и вмѣстѣ съ нею упалъ, тяжело звякнувъ, свертокъ въ синей бумагѣ. Чарткову бросилась въ глаза надпись: „1000 червонныхъ“. Какъ безумный, бросился онъ под-

[1] Герой фантастической баллады Жуковскаго („Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“), продавшій свою душу чорту.

нять его, схватилъ свертокъ, сжалъ его судорожно въ рукѣ, опустившейся внизъ отъ тяжести.

— Никакъ деньги зазвенѣли? — сказалъ квартальный, услышавшій стукъ чего то упавшаго на полъ и не могшій увидать его за быстротой движенья, съ какою бросился Чартковъ прибрать его.

— А вамъ какое дѣло знать, что у меня есть?

— А такое дѣло, что вы сейчасъ должны заплатить хозяину за квартиру, что у васъ есть деньги, да вы не хотите платить — вотъ что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачѣмъ же вы не хотѣли заплатить прежде, да доставляете безпокойство хозяину, да вотъ и полицію тоже тревожите?

— Потому что этихъ денегъ мнѣ не хотѣлось трогать. Я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съѣду съ квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иванъ Ивановичъ, онъ вамъ заплатитъ, — сказалъ квартальный, обращаясь къ хозяину. — А если насчетъ того, что вы не будете удовлетворены, какъ слѣдуетъ, сегодня ввечеру, тогда уже извините, господинъ живописецъ. — Сказавши это, онъ надѣлъ свою треугольную шляпу и вышелъ въ сѣни, а за нимъ хозяинъ, держа внизъ голову и, какъ казалось, въ какомъ то раздумьи.

— Слава Богу, чортъ ихъ унесъ! — сказалъ Чартковъ, когда услышалъ затворившуюся въ передней дверь. Онъ выглянулъ въ переднюю, услалъ за чѣмъ то Никиту, чтобы быть совершенно одному, заперъ за нимъ дверь и, возвратившись къ себѣ въ комнату, принялся, съ сильнымъ сердечнымъ трепетомъ, разворачивать свертокъ. Въ немъ были червонцы, всѣ до одного новые, жаркіе, какъ огонь. Почти обезумѣвъ, сидѣлъ онъ за золотою кучею, все еще спрашивая себя: „Не во снѣ ли все это?“ Въ сверткѣ было ровно ихъ тысяча; наружность

его была совершенно такая, въ какой они видѣлись ему во снѣ. Нѣсколько минутъ онъ перебиралъ ихъ, пересматривалъ, и все еще не могъ придти въ себя. Въ воображеньи его воскресли вдругъ всѣ исторіи о кладахъ, шкатулкахъ съ потаенными ящиками, оставляемыхъ предками для своихъ разорившихся внуковъ, въ твердой увѣренности на будущее ихъ промотавшееся положеніе. Онъ мыслилъ такъ: „Не придумалъ ли и теперь какой-нибудь дѣдушка оставить своему внуку подарокъ, заключивъ его въ рамку фамильнаго портрета?“ Полный романическаго бреда, онъ сталъ даже думать: нѣтъ ли здѣсь какой-нибудь тайной связи съ его судьбою? не связано ли существованье портрета съ его собственнымъ существованьемъ, и самое пріобрѣтеніе его не есть ли уже какое то предопредѣленіе? Онъ принялся съ любопытствомъ разсматривать рамку портрета. Въ одномъ боку ея былъ выдолбленный желобокъ, задвинутый дощечкой такъ ловко и непримѣтно, что еслибы капитальная рука квартальнаго надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончанья вѣка въ покоѣ. Разсматривая портретъ, онъ подивился вновь высокой работѣ, необыкновенной отдѣлкѣ глазъ: они уже не казались ему страшными, но все еще въ душѣ оставалось всякій разъ какое то невольно-непріятное чувство. „Нѣтъ“, сказалъ онъ самъ въ себѣ: „чей бы ты ни былъ дѣдушка, а я тебя поставлю за стекло и сдѣлаю тебѣ за это золотыя рамки“. Здѣсь онъ набросилъ руку на золотую кучу, лежавшую предъ нимъ, и сердце забилось сильно отъ такого прикосновенья. „Что съ ними дѣлать?“ думалъ онъ, уставивъ на нихъ глаза. „Теперь я обезпеченъ по крайней мѣрѣ на три года: могу запереться въ комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обѣдъ, на чай, на содержанье, на квартиру — есть; мѣшать и надоѣдать мнѣ теперь никто не

станетъ. Куплю себѣ отличный манкенъ[1], закажу гипсовый торсикъ, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюръ съ первыхъ картинъ. И если поработаю три года на себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу ихъ всѣхъ, и могу быть славнымъ художникомъ".

Такъ говорилъ онъ заодно съ подсказывавшимъ ему разсудкомъ; но изнутри раздавался другой голосъ, слышнѣе и звонче. И какъ взглянулъ онъ еще разъ на золото — не то заговорили въ немъ 22 года и горячая юность. Теперь въ его власти было все то, на что онъ глядѣлъ доселѣ завистливыми глазами, чѣмъ любовался издали, глотая слюнки. Ухъ, какъ въ немъ забилось ретивое, когда онъ только подумалъ о томъ! Одѣться въ модный фракъ, разговѣться послѣ долгаго поста, нанять себѣ славную квартиру, отправиться тотъ же часъ въ театръ, въ кондитерскую, въ..... и прочее — и онъ, схвативши деньги, былъ уже на улицѣ.

Прежде всего зашелъ къ портному, одѣлся съ ногъ до головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя безпрестанно; накупилъ духовъ, помады, нанялъ, не торгуясь, первую попавшуюся великолѣпнѣйшую квартиру на Невскомъ проспектѣ, съ зеркалами и цѣльными стеклами; купилъ нечаянно въ магазинѣ дорогой лорнетъ, нечаянно накупилъ тоже бездну всякихъ галстуковъ, болѣе чѣмъ было нужно, завилъ у парикмахера себѣ локоны, прокатился два раза по городу въ каретѣ безъ всякой причины, объѣлся безъ мѣры конфектъ въ кондитерской и зашелъ къ ресторану французу, которомъ доселѣ слышалъ такіе же неясные слухи, какъ о китайскомъ государствѣ. Тамъ онъ обѣдалъ, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на другихъ и поправляя безпрестанно про-

[1] Манекенъ.

тивъ зеркала завитые локоны. Тамъ онъ выпилъ бутылку шампанскаго, которое тоже доселѣ было ему знакомо болѣе по слуху. Вино нѣсколько зашумѣло въ головѣ, и онъ вышелъ на улицу живой, бойкій, по русскому выраженію — „чорту не братъ“. Прошелся по тротуару гоголемъ, наводя на всѣхъ лорнетъ. На мосту замѣтилъ онъ своего прежняго профессора и шмыгнулъ лихо мимо его, какъ будто бы не замѣтивъ его вовсе, такъ что остолбенѣвшій профессоръ долго еще стоялъ неподвижно на мосту, изобразивъ вопросительный знакъ на лицѣ своемъ.

Всѣ вещи и все, что ни было: станокъ, холсты, картины, были въ тотъ же вечеръ перевезены на великолѣпную квартиру. Онъ разставилъ, что было получше, на видныя мѣста, что похуже — забросилъ въ уголъ, и расхаживалъ по великолѣпнымъ комнатамъ, безпрестанно поглядывая въ зеркала. Въ душѣ его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же часъ за хвостъ и показать себя свѣту. Уже чудились ему крики: „Чартковъ, Чартковъ! Видали ли вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талантъ у Чарткова!“ Онъ ходилъ въ восторженномъ состояніи у себя по комнатѣ и уносился нивѣсть куда. На другой же день, взявши десятокъ червонцевъ, отправился онъ къ одному издателю ходячей газеты [1], прося великодушной помощи; былъ принятъ радушно журналистомъ, назвавшимъ его тотъ же часъ „почтеннѣйшій“, пожавшимъ ему обѣ руки, разспросившимъ подробно объ имени, отчествѣ, мѣстѣ жительства, и на другой же день появилась въ газетѣ, вслѣдъ за объявленіемъ о новоизобрѣтенныхъ сальныхъ свѣчахъ, статья съ такимъ заглавіемъ:

---

[1] Несомнѣнные намеки на Булгарина.

„О НЕОБЫКНОВЕННЫХЪ ТАЛАНТАХЪ ЧАРТКОВА“.

„Спѣшимъ обрадовать образованныхъ жителей столицы прекраснымъ, можно сказать, во всѣхъ отношеніяхъ пріобрѣтеніемъ. Всѣ согласны въ томъ, что у насъ есть много прекраснѣйшихъ физіогномій и прекраснѣйшихъ лицъ; но не было до сихъ поръ средства передать ихъ на чудотворный холстъ, для передачи потомству. Теперь недостатокъ этотъ пополненъ: отыскался художникъ, соединяющій въ себѣ все, что нужно. Теперь красавица можетъ быть увѣрена, что она будетъ передана со всей граціей своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, пріятной, чудесной, подобной мотылькамъ, порхающимъ по весеннимъ цвѣткамъ. Почтенный отецъ семейства увидитъ себя окруженнымъ всей своей семьей. Купецъ, воинъ, гражданинъ, государственный мужъ — всякій съ новой ревностью будетъ продолжать свое поприще. Спѣшите, спѣшите, заходите съ гулянья, съ прогулки, предпринятой къ пріятелю, къ кузинѣ, въ блестящій магазинъ, спѣшите, откуда бы ни было. Великолѣпная мастерская художника (Невскій проспектъ, такой то номеръ) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиковъ и Тиціановъ. Не знаешь, чему удивляться: вѣрности ли и сходству съ оригиналами, или необыкновенной яркости и свѣжести кисти. Хвала вамъ, художникъ! вы вынули счастливый билетъ изъ лотереи. Вивать, Андрей Петровичъ! (Журналистъ, какъ видно, любилъ фамиліарность.) Прославляйте себя и насъ. Мы умѣемъ цѣнить васъ. Всеобщее стеченіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги, — хотя нѣкоторые изъ нашей же братьи, журналистовъ, и возстаютъ противъ нихъ, — будутъ намъ наградою“.

Съ тайнымъ удовольствіемъ прочиталъ художникъ это объявленіе; лицо его просіяло. О немъ

заговорили печатно — это было для него новостью: нѣсколько разъ перечитывалъ онъ строки. Сравненіе съ Вандикомъ и Тиціаномъ ему сильно польстило. Фраза: „Вивать, Андрей Петровичъ!“ также очень понравилась: печатнымъ образомъ называютъ его по имени и по отчеству — честь, донынѣ ему совершенно неизвѣстная. Онъ началъ ходить скоро по комнатѣ, ерошить себѣ волосы, то садился въ кресла, то вскакивалъ съ нихъ и садился на диванъ, представляя поминутно, какъ онъ будетъ принимать посѣтителей и посѣтительницъ, подходилъ къ холсту и производилъ надъ нимъ лихую замашку кисти, пробуя сообщить граціозныя движенія рукѣ.

На другой день раздался колокольчикъ у дверей его; онъ побѣжалъ отворять. Вошла дама, сопровождаемая лакеемъ въ ливрейной шинели на мѣху, и вмѣстѣ съ дамой вошла молоденькая восемнадцатилѣтняя дѣвица, дочь ея.

— Вы мсьё Чартковъ? — сказала дама.

Художникъ поклонился.

— Объ васъ столько пишутъ; ваши портреты, говорятъ, верхъ совершенства.

Сказавши это, дама наставила на глазъ свой лорнетъ и побѣжала быстро осматривать стѣны, на которыхъ ничего не было.

— А гдѣ же ваши портреты?

— Вынесли, — сказалъ художникъ, нѣсколько смѣшавшись, — я только что переѣхалъ на эту квартиру, такъ они еще въ дорогѣ.. не доѣхали.

— Вы были въ Италіи? — сказала дама, наводя на него лорнетъ, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нѣтъ, я не былъ, но хотѣлъ быть... Впрочемъ, теперь покамѣстъ я отложилъ... Вотъ кресла-съ; вы устали?..

— Благодарю, я сидѣла долго въ каретѣ. А,

вонъ, наконецъ, вижу вашу работу! — сказала дама, подбѣжавъ къ супротивной стѣнѣ и наводя лорнетъ на стоявшіе на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. „C'est charmant, Lise! Lise, venez ici. Комната во вкусѣ Теньера. Видишь? безпорядокъ, безпорядокъ, столъ, на немъ бюстъ, рука, палитра; вонъ пыль ... видишь, какъ пыль нарисована! C'est charmant! А вонъ на другомъ холстѣ женщина, моющая лицо — quelle jolie figure! Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! смотри: мужичокъ! Такъ вы занимаетесь не одними только портретами?“

— О, это вздоръ ... такъ шалилъ... этюды...

— Скажите, какого вы мнѣнія насчетъ нынѣшнихъ портретистовъ? Не правда ли, теперь нѣтъ такихъ, какъ былъ Тиціанъ? Нѣтъ той силы въ колоритѣ, нѣтъ той ... какъ жаль, что я не могу вамъ выразить по-русски (дама была любительница живописи и обѣгала съ лорнетомъ всѣ галлереи въ Италіи). Однако, мсьё Ноль ... ахъ, какъ онъ пишетъ! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья въ лицахъ, нежели у Тиціана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этотъ Ноль? — спросилъ художникъ.

— Мсьё Ноль. Ахъ, какой талантъ! онъ написалъ съ нея портретъ, когда ей было только двѣнадцать лѣтъ. Нужно, чтобы вы непремѣнно у насъ были. Lise, ты ему покажи свой альбомъ. Вы знаете, что мы пріѣхали съ тѣмъ, чтобы сей же часъ начали съ нея портретъ.

— Какъ же, я готовъ сію минуту.

И въ одно мгновенье придвинулъ онъ станокъ съ готовымъ холстомъ, взялъ въ руки палитру, вперилъ глаза въ блѣдное личико дочери. Если-бы онъ былъ знатокъ человѣческой природы, онъ прочелъ бы на немъ въ одну минуту начало ре-

бяческой страсти къ баламъ, начало тоски и жалобъ на длинноту времени до обѣда и послѣ обѣда, желанья побѣгать въ новомъ платьѣ на гуляньяхъ, тяжелые слѣды безучастнаго прилежанія къ разнымъ искусствамъ, внушаемаго матерью для возвышенія души и чувствъ. Но художникъ видѣлъ въ этомъ нѣжномъ личикѣ одну только заманчивую для кисти, почти фарфорную прозрачность тѣла, увлекательную легкую томность, тонкую свѣтлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранѣе готовился торжествовать, показать легкость и блескъ своей кисти, имѣвшей доселѣ дѣло только съ жесткими чертами грубыхъ моделей, съ строгими антиками и копіями кое-какихъ классическихъ мастеровъ. Онъ уже представлялъ себѣ въ мысляхъ, какъ выйдетъ это легонькое личико.

— Знаете ли? — сказала дама съ нѣсколько даже трогательнымъ выраженіемъ лица: — я бы хотѣла... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотѣла, чтобы она была въ платьѣ, къ которому мы такъ привыкли! я бы хотѣла, чтобы она была одѣта просто и сидѣла бы въ тѣни зелени, въ виду какихъ-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща... чтобы незамѣтно было, что она ѣдетъ куда-нибудь на балъ или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ убиваютъ душу, такъ умерщвляютъ остатки чувствъ... Простоты, понимаете, чтобы было больше. (Увы! на лицахъ и матушки, и дочери написано было, что онѣ до того исплясались на балахъ, что обѣ сдѣлались чуть не восковыми.)

Чартковъ принялся за дѣло, усадилъ оригиналъ, сообразилъ нѣсколько все это въ головѣ; провелъ по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурилъ нѣсколько глазъ, подался назадъ, взглянулъ издали, и въ одинъ часъ началъ и кончилъ подмалевку. Довольный ею, онъ принялся уже писать;

работа его завлекла; уже онъ позабылъ все, позабылъ даже, что находится въ присутствіи аристократическихъ дамъ, началъ даже выказывать иногда кое-какія художническія ухватки, произнося вслухъ разные звуки, временами подпѣвая, какъ случается съ художникомъ, погруженнымъ всею душою въ свое дѣло. Безъ всякой церемоніи, однимъ движеньемъ кисти, заставлялъ онъ оригиналъ поднимать голову, который, наконецъ, началъ сильно вертѣться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый разъ довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорилъ позабывшійся художникъ.

— Нѣтъ, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькіе часы, висѣвшіе на золотой цѣпи у ея кушака, и вскрикнула: — Ахъ, какъ поздно!

— Минуточку только! — говорилъ Чартковъ простодушнымъ и просящимъ голосомъ ребенка.

Но дама, кажется, совсѣмъ не была расположена угождать на этотъ разъ его художественнымъ потребностямъ и обѣщала, вмѣсто того, просидѣть въ другой разъ долѣе.

„Это, однакожъ, досадно“, подумалъ про себя Чартковъ: „рука только что расходилась“. И вспомнилъ онъ, что его никто не перебивалъ и не останавливалъ, когда онъ работалъ въ своей мастерской на Васильевскомъ островѣ; Никита, бывало, сидѣлъ не ворохнувшись на одномъ мѣстѣ — пиши съ него, сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказанномъ ему положеніи. И, недовольный, положилъ онъ свою кисть и палитру на стулъ и остановился смутно предъ холстомъ.

Комплиментъ, сказанный свѣтской дамой, пробудилъ его изъ усыпленія. Онъ бросился быстро къ дверямъ провожать ихъ; на лѣстницѣ получилъ приглашеніе бывать, придти на слѣдующей недѣлѣ обѣдать, и съ веселымъ видомъ возвратился къ

себѣ въ комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сихъ поръ онъ глядѣлъ на подобныя существа, какъ на что то недоступное, — которыя рождены только для того, чтобы пронестись въ великолѣпной коляскѣ съ ливрейными лакеями и щегольскимъ кучеромъ и бросить равнодушный взглядъ на бредущаго пѣшкомъ въ небогатомъ плащишкѣ человѣка. И вдругъ теперь одно изъ этихъ существъ вошло къ нему въ комнату; онъ пишетъ портретъ, приглашенъ на обѣдъ въ аристократическій домъ. Довольство овладѣло имъ необыкновенное; онъ былъ упоенъ совершенно и наградилъ себя за это славнымъ обѣдомъ, вечернимъ спектаклемъ, и опять проѣхался въ каретѣ по городу безъ всякой нужды.

Во всѣ эти дни обычная работа ему не шла вовсе на умъ. Онъ только приготовлялся и ждалъ минуты, когда раздастся звонокъ. Наконецъ, аристократическая дама пріѣхала вмѣстѣ съ своею блѣдненькою дочерью. Онъ усадилъ ихъ, придвинулъ холстъ, уже съ ловкостью и претензіями на свѣтскія замашки, и сталъ писать. Солнечный день и ясное освѣщеніе много помогли ему. Онъ увидѣлъ въ легонькомъ своемъ оригиналѣ много такого, что, бывъ уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидѣлъ, что можно сдѣлать кое-что особенное, если выполнить все въ такой окончанности, въ какой теперь представилась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда онъ почувствовалъ, что выразитъ то, чего еще не замѣтили другіе. Работа заняла его всего; весь погрузился онъ въ кисть, позабывъ опять объ аристократическомъ происхожденіи оригинала. Съ занимавшимся дыханіемъ видѣлъ, какъ выходили у него легкія черты и это почти прозрачное, нѣжное тѣло семнадцатилѣтней дѣвушки. Онъ ловилъ всякій оттѣнокъ, легкую желтизну, едва замѣтную голу-

бизну подъ глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщикъ, выскочившій на лбу, какъ вдругъ услышалъ надъ собою голосъ матери:

— Ахъ, зачѣмъ это? это не нужно, — говорила дама, — у васъ тоже ... вотъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ... какъ будто бы нѣсколько желто, и вотъ здѣсь совершенно, какъ темныя пятнышки.

Художникъ сталъ изъяснять, что эти то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляютъ пріятные и легкіе тоны лица. Но ему отвѣчали, что они не составятъ никакихъ тоновъ и совсѣмъ не разыгрываются, и что это ему только такъ кажется.

— Но позвольте здѣсь, въ одномъ только мѣстѣ, тронуть немножко желтенькой краской, — сказалъ простодушно художникъ.

Но этого то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны въ ней никакой не бываетъ, и что лицо ея поражаетъ особенно свѣжестью краски. Съ грустью принялся онъ изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незамѣтныхъ чертъ, а вмѣстѣ съ ними исчезло отчасти и сходство. Онъ безчувственно сталъ сообщать ему тотъ общій колоритъ, который дается наизусть и обращаетъ даже лица, взятыя съ натуры, въ какія то холодно-идеальныя, видимыя на ученическихъ программахъ. Но дама была довольна тѣмъ, что обидный колоритъ былъ изгнанъ вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идетъ такъ долго, и прибавила, что слышала, будто онъ въ два сеанса оканчиваетъ совершенно портретъ. Художникъ ничего не нашелся на это отвѣчать. Дамы поднялись и собирались выйти. Онъ положилъ кисть, проводилъ ихъ до дверей и послѣ того долго оста-

вался смутнымъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, передъ своимъ портретомъ.

Онъ глядѣлъ на него глупо, а въ головѣ его между тѣмъ носились тѣ легкія женственныя черты, тѣ оттѣнки и воздушные тоны, имъ подмѣченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полонъ ими, онъ отставилъ портретъ въ сторону и отыскалъ у себя гдѣ то заброшенную головку Психеи, которую когда то давно и эскизно набросалъ на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее изъ однѣхъ общихъ чертъ, не принявшее живого тѣла. Отъ нечего дѣлать, онъ теперь принялся проходить его, припоминая на немъ все, что случилось ему подмѣтить въ лицѣ аристократической посѣтительницы. Уловленныя имъ черты, оттѣнки и тоны здѣсь ложились въ томъ очищенномъ видѣ, въ какомъ являются они тогда, когда художникъ, наглядѣвшись на природу, уже отдаляется отъ нея и производитъ ей равное созданіе. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться въ видимое тѣло. Типъ лица молоденькой свѣтской дѣвицы невольно сообщился Психеѣ, и чрезъ то получила она своеобразное выраженіе, дающее право на названіе истинно-оригинальнаго произведенія. Казалось, онъ воспользовался, по частямъ и вмѣстѣ, всѣмъ, что представилъ ему оригиналъ, и привязался совершенно къ своей работѣ. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней онъ былъ занятъ только ею. И за этой самой работой засталъ его пріѣздъ знакомыхъ дамъ. Онъ не успѣлъ снять со станка картину. Обѣ дамы издали радостный крикъ изумленія и всплеснули руками.

— Lise, Lise! ахъ, какъ похоже! Superbe, superbe! Какъ хорошо вы вздумали, что одѣли ее въ греческій костюмъ! Ахъ, какой сюпризъ!

Художникъ не зналъ, какъ вывести дамъ изъ пріятнаго заблужденія. Совѣстясь и потупя голову, онъ произнесъ тихо:

— Это Психея.

— Въ видѣ Психеи? C'est charmant, — сказала мать, улыбнувшись, при чемъ улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебѣ больше всего идетъ быть изображенной въ видѣ Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! это Корреджъ. Признаюсь, я читала и слышала о васъ, но я не знала, что у васъ такой талантъ. Нѣтъ, вы непремѣнно должны написать также и съ меня портретъ. — Дамѣ, какъ видно, хотѣлось тоже предстать въ видѣ какой-нибудь Психеи.

„Что мнѣ съ ними дѣлать?“ подумалъ художникъ. „Если онѣ сами того хотятъ, такъ пусть Психея пойдетъ за то, что имъ хочется“, и произнесъ вслухъ:

— Потрудитесь еще немножко присѣсть: я коечто немножко трону.

— Ахъ, я боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не... она такъ теперь похожа.

Но художникъ понялъ, что опасенья были насчетъ желтизны, и успокоилъ ихъ, что онъ только придастъ болѣе блеску и выраженья глазамъ. А по справедливости, ему было слишкомъ совѣстно и хотѣлось хотя сколько-нибудь болѣе придать сходства съ оригиналомъ, дабы не укорилъ его кто-нибудь въ рѣшительномъ безстыдствѣ. И точно, черты блѣдной дѣвушки стали, наконецъ, выходить яснѣе изъ облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконецъ, уже черезчуръ близко. Художникъ былъ награжденъ всѣмъ: улыбкой, деньгами, комплиментомъ, искреннимъ пожатьемъ руки, приглашеньемъ на обѣды, — словомъ, получилъ тысячу лестныхъ наградъ.

Портретъ произвелъ по городу шумъ. Дама показала его пріятельницамъ: всѣ изумлялись искусству, съ какимъ художникъ умѣлъ сохранить сходство и вмѣстѣ съ тѣмъ придать красоту оригиналу. Послѣднее замѣчено было, разумѣется, не безъ легкой краски зависти въ лицѣ. И художникъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось, весь городъ хотѣлъ у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему безконечную практику разнообразіемъ, множествомъ лицъ. Но, на бѣду, это все былъ народъ, съ которымъ было трудно ладить, — народъ торопливый, занятый, или же принадлежащій свѣту, стало быть, еще болѣе занятый, чѣмъ всякій другой, и потому нетерпѣливый до крайности. Со всѣхъ сторонъ только требовали, чтобъ было хорошо и скоро. Художникъ увидѣлъ, что оканчивать рѣшительно было невозможно, что все нужно было замѣнить ловкостью и быстрой бойкостью кисти, — схватывать одно только цѣлое, одно общее выраженье и не углубляться кистью въ утонченныя подробности, — однимъ словомъ, слѣдить природу въ ея окончанности было рѣшительно невозможно. Притомъ, нужно прибавить, что у всѣхъ почти писавшихся много было другихъ притязаній на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить всѣ углы, облегчить всѣ изъянцы, и даже, если можно, избѣжать ихъ вовсе, — словомъ, чтобы на лицо можно было засмотрѣться, если даже не совершенно влюбиться. И вслѣдствіе этого, садясь писаться, онѣ принимали иногда такія выраженья, которыя приводили въ изумленье художника: та старалась изобразить въ лицѣ своемъ меланхолію, другая мечтательность, третья, во что бы ни стало, хотѣла уменьшить ротъ и сжимала

его до такой степени, что онъ обращался, наконецъ, въ одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали отъ него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничѣмъ не лучше дамъ: одинъ требовалъ себя изобразить въ сильномъ энергическомъ поворотѣ головы; другой съ поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейскій поручикъ требовалъ непремѣнно, чтобы въ глазахъ виденъ былъ Марсъ; гражданскій чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было прямоты и благородства въ лицѣ, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: „Всегда стоялъ за правду“. Сначала художника бросали въ потъ такія требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тѣмъ сроку давалось очень немного. Наконецъ, онъ добрался, въ чемъ было дѣло, и ужъ не затруднялся нисколько. Даже изъ двухъ, трехъ словъ смекалъ впередъ, кто чѣмъ хотѣлъ изобразить себя. Кто хотѣлъ Марса, онъ ему въ лицо совалъ Марса; кто мѣтилъ въ Байроны, онъ давалъ ему байроновское положенье и поворотъ. Коринной ли [1], Ундиной [2], Аспазіей [3] ли желали быть дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все и прибавлялъ отъ себя уже всякому вдоволь благообразія, которое, какъ извѣстно, нигдѣ не подгадитъ, и за что простятъ иногда художнику и самое несходство. Скоро онъ уже самъ началъ дивиться чудной быстротѣ и бойкости своей кисти. А писавшіеся, само собою разумѣется, были въ восторгѣ и провозглашали его геніемъ.

Чартковъ сдѣлался моднымъ живописцемъ во всѣхъ отношеніяхъ. Сталъ ѣздить на обѣды, сопровождать дамъ въ галлереи и даже на гулянья,

---

[1] Героиня романа м-мъ де Сталь.
[2] Ла-Моттъ-Фукэ (переводъ Жуковскаго).
[3] Древне-греческая гетэра.

щегольски одѣваться и утверждать гласно, что художникъ долженъ принадлежать къ обществу, что нужно поддержать это званье, что художники одѣваются, какъ сапожники, не умѣютъ прилично вести себя, не соблюдаютъ высшаго тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, въ мастерской, онъ завелъ опрятность и чистоту въ высшей степени, опредѣлилъ двухъ великолѣпныхъ лакеевъ, завелъ щегольскихъ учениковъ, переодѣвался нѣсколько разъ въ день въ разные утренніе костюмы, завивался; занялся улучшеніемъ разныхъ манеръ, съ которыми принимать посѣтителей, занялся украшеніемъ всѣми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею пріятное впечатлѣніе на дамъ; однимъ словомъ, скоро нельзя было въ немъ вовсе узнать того скромнаго художника, который работалъ когда то незамѣтно въ своей лачужкѣ на Васильевскомъ островѣ. Объ художникахъ и объ искусствѣ онъ изъяснялся теперь рѣзко: утверждалъ, что прежнимъ художникамъ уже черезчуръ много приписано достоинства, что всѣ они, до Рафаэля, писали не фигуры, а селедки; что существуетъ только въ воображеніи разсматривателей мысль, будто бы видно въ нихъ присутствіе какой то святости; что самъ Рафаэль даже писалъ не все хорошо, и за многими произведеньями его удержалась только по преданію слава; что Микель-Анжелъ хвастунъ, потому что хотѣлъ только похвастать знаніемъ анатоміи; что граціозности въ немъ нѣтъ никакой, и что настоящаго блеска, силы кисти и колорита нужно искать только теперь, въ нынѣшнемъ вѣкѣ. Тутъ, натурально, невольнымъ образомъ доходило дѣло и до себя. „Нѣтъ, я не понимаю“, говорилъ онъ, „напряженья другихъ сидѣть и корпѣть за трудомъ: человѣкъ, который копается по нѣскольку мѣсяцевъ надъ картиною, по мнѣ, труженикъ, а не худож-

никъ; я не повѣрю, чтобы въ немъ былъ талантъ; геній творитъ смѣло, быстро. — Вотъ у меня", говорилъ онъ, обращаясь обыкновенно къ посѣтителямъ: „этотъ портретъ я написалъ въ два дни, эту головку въ одинъ день, это въ нѣсколько часовъ, это въ часъ съ небольшимъ. Нѣтъ, я... я, признаюсь, не признаю художествомъ того, что лѣпится строчка за строчкой; это ужъ ремесло, а не художество". Такъ разсказывалъ онъ своимъ посѣтителямъ, и посѣтители дивились силѣ и бойкости его кисти, издавали даже восклицанія, услышавъ, какъ быстро они производились, и потомъ пересказывали другъ другу: „Это талантъ, это истинный талантъ! Посмотрите, какъ онъ говоритъ, какъ блестятъ его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure".

Художнику было лестно слышать объ себѣ такіе слухи. Когда въ журналахъ появлялась печатная хвала ему, онъ радовался, какъ ребенокъ, хотя эта хвала была куплена имъ за свои же деньги. Онъ разносилъ такой печатный листокъ вездѣ и, будто бы не нарочно, показывалъ его знакомымъ и пріятелямъ, и это его тѣшило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоѣдать одни и тѣ же портреты и лица, которыхъ положенья и обороты сдѣлались ему заученными. Уже безъ большой охоты онъ писалъ ихъ, стараясь набросать только кое-какъ одну голову, а остальное давалъ доканчивать ученикамъ. Прежде онъ, все-таки, искалъ дать какое-нибудь новое положеніе, поразить силою, эффектомъ. Теперь и это становилось ему скучно. Умъ уставалъ придумывать и обдумывать. Это было ему не въ мочь, да и некогда: разсѣянная жизнь и общество, гдѣ онъ старался сыграть роль свѣтскаго человѣка, — все это уносило его далеко отъ труда и мыслей. Кисть его хладѣла и тупѣла, и онъ нечувстви-

тельно заключился въ однообразныя, опредѣленныя, давно изношенныя формы. Однообразныя, холодныя, вѣчно прибранныя и, такъ сказать, застегнутыя лица чиновниковъ, военныхъ и штатскихъ, не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолѣпныя драпировки, и сильныя движенія, и страсти. О группахъ, о художественной драмѣ, о высокой ея завязкѣ нечего было и говорить. Предъ нимъ были только мундиръ, да корсетъ, да фракъ, предъ которыми чувствуетъ холодъ художникъ, и падаетъ всякое воображеніе. Даже достоинствъ самыхъ обыкновенныхъ уже не было видно въ его произведеніяхъ, а между тѣмъ они все еще расходились, все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на послѣднія его работы. А нѣкоторые, знавшіе Чарткова прежде, не могли понять, какъ могъ исчезнуть въ немъ талантъ, котораго признаки оказались уже ярко въ немъ при самомъ началѣ, и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ угаснуть дарованье въ человѣкѣ, тогда какъ онъ только что достигнулъ еще полнаго развитія всѣхъ силъ своихъ.

Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художникъ. Уже онъ начиналъ достигать поры степенности ума и лѣтъ: сталъ толстѣть и видимо раздаваться въ ширину. Уже въ газетахъ и журналахъ читалъ онъ прилагательныя: „почтенный нашъ Андрей Петровичъ, заслуженный нашъ Андрей Петровичъ“. Уже стали ему предлагать по службѣ почетныя мѣста, приглашать на экзамены, въ комитеты. Уже онъ начиналъ, какъ всегда случается въ почетныя лѣта, брать сильно сторону Рафаэля и старинныхъ художниковъ, не потому, что убѣдился вполнѣ въ ихъ высокомъ достоинствѣ, но затѣмъ, чтобы колоть ими въ глаза молодыхъ художниковъ. Уже онъ начиналъ, по

обычаю всѣхъ, вступающихъ въ такія лѣта, укорять безъ изъятія всю молодежь въ безнравственности и дурномъ направленіи духа. Уже начиналъ онъ вѣрить, что все на свѣтѣ дѣлается просто, вдохновенья свыше нѣтъ, и все необходимо должно быть подвергнуто подъ одинъ строгій порядокъ аккуратности и однообразья. Однимъ словомъ, жизнь его уже коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходитъ до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣй въ его заманчивую музыку и мало-по-малу нечувствительно позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ дать наслажденья тому, кто укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достойномъ ея. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденьемъ, цѣлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ, и, какъ всякій, кому достается въ удѣлъ этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему, равнодушнымъ ко всему, кромѣ золота, безпричиннымъ скрягой, безпутнымъ собирателемъ, и уже готовъ былъ обратиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыхъ много попадается въ нашемъ безчувственномъ свѣтѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный жизни и сердца человѣкъ, которому кажутся они движущимися каменными гробами, съ мертвецомъ внутри, вмѣсто сердца. Но одно событіе сильно потрясло и разбудило весь его жизненный составъ.

Въ одинъ день увидѣлъ онъ на столѣ своемъ записку, въ которой Академія художествъ просила

его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенной душою труженика погрузился въ него всей душою своей, оторвался отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, гдѣ въ виду прекрасныхъ небесъ спѣетъ величавый разсадникъ искусствъ, — въ тотъ чудный Римъ, при имени котораго такъ полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Тамъ, какъ отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ неразвлекаемыя ничѣмъ занятья. Ему не было до того дѣла, толковали ли о его характерѣ, о его неумѣньи обращаться съ людьми, о несоблюденьи свѣтскихъ приличій, объ униженіи, которое онъ причинялъ званью художника своимъ скуднымъ, нещегольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердилась ли или нѣтъ на него его братья. Всѣмъ пренебрегъ онъ, все отдалъ искусству. Неутомимо посѣщалъ галлереи, по цѣлымъ часамъ застаивался передъ произведеньями великихъ мастеровъ, ловя и преслѣдуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчивалъ безъ того, чтобы не повѣрить себя нѣсколько разъ съ сими великими учителями и чтобы не прочесть въ ихъ созданьяхъ безмолвнаго и краснорѣчиваго себѣ совѣта. Онъ не входилъ въ шумныя бесѣды и споры; онъ не стоялъ ни за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавалъ должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было въ немъ прекрасно, и, наконецъ, оставилъ себѣ въ учители одного божественнаго Рафаэля, — подобно, какъ великій поэтъ-художникъ, перечитавшій много всякихъ твореній, исполненныхъ многихъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставлялъ, наконецъ, себѣ настоль-

ною книгой одну только „Иліаду“ Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и нѣтъ ничего, что бы не отразилось уже здѣсь въ такомъ глубокомъ и великомъ совершенствѣ. И зато вынесъ онъ изъ своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши въ залу, Чартковъ нашелъ уже цѣлую огромную толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ поспѣшилъ принять значительную физіогномію знатока и приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло предъ нимъ произведеніе художника. Скромно, божественно, невинно и просто, какъ геній, возносилось оно надъ всѣмъ. Казалось, небесныя фигуры, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Съ чувствомъ невольнаго изумленія созерцали знатоки новую невиданную кисть. Все тутъ, казалось, соединилось вмѣстѣ: изученье Рафаэля, отраженное въ высокомъ благородствѣ положеній, изученіе Корреджія, дышавшее въ окончательномъ совершенствѣ кисти. Но властительнѣй всего видна была сила созданья, уже заключенная въ душѣ самого художника. Послѣдній предметъ въ картинѣ былъ имъ проникнутъ; во всемъ постигнутъ законъ и внутренняя сила; вездѣ уловлена была эта плывучая округлость линій, заключенная въ природѣ, которую видитъ только одинъ глазъ художника-создателя и которая выходитъ углами у копіиста. Видно было, какъ все, извлеченное изъ внѣшняго міра, художникъ заключилъ сперва себѣ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной пѣснью. И стало ясно даже непосвященнымъ, ка-

кая неизмѣримая пропасть существуетъ между созданьемъ и простой копіей съ природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты всѣ, вперившіе глаза на картину — ни шелеста, ни звука; а картина между тѣмъ ежеминутно казалась выше и выше: свѣтлѣй и чудеснѣй отдѣлялась ото всего и вся превратилась, наконецъ, въ одинъ мигъ, плодъ налетѣвшей съ небесъ на художника мысли,— мигъ, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно только приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружившихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой то безмолвный гимнъ божественному произведенію.

Неподвижно, съ отверзтымъ ртомъ, стоялъ Чартковъ передъ картиною, и, наконецъ, когда мало-по-малу посѣтители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя; хотѣлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное, пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ, въ родѣ слѣдующаго: „Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта отъ художника; есть кое-что; видно, что хотѣлъ онъ выразить что то; однакоже, что касается до главнаго...“ и вслѣдъ за этимъ прибавить, разумѣется, такія похвалы, отъ которыхъ бы не поздоровилось никакому художнику; хотѣлъ это сдѣлать, но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту неподвижный и безчувственный стоялъ онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась

къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Съ очей его вдругъ слетѣла повязка. Боже! и погубить такъ безжалостно лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ быть, теплившагося въ груди, можетъ быть, развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ быть, такъ же исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту разомъ и вдругъ ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ; весь обратился онъ въ одно желаніе и загорѣлся одною мыслью: ему хотѣлось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывался неправильностію и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу постепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Досада его проникла. Онъ велѣлъ вынесть прочь изъ своей мастерской всѣ послѣднія произведенья, всѣ безжизненныя модныя картинки, всѣ портреты гусаровъ, дамъ и статскихъ совѣтниковъ; заперся одинъ въ своей комнатѣ, не велѣлъ никого впускать, и весь погрузился въ работу. Какъ терпѣливый юноша, какъ ученикъ, сидѣлъ онъ за своимъ трудомъ. Но какъ безпощадно-неблагодарно было все то, что выходило изъ-подъ его кисти! На каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой незначащій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для

воображенія. Кисть невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ! „Но точно ли былъ у меня талантъ?“ сказалъ онъ, наконецъ: „не обманулся ли я?“ И, произнесши эти слова, онъ подошелъ къ прежнимъ своимъ произведеніямъ, которыя работались когда то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бѣдной лачужкѣ, на уединенномъ Васильевскомъ острову, вдали людей, изобилія и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ нимъ и сталъ внимательно разсматривать ихъ всѣ, и вмѣстѣ съ ними стала представать въ его памяти вся прежняя бѣдная жизнь его. „Да“, проговорилъ онъ отчаянно: „у меня былъ талантъ! Вездѣ, на всемъ видны его признаки и слѣды...“

Онъ остановился и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ: глаза его встрѣтились съ неподвижно-вперившимся на него глазами. Это былъ тотъ необыкновенный портретъ, который онъ купилъ на Щукиномъ дворѣ. Все время онъ былъ закрытъ, загроможденъ другими картинами и вовсе вышелъ у него изъ мыслей. Теперь же, какъ нарочно, когда были вынесены всѣ модные портреты и картины, наполнявшіе мастерскую, онъ выглянулъ наверхъ вмѣстѣ съ прежними произведеньями его молодости. Какъ вспомнилъ онъ всю странную его исторію, какъ вспомнилъ, что нѣкоторымъ образомъ онъ, этотъ странный портретъ, былъ причиной его превращенья, что денежный кладъ, полученный имъ такимъ чудеснымъ образомъ, родилъ въ немъ всѣ суетныя побужденья, погубившія его талантъ, — почти бѣшенство готово было ворваться къ нему въ душу. Онъ въ ту жъ минуту велѣлъ

вынести прочь ненавистный портретъ. Но душевное волненье оттого не умирилось: всѣ чувства и весь составъ были потрясены до дна, и онъ узналъ ту ужасную муку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ раждаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, — ту страшную муку, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ на ужасныя злодѣянія. Имъ овладѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Въ душѣ его возродилось самое адское намѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою цѣною, осторожно приносилъ въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопровождая смѣхомъ наслажденія. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотые мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый мститель. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаивался въ пріобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгнѣванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой то страшный колоритъ на него: вѣчная желчь присутствовала на лицѣ его. Хула

на міръ и отрицаніе изображалось само собой въ чертахъ его. Казалось, въ немъ олицетворился тотъ страшный демонъ, котораго идеально изобразилъ Пушкинъ. Кромѣ ядовитаго слова и вѣчнаго порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой то гарпіи, попадался онъ на улицѣ, и всѣ, даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избѣгнуть такой встрѣчи, говоря, что она достаточна, чтобы отравить потомъ весь день.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣла имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, — и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ двоился, четверился въ его глазахъ; всѣ стѣны казались увѣшаны портретами, вперившими въ него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядѣли съ потолка, съ полу; комната расширялась и продолжалась безконечно, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже нѣсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и издавалъ одни ужасные вопли и

непонятныя рѣчи. Наконецъ, жизнь его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ; но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

Часть II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъѣздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры [1], невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Такихъ меценатовъ, какъ извѣстно, теперь уже нѣтъ, и нашъ XIX-й вѣкъ давно уже пріобрѣлъ скучную физіогномію банкира, наслаждающагося своими милліонами только въ видѣ цифръ, выставляемыхъ на бумагѣ. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ Гостинаго двора и даже толкучаго рынка, въ синихъ нѣмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и выраженье лицъ были здѣсь какъ то тверже, вольнѣе и не означались той приторной услужливостью, которая такъ видна въ русскомъ купцѣ, когда онъ у себя въ лавкѣ передъ покупщикомъ. Тутъ они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были сво-

[1] Выраженіе Грибоѣдова („Горе отъ ума").

ими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимые посѣтители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать на немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитавшіе обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія отъ 12 до 1 часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотрѣть, чѣмъ что кончится, кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ, и за кѣмъ что останется. Множество картинъ было разбросано совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владѣтеля, можетъ быть, не имѣвшаго вовсе похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старыя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, кенкеты, — все было навалено, и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона страшно: въ немъ все отзывается чѣмъ то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ то мраченъ; окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ, и погребальный голосъ аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпѣвающаго панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь искусствамъ, — все это, кажется, усиливаетъ еще болѣе странную непріятность впечатлѣнья.

Аукціонъ, казалось, былъ въ самомъ разгарѣ. Цѣлая толпа порядочныхъ людей, сдвинувшись вмѣстѣ, хлопотала о чемъ то наперерывъ. Со всѣхъ сторонъ раздававшіяся слова: „рубль, рубль, рубль“, не давали времени аукціонисту повторять надбавляемую цѣну, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала изъ-за портрета, который не могъ не остановить всѣхъ, имѣвшихъ сколько-нибудь понятія въ живописи. Высокая кисть художника выказывалась въ немъ очевидно. Портретъ, повидимому, уже нѣсколько разъ былъ реставрированъ и поновленъ, и представлялъ смуглыя черты какого то азіатца въ широкомъ платьѣ, съ необыкновеннымъ, страннымъ выраженьемъ въ лицѣ; но болѣе всего обступившіе были поражены необыкновенной живостью глазъ. Чѣмъ болѣе всматривались въ нихъ, тѣмъ болѣе они, казалось, устремлялись каждому внутрь. Эта странность, этотъ необыкновенный фокусъ художника заняли вниманье почти всѣхъ. Много уже изъ состязавшихся о немъ отступились, потому что цѣну набили неимовѣрную. Остались только два извѣстные аристократа, любители живописи, не хотѣвшіе ни за что отказаться отъ такого пріобрѣтенія. Они горячились и набили бы, вѣроятно, цѣну до невозможности, еслибы вдругъ одинъ изъ тутъ же разсматривавшихъ не произнесъ:

— Позвольте мнѣ прекратить на время вашъ споръ: я, можетъ быть, болѣе, чѣмъ всякій другой, имѣю право на этотъ портретъ.

Слова эти вмигъ обратили на него вниманіе всѣхъ. Это былъ стройный человѣкъ, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными кудрями. Пріятное лицо, исполненное какой то свѣтлой беззаботности, показывало душу, чуждую всѣхъ томящихъ свѣтскихъ потрясеній; въ нарядѣ его не было никакихъ притязаній на моду: все показы-

вало въ немъ артиста. Это былъ, точно, художникъ Б., знаемый лично многими изъ присутствовавшихъ.

— Какъ ни странны вамъ кажутся слова мои, — продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее вниманіе, — но, если вы рѣшитесь выслушать небольшую исторію, можетъ быть, вы увидите, что я былъ въ правѣ произнести ихъ. Все меня увѣряетъ, что портретъ есть тотъ самый, котораго я ищу.

Весьма естественное любопытство загорѣлось почти на лицахъ всѣхъ, и самъ аукціонистъ, разинувъ ротъ, остановился съ поднятымъ въ рукѣ молоткомъ, приготовляясь слушать. Въ началѣ разсказа многіе обращались невольно глазами къ портрету, но потомъ всѣ вперились въ одного разсказчика, по мѣрѣ того, какъ разсказъ его становился занимательнѣй.

— Вамъ извѣстна та часть города, которую называютъ Коломною, — такъ онъ началъ. — Тутъ все не похоже на другія части Петербурга: тутъ не столица и не провинція; кажется, слышишь, перейдя въ коломенскія улицы, какъ оставляютъ тебя всякія молодыя желанья и порывы. Сюда не заходитъ будущее, здѣсь все тишина и отставка,— все, что осѣло отъ столичнаго движенья. Сюда переѣзжаютъ на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе себя здѣсь почти на всю жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на пять копеекъ кофе да на четыре сахару, и, наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который можно назвать однимъ словомъ пепельный, — людей, которые съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, глазами имѣютъ какую то мутную, пепельную наружность, какъ день, когда нѣтъ на

небѣ ни бури, ни солнца, а бываетъ, просто, ни то, ни се: сѣется туманъ и отнимаетъ всякую рѣзкость у предметовъ. Сюда можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, отставныхъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: идутъ, ни на что не обращая глазъ; молчатъ, ни о чемъ не думая. Въ комнатѣ ихъ не много добра, иногда просто штофъ чистой русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день безъ всякаго сильнаго прилива къ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій всѣмъ тротуаромъ, когда время перешло за двѣнадцать часовъ ночи.

— Жизнь въ Коломнѣ страхъ уединенна: рѣдко покажется карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры, которая громомъ, звономъ и бряканьемъ своимъ одна смущаетъ всеобщую тишину. Тутъ все пѣшеходы; извозчикъ весьма часто безъ сѣдока плетется, таща сѣно для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей въ мѣсяцъ, даже съ кофеемъ поутру. Вдовы, получающія пенсіонъ, тутъ самыя аристократическія фамиліи; онѣ ведутъ себя хорошо, метутъ чисто свою комнату, толкуютъ съ пріятельницами о дороговизнѣ говядины и капусты; при нихъ часто бываетъ молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стѣнные часы съ печально-постукивающимъ маятникомъ. Потомъ слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Коломны, народъ свободный, какъ всѣ артисты, живущіе для наслажденья. Они, сидя въ халатахъ, чинятъ пистолетъ, клеятъ изъ картона всякія вещицы, полезныя для дома, играютъ съ пришедшимъ пріяте-

лемъ въ шашки и карты, и такъ проводятъ утро, дѣлая почти то же ввечеру, съ присоединеньемъ кое-когда пунша. Послѣ этихъ тузовъ и аристократства Коломны слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь. Ихъ такъ же трудно поименовать, какъ исчислить то множество насѣкомыхъ, которое зараждается въ старомъ уксусѣ. Тутъ есть старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, которыя и молятся, и пьянствуютъ вмѣстѣ; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами: какъ муравьи таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка, съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копеекъ; словомъ, чисто самый несчастный осадокъ человѣчества, которому бы ни одинъ благодѣтельный политическій экономъ не нашелъ средствъ улучшить состояніе.

— Я для того привелъ ихъ, чтобы показать вамъ, какъ часто этотъ народъ находится въ необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибѣгать къ займамъ; и тогда поселяются между ними особаго рода ростовщики, снабжающіе небольшими суммами подъ заклады и за большіе проценты. Эти небольшіе ростовщики бываютъ въ нѣсколько разъ безчувственнѣй всякихъ большихъ, потому что возникаютъ среди бѣдности и ярко выказываемыхъ нищенскихъ лохмотьевъ, которыхъ не видитъ богатый ростовщикъ, имѣющій дѣло только съ пріѣзжающими въ каретахъ. И потому уже слишкомъ рано умираетъ въ душахъ ихъ всякое чувство человѣчества. Между такими ростовщиками былъ одинъ. . но не мѣшаетъ вамъ сказать, что происшествіе, о которомъ я принялся разсказывать, относится къ прошедшему вѣку, именно къ царствованію покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый видъ Коломны и жизнь внутри ея должны были значительно измѣниться. Итакъ, между ро-

стовщиками былъ одинъ — существо во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенное, поселившееся уже давно въ этой части города. Онъ ходилъ въ широкомъ азіятскомъ нарядѣ; темная краска лица указывала на южное его происхожденіе; но какой именно былъ онъ націи — индѣецъ, грекъ, персіянинъ — объ этомъ никто не могъ сказать навѣрно. Высокій, почти необыкновенный ростъ, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой то непостижимо-страшный цвѣтъ его, большіе, необыкновеннаго огня глаза, нависнувшія густыя брови отличали его сильно и рѣзко отъ всѣхъ пепельныхъ жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочіе маленькіе деревянные домики. Это было каменное строеніе въ родѣ тѣхъ, которыя когда то настроили вдоволь генуэзскіе купцы, съ неправильными, неравной величины окнами, съ желѣзными ставнями и засовами. Этотъ ростовщикъ отличался отъ другихъ ростовщиковъ уже тѣмъ, что могъ снабдить какою угодно суммою всѣхъ, начиная отъ нищей-старухи до расточительнаго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самые блестящіе экипажи, изъ оконъ которыхъ иногда глядѣла голова роскошной свѣтской дамы. Молва, по обыкновенью, разнесла, что желѣзные сундуки его полны безъ счету денегъ, драгоцѣнностей, брилліантовъ и всякихъ залоговъ, но что, однакоже, онъ вовсе не имѣлъ той корысти, какая свойственна другимъ ростовщикамъ. Онъ давалъ деньги охотно, распредѣляя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими то странными ариѳметическими выкладками заставлялъ ихъ восходить до непомѣрныхъ процентовъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорила молва. Но что страннѣе всего и что не могло не поразить многихъ, — это была странная судьба всѣхъ тѣхъ, которые получали отъ него деньги: всѣ они оканчивали жизнь несчастнымъ образомъ. Было ли это просто люд-

ское мнѣніе, нелѣпые суевѣрные толки, или съ умысломъ распущенные слухи — это осталось неизвѣстно. Но нѣсколько примѣровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ глазами всѣхъ, были живы и разительны.

— Изъ среды тогдашняго аристократства скоро обратилъ на себя глаза юноша лучшей фамиліи, отличившійся уже въ молодыхъ лѣтахъ на государственномъ поприщѣ, жаркій почитатель всего истиннаго, возвышеннаго, ревнитель всего, что породило искусство и умъ человѣка, пророчившій въ себѣ мецената. Скоро онъ былъ достойно отличенъ самой государыней, ввѣрившей ему значительное мѣсто, совершенно согласное съ собственными его требованьями, — мѣсто, гдѣ онъ могъ много произвести для наукъ и вообще для добра. Молодой вельможа окружилъ себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотѣлось всему дать работу, все поощрить. Онъ предпринялъ на собственный счетъ множество полезныхъ изданій, надавалъ множество заказовъ, объявилъ поощрительные призы, издержалъ на это кучи денегъ и, наконецъ, разстроился. Но, полный великодушнаго движенья, онъ не хотѣлъ отстать отъ своего дѣла, искалъ вездѣ занять и, наконецъ, обратился къ извѣстному ростовщику. Сдѣлавши значительный заемъ у него, этотъ человѣкъ въ непродолжительное время измѣнился совершенно: сталъ гонителемъ, преслѣдователемъ развивающагося ума и таланта. Во всѣхъ сочиненіяхъ сталъ видѣть дурную сторону, толковать криво каждое слово. Тогда на бѣду случилась французская революція. Это послужило ему вдругъ орудіемъ для всѣхъ возможныхъ гадостей. Онъ сталъ видѣть во всемъ какое-то революціонное направленіе, во всемъ ему чудились намеки. Онъ сдѣлался подозрительнымъ до такой степени, что началъ, наконецъ, подозрѣвать самого себя, сталъ сочинять ужасные, неспра-

ведливые доносы, надѣлалъ тьму несчастныхъ. Само собой разумѣется, что такіе поступки не могли не достигнуть, наконецъ, престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающаго вѣнценосцевъ, произнесла слова, которыя хотя не могли перейти къ намъ во всей точности, но глубокій смыслъ ихъ впечатлѣлся въ сердцахъ многихъ. Государыня замѣтила, что не подъ монархическимъ правленіемъ угнетаются высокія, благородныя движенья души, не тамъ презираются и преслѣдуются творенья ума, поэзіи и художествъ; что, напротивъ, одни монархи бывали ихъ покровителями; что Шекспиры, Мольеры процвѣтали подъ ихъ великодушной защитой, между тѣмъ, какъ Дантъ не могъ найти угла въ своей республиканской родинѣ; что истинные геніи возникаютъ во время блеска и могущества государей и государствъ, а не во время безобразныхъ политическихъ явленій и терроризмовъ республиканскихъ, которые доселѣ не подарили міру ни одного поэта; что нужно отличать поэтовъ-художниковъ, ибо одинъ только миръ и прекрасную тишину низводятъ они въ душу, а не волненье и ропотъ; что ученые, поэты и всѣ производители искусствъ суть перлы и брилліанты въ императорской коронѣ: ими красуется и получаетъ еще большій блескъ эпоха великаго государя. Словомъ, государыня, произнесшая эти слова, была въ ту минуту божественно-прекрасна. Я помню, что старики не могли объ этомъ говорить безъ слезъ. Въ дѣлѣ всѣ приняли участіе. Къ чести нашей народной гордости надобно замѣтить, что въ русскомъ сердцѣ всегда обитаетъ прекрасное чувство взять сторону угнетеннаго. Обманувшій довѣренность вельможа былъ наказанъ примѣрно и отставленъ отъ мѣста. Но наказаніе гораздо ужаснѣйшее читалъ онъ на лицахъ своихъ соотечественниковъ: это было рѣшительное и всеобщее пре-

зрѣніе. Нельзя разсказать, какъ страдала тщеславная душа: гордость, обманутое честолюбіе, разрушившіяся надежды — все соединилось вмѣстѣ, и въ припадкахъ страшнаго безумія и бѣшенства прервалась его жизнь.

— Другой разительный примѣръ произошелъ тоже въ виду всѣхъ: изъ красавицъ, которыми не бѣдна была тогда наша сѣверная столица, одна одержала рѣшительное первенство надъ всѣми. Это было какое то чудное сліянье нашей сѣверной красоты съ красотой полудня — брилліантъ, какой попадается на свѣтѣ рѣдко. Отецъ мой признавался, что никогда онъ не видывалъ во всю жизнь свою ничего подобнаго. Все, казалось, въ ней соединилось: богатство, умъ и душевная прелесть. Искателей была толпа, и въ числѣ ихъ замѣчательнѣе всѣхъ былъ князь Р., благороднѣйшій, лучшій изъ всѣхъ молодыхъ людей, прекраснѣйшій и лицомъ, и рыцарскими, великодушными порывами, высокій идеалъ романовъ и женщинъ, Грандисонъ[1] во всѣхъ отношеніяхъ. Князь Р. былъ влюбленъ страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему отвѣтомъ. Но родственникамъ показалась партія неровною. Родовыя вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилія была въ опалѣ, и плохое положенье дѣлъ его было извѣстно всѣмъ. Вдругъ князь оставляетъ на время столицу, будто бы съ тѣмъ, чтобы поправить свои дѣла, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блескомъ неимовѣрнымъ. Блистательные балы и праздники дѣлаютъ его извѣстнымъ двору. Отецъ красавицы становится благосклоннымъ, и въ городѣ разыгрывается интереснѣйшая свадьба. Откуда произошла такая перемѣна и неслыханное богатство жениха, этого не могъ навѣрно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что онъ вошелъ

[1] Идеальный герой романа Ричардсона.

въ какія то условія съ непостижимымъ ростовщикомъ и сдѣлалъ у него заемъ. Какъ бы то ни было, но свадьба заняла весь городъ; и женихъ, и невѣста были предметомъ общей зависти. Всѣмъ была извѣстна ихъ жаркая, постоянная любовь, долгія томленья, претерпѣнныя съ обѣихъ сторонъ, высокія достоинства обоихъ. Пламенныя женщины начертывали заранѣе то райское блаженство, которымъ будутъ наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. Въ одинъ годъ произошла страшная перемѣна въ мужѣ. Ядомъ подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился его дотолѣ благородный и прекрасный характеръ. Онъ сталъ тираномъ и мучителемъ жены своей, и, чего бы никто не могъ предвидѣть, прибѣгнулъ къ самымъ безчеловѣчнымъ поступкамъ, даже побоямъ. Въ одинъ годъ никто не могъ узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорныхъ поклонниковъ. Наконецъ, не въ силахъ будучи выносить долѣе тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводѣ. Мужъ пришелъ въ бѣшенство при одной мысли о томъ. Въ первомъ движеньи неистовства, ворвался онъ къ ней въ комнату съ ножомъ и, безъ сомнѣнія, закололъ бы ее тутъ же, еслибы его не схватили и не удержали. Въ порывѣ изступленья и отчаянья, онъ обратилъ ножъ на себя — и въ ужаснѣйшихъ мукахъ окончилъ жизнь.

— Кромѣ этихъ двухъ примѣровъ, совершившихся въ глазахъ всего общества, разсказывали множество случившихся въ низшихъ классахъ, которые почти всѣ имѣли ужасный конецъ. Тамъ честный, трезвый человѣкъ сдѣлался пьяницей; тамъ купеческій приказчикъ обворовывалъ своего хозяина; тамъ извозчикъ, возившій нѣсколько лѣтъ честно, за грошъ зарѣзалъ сѣдока. Нельзя, чтобы такія происшествія, разсказываемыя иногда не безъ прибавленій, не навели родъ какого то невольнаго

ужаса на скромныхъ обитателей Коломны. Никто не сомнѣвался о присутствіи нечистой силы въ этомъ человѣкѣ. Говорили, что онъ предлагалъ такія условія, отъ которыхъ дыбомъ подымались волоса и которыхъ никогда потомъ не посмѣлъ несчастный передавать другому; что деньги его имѣютъ прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носятъ какіе то странные значки... словомъ, много было о немъ всякихъ нелѣпыхъ толковъ. И замѣчательно то, что все это коломенское населеніе, весь этотъ міръ бѣдныхъ старухъ, мелкихъ чиновниковъ, мелкихъ артистовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпѣть и выносить послѣднюю крайность, чѣмъ обратиться къ страшному ростовщику; находили даже околѣвшихъ отъ голода старухъ, которыя лучше соглашались умертвить свое тѣло, чѣмъ погубить душу. Встрѣчаясь съ нимъ на улицѣ, невольно чувствовали страхъ. Пѣшеходъ осторожно пятился и долго еще озирался послѣ того назадъ, слѣдя пропадавшую вдали его непомѣрно высокую фигуру. Въ одномъ уже образѣ было столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы невольно приписать ему сверхестественное существованіе. Эти сильныя черты, врѣзанныя такъ глубоко, какъ не случается у человѣка; этотъ горячій, бронзовый цвѣтъ лица; эта непомѣрная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самыя широкія складки его азіятской одежды, — все, казалось, какъ будто говорило, что предъ страстями, двигавшимися въ этомъ тѣлѣ, были блѣдны всѣ страсти другихъ людей. Отецъ мой всякій разъ останавливался неподвижно, когда встрѣчалъ его, и всякій разъ не могъ удержаться, чтобы не произнести: „Дьяволъ, совершенный дьяволъ!“ Но надобно васъ поскорѣе познакомить съ моимъ отцомъ, который, между прочимъ, есть настоящій сюжетъ этой исторіи.

— Отецъ мой былъ человѣкъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало, — одно изъ тѣхъ чудъ, которыхъ извергаетъ изъ непочатаго лона своего только одна Русь, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедшій, по причинамъ, можетъ быть, неизвѣстнымъ ему самому, одной только указанной изъ души дорогою: одно изъ тѣхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники честятъ обиднымъ словомъ „невѣжи“, и которые, не охлаждаясь отъ охуленій и собственныхъ неудачъ, получаютъ только новыя рвенья и силы и уже далеко въ душѣ своей уходятъ отъ тѣхъ произведеній, за которыя получили титло невѣжи. Высокимъ внутреннимъ инстинктомъ почуялъ онъ присутствіе мысли въ каждомъ предметѣ; постигнулъ самъ собой истинное значеніе слова: „историческая живопись“; постигнулъ, почему простую головку, простой портретъ Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, Тиціана, Корреджіо можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина историческаго содержанія все-таки будетъ tableau de genre, несмотря на всѣ притязанія художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убѣжденье обратили кисть его къ христіанскимъ предметамъ, высшей и послѣдней ступени высокаго. У него не было честолюбія или раздражительности, столь неотлучной отъ характера многихъ художниковъ. Это былъ твердый характеръ, честный, прямой человѣкъ, даже грубый, покрытый снаружи нѣсколько черствой корою, не безъ нѣкоторой гордости въ душѣ, отзывавшійся о людяхъ вмѣстѣ и снисходительно, и рѣзко.

— Что на нихъ глядѣть?— обыкновенно говорилъ онъ: — вѣдь я не для нихъ работаю. Не въ гостиную понесу я мои картины. Кто пойметъ меня — по-

благодаритъ; не пойметъ — все-таки помолится Богу. Свѣтскаго человѣка нечего винить, что онъ не смыслитъ живописи: зато онъ смыслитъ въ картахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ винѣ, въ лошадяхъ — зачѣмъ знать больше барину? Еще, пожалуй, какъ попробуетъ того да другого, да пойдетъ умничать, тогда и житья отъ него не будетъ! Всякому свое, всякій пусть занимается своимъ. По мнѣ, ужъ лучше тотъ человѣкъ, который говоритъ прямо, что онъ не знаетъ толку, чѣмъ тотъ, который лицемѣритъ: говоритъ, будто бы знаетъ то, чего не знаетъ, и только гадитъ да портитъ.

— Онъ работалъ за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кромѣ того, онъ ни въ какомъ случаѣ не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бѣдному художнику; вѣровалъ простой, благочестивой вѣрою предковъ, и оттого, можетъ быть, на изображенныхъ имъ лицахъ являлось само собою то высокое выраженье, до котораго не могли докопаться блестящіе таланты. Наконецъ, постоянствомъ своего труда и неуклонностью начертаннаго себѣ пути онъ сталъ даже пріобрѣтать уваженье со стороны тѣхъ, которые честили его невѣжей и доморощеннымъ самоучкой. Ему давали безпрестанные заказы въ церкви — и работа у него не переводилась. Одна изъ работъ заняла его сильно. Не помню уже, въ чемъ именно состоялъ сюжетъ ея, знаю только то — на картинѣ нужно было помѣстить духа тьмы. Долго думалъ онъ надъ тѣмъ, какой дать ему образъ: ему хотѣлось осуществить въ лицѣ его все тяжелое, гнетущее человѣка. При такихъ размышленіяхъ иногда проносился въ головѣ его образъ таинственнаго ростовщика, и онъ думалъ невольно: „Вотъ бы съ кого мнѣ слѣдовало написать дьявола!“ Судите же объ его изумленіи, когда одинъ разъ, работая въ своей мастерской

услышалъ онъ стукъ въ дверь, и вслѣдъ за тѣмъ прямо вошелъ къ нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать какой то внутренней дрожи, которая пробѣжала невольно по его тѣлу.

— Ты художникъ? — сказалъ онъ безъ всякихъ церемоній моему отцу.

— Художникъ, — сказалъ отецъ въ недоумѣньи, ожидая, что будетъ далѣе.

— Хорошо. Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ быть, скоро умру, дѣтей у меня нѣтъ; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портретъ, чтобы былъ совершенно, какъ живой?

Отецъ мой подумалъ: „Чего лучше? онъ самъ просится въ дьяволы ко мнѣ на картину“. Далъ слово. Они уговорились во времени и цѣнѣ, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. Высокій дворъ, собаки, желѣзныя двери и затворы, дугообразныя окна, сундуки, покрытые странными коврами и, наконецъ, самъ необыкновенный хозяинъ, сѣвшій неподвижно передъ нимъ, — все это произвело на него странное впечатлѣнье. Окна, какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу такъ, что давали свѣтъ только съ одной верхушки. „Чортъ побери, какъ теперь хорошо освѣтилось его лицо!“ сказалъ онъ про себя, и принялся жадно писать, какъ бы опасаясь, чтобы какъ-нибудь не исчезло счастливое освѣщенье. „Экая сила!“ повторялъ онъ про себя: „если я хотя вполовину изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убьетъ всѣхъ моихъ святыхъ и ангеловъ: они поблѣднѣютъ предъ нимъ. Какая дьявольская сила! онъ у меня, просто, выскочитъ изъ полотна, если только хоть немного буду вѣренъ натурѣ. Какія необыкновенныя черты!“ повторялъ онъ безпрестанно, усугубляя рвенье, и уже видѣлъ самъ, какъ стали переходить на полотно нѣкоторыя черты. Но чѣмъ болѣе онъ приближался къ

нимъ, тѣмъ болѣе чувствовалъ какое то тягостное, тревожное чувство, непонятное себѣ самому. Однакоже, несмотря на то, онъ положилъ себѣ преслѣдовать съ буквальною точностью всякую незамѣтную черту и выраженье. Прежде всего занялся онъ отдѣлкою глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать ихъ такъ, какъ были въ натурѣ. Однакоже, во что бы то ни стало, онъ рѣшился доискаться въ нихъ послѣдней мелкой черты и оттѣнка, постигнуть ихъ тайну... Но какъ только началъ онъ входить и углубляться въ нихъ кистью, въ душѣ его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что онъ долженъ былъ на нѣсколько времени бросить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ, уже не могъ онъ болѣе выносить: онъ чувствовалъ, что эти глаза вонзились ему въ душу и производили въ ней тревогу непостижимую. На другой, на третій день это было еще сильнѣе. Ему сдѣлалось страшно. Онъ бросилъ кисть и сказалъ наотрѣзъ, что не можетъ болѣе писать съ него. Надобно было видѣть, какъ измѣнился при этихъ словахъ страшный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и молилъ кончить портретъ, говоря, что отъ этого зависитъ судьба его и существованье въ мірѣ; что уже онъ тронулъ своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ вѣрно, жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретѣ; что онъ чрезъ то не умретъ совершенно; что ему нужно присутствовать въ мірѣ. Отецъ мой почувствовалъ ужасъ отъ такихъ словъ: они ему показались до того странны и страшны, что онъ бросилъ и кисти, и палитру, и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.

— Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а по утру онъ получилъ отъ ростовщика портретъ, который принесла ему какая то женщина, единственное существо, бывшее у него въ

услугахъ, объявившая тутъ же, что хозяинъ не хочетъ портрета, не даетъ за него ничего и присылаетъ назадъ. Ввечеру того же дни узналъ онъ, что ростовщикъ умеръ, и что собираются уже хоронить его по обрядамъ его религіи. Все это казалось ему неизъяснимо-странно. А между тѣмъ съ этого времени оказалась въ характерѣ его ощутительная перемѣна: онъ чувствовалъ неспокойное, тревожное состояніе, которому самъ не могъ понять причины, и скоро сдѣлалъ онъ такой поступокъ, котораго бы никто не могъ отъ него ожидать. Съ нѣкотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали привлекать вниманіе небольшого круга знатоковъ и любителей. Отецъ мой всегда видѣлъ въ немъ талантъ и оказывалъ ему за то свое особенное расположенье. Вдругъ почувствовалъ онъ къ нему зависть. Всеобщее участіе и толки о немъ сдѣлались ему невыносимы. Наконецъ, къ довершенью досады, узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. „Нѣтъ, не дамъ же молокососу восторжествовать!“ говорилъ онъ: „рано, братъ, вздумалъ стариковъ сажать въ грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вотъ мы увидимъ, кто кого скорѣе посадитъ въ грязь“. И прямодушный, чистый въ душѣ человѣкъ употребилъ интриги и происки, которыми дотолѣ всегда гнушался; добился, наконецъ, того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ, и другіе художники могли войти также съ своими работами, послѣ чего заперся онъ въ свою комнату и съ жаромъ принялся за кисть. Казалось, всѣ свои силы, всего себя хотѣлъ онъ сюда собрать. И, точно, это вышло одно изъ лучшихъ его произведеній. Никто не сомнѣвался, чтобы не за нимъ осталось первенство. Картины были представлены, и всѣ прочія показались предъ нею, какъ ночь предъ днемъ. Какъ вдругъ одинъ изъ присутствующихъ

членовъ, если не ошибаюсь, духовная особа, сдѣлалъ замѣчаніе, поразившее всѣхъ.

— Въ картинѣ художника, точно, есть много таланта, — сказалъ онъ: — но нѣтъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что то демонское въ глазахъ, какъ будто бы рукою художника водило нечистое чувство.

— Всѣ взглянули и не могли не убѣдиться въ истинѣ этихъ словъ. Отецъ мой бросился впередъ къ своей картинѣ, какъ бы съ тѣмъ, чтобы повѣрить самому такое обидное замѣчаніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что онъ всѣмъ почти фигурамъ придалъ глаза ростовщика. Они такъ глядѣли демонски-сокрушительно, что онъ самъ невольно вздрогнулъ. Картина была отвергнута, и онъ долженъ былъ, къ неописанной своей досадѣ, услышать, что первенство осталось за его ученикомъ. Невозможно было описать того бѣшенства, съ которымъ онъ возвратился домой. Онъ чуть не прибилъ мать мою, разогналъ дѣтей, переломалъ кисти и мольбертъ, схватилъ со стѣны портретъ ростовщика, потребовалъ ножъ и велѣлъ разложить огонь въ каминѣ, намѣреваясь изрѣзать его въ куски и сжечь. На этомъ движеньи засталъ его вошедшій въ комнату пріятель, живописецъ, какъ и онъ, весельчакъ, всегда довольный собой, не заносившійся никакими отдаленными желаніями, работавшій весело все, что̀ попадалось, и еще веселѣй того принимавшійся за обѣдъ и пирушку.

— Что̀ ты дѣлаешь? что̀ собираешься жечь? — сказалъ онъ и подошелъ къ портрету. — Помилуй, это одно изъ самыхъ лучшихъ твоихъ произведеній. Это ростовщикъ, который недавно умеръ; да это совершеннѣйшая вещь. Ты ему просто попалъ не въ бровь, а въ самые глаза залѣзъ. Такъ въ жизни никогда не глядѣли глаза, какъ они глядятъ у тебя.

— А вотъ я посмотрю, какъ они будутъ гля-

дѣть въ огнѣ! — сказалъ отецъ, сдѣлавши движенье швырнуть портретъ въ каминъ.

— Остановись, ради Бога! — сказалъ пріятель, удержавъ его: — отдай его ужъ лучше мнѣ, если онъ тебѣ до такой степени колетъ глазъ. — Отецъ сначала упорствовалъ, наконецъ, согласился, и весельчакъ, чрезвычайно довольный своимъ пріобрѣтеньемъ, утащилъ портретъ съ собою.

— По уходѣ его, отецъ мой вдругъ почувствовалъ себя спокойнѣе. Точно, какъ будто бы вмѣстѣ съ портретомъ свалилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемѣнѣ своего характера. Разсмотрѣвши поступокъ свой, онъ опечалился душою и, не безъ внутренней скорби, произнесъ: „Нѣтъ, это Богъ наказалъ меня; картина моя подѣломъ понесла посрамленье. Она была замышлена съ тѣмъ, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться въ ней“. Онъ немедленно отправился искать бывшаго ученика своего, обнялъ его крѣпко, просилъ у него прощенья и старался, сколько могъ, загладить предъ нимъ вину свою. Работы его вновь потекли попрежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лицѣ. Онъ больше молился, чаще бывалъ молчаливъ и не выражался такъ рѣзко о людяхъ; самая грубая наружность его характера какъ то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще болѣе потрясло его. Онъ уже давно не видался съ товарищемъ своимъ, выпросившимъ у него портретъ. Уже собирался было идти его провѣдать, какъ вдругъ онъ самъ вошелъ неожиданно въ его комнату. Послѣ нѣсколькихъ словъ и вопросовъ съ обѣихъ сторонъ, онъ сказалъ:

— Ну, братъ, не даромъ ты хотѣлъ сжечь портретъ. Чортъ его побери, въ немъ есть что то

страшное... Я вѣдьмамъ не вѣрю, но, воля твоя, въ немъ сидитъ нечистая сила...

— Какъ? — сказалъ отецъ мой.

— А такъ, что съ тѣхъ поръ, какъ повѣсилъ я къ себѣ его въ комнату, почувствовалъ тоску такую... точно, какъ будто бы хотѣлъ кого то зарѣзать. Въ жизнь мою я не зналъ, что такое безсонница, а теперь испыталъ не только безсонницу, но сны такіе... я и самъ не умѣю сказать, сны ли это или что̀ другое: точно домовой тебя душитъ, и все мерещится проклятый старикъ. Однимъ словомъ, не могу разсказать тебѣ моего состоянія. Подобнаго со мной никогда не бывало. Я бродилъ, какъ шальной, всѣ эти дни: чувствовалъ какую то боязнь, непріятное ожиданье чего то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго, искренняго слова; точно, какъ будто возлѣ меня сидитъ шпіонъ какой-нибудь. И только съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ портретъ племяннику, который напросился на него, почувствовалъ, что съ меня вдругъ будто какой то камень свалился съ плечъ: вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну, братъ, состряпалъ ты чорта!

— Во время этого разсказа отецъ мой слушалъ его съ неразвлекаемымъ вниманіемъ и, наконецъ, спросилъ:

— И портретъ теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержалъ! — сказалъ весельчакъ: — знать, душа самого ростовщика переселилась въ него: онъ выскакиваетъ изъ рамъ, расхаживаетъ по комнатѣ, и то, что̀ разсказываетъ племянникъ, просто уму непонятно. Я бы принялъ его за сумасшедшаго, еслибы отчасти не испыталъ самъ. Онъ его продалъ какому то собирателю картинъ, да и тотъ не вынесъ его и тоже кому то сбылъ съ рукъ.

— Этотъ разсказъ произвелъ сильное впечатлѣ-

нье на моего отца. Онъ задумался не въ шутку, впалъ въ ипохондрію и, наконецъ, совершенно увѣрился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ орудіемъ, что часть жизни ростовщика перешла на самомъ дѣлѣ какъ-нибудь въ портретъ и тревожитъ теперь людей, внушая бѣсовскія побужденія, совращая художника съ пути, порождая страшныя терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившихся вслѣдъ за тѣмъ несчастія, три внезапныя смерти: жены, дочери и малолѣтняго сына, почелъ онъ небесною казнью себѣ и рѣшился непремѣнно оставить свѣтъ. Какъ только минуло мнѣ девять лѣтъ, онъ помѣстилъ меня въ Академію художествъ и, расплатясь съ своими должниками [1], удалился въ одну уединенную обитель, гдѣ скоро постригся въ монахи. Тамъ строгостью жизни, неусыпнымъ соблюденьемъ всѣхъ монастырскихъ правилъ онъ изумилъ всю братью. Настоятель монастыря, узнавши объ искусствѣ его кисти, требовалъ отъ него написать главный образъ въ церковь. Но смиренный братъ сказалъ наотрѣзъ, что онъ недостоинъ взяться за кисть, что она осквернена, что трудомъ и великими жертвами онъ долженъ прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить къ такому дѣлу. Его не хотѣли принуждать. Онъ самъ увеличивалъ для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ, уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Онъ удалился, съ благословенья настоятеля, въ пустынь, чтобъ быть совершенно одному. Тамъ изъ древесныхъ вѣтвей выстроилъ онъ себѣ келью, питался одними сырыми кореньями, таскалъ на себѣ камни съ мѣста на мѣсто, стоялъ отъ восхода до захода солнечнаго на одномъ и томъ же мѣстѣ съ подъятыми къ небу руками, читая безпрерывно

[1] Кредиторами.

молитвы, — словомъ, изыскивалъ, казалось, всѣ возможныя степени терпѣнья и того непостижимаго самоотверженья, которому примѣры можно развѣ найти въ однихъ только житіяхъ святыхъ. Такимъ образомъ, долго, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, изнурялъ онъ свое тѣло, подкрѣпляя его въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо настоятелю:

— Теперь я готовъ; если Богу угодно, я совершу свой трудъ.

— Предметъ, взятый имъ, было Рождество Іисуса. Цѣлый годъ сидѣлъ онъ за нимъ, не выходя изъ своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь безпрестанно. По истеченіи года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имѣли большихъ свѣдѣній въ живописи, но всѣ были поражены необыкновенной святостью фигуръ. Чувство божественнаго смиренья и кротости въ лицѣ Пречистой Матери, склонившейся надъ Младенцемъ, глубокій разумъ въ очахъ Божественнаго Младенца, какъ будто уже что то прозрѣвающихъ вдали, торжественное молчанье пораженныхъ божественнымъ чудомъ царей, повергнувшихся къ ногамъ Его, и, наконецъ, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало въ такой согласной силѣ и могуществѣ красоты, что впечатлѣнье было магическое. Вся братья поверглась на колѣни предъ новымъ образомъ, и умиленный настоятель произнесъ:

— Нѣтъ, нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небесъ почило на трудѣ твоемъ.

— Въ это время окончилъ я свое ученье въ Академіи, получилъ золотую медаль и вмѣстѣ съ нею радостную надежду на путешествіе въ Италію —

лучшую мечту двадцатилѣтняго художника. Мнѣ оставалось только проститься съ моимъ отцомъ, съ которымъ уже двѣнадцать лѣтъ какъ я разстался. Признаюсь, даже самый образъ его давно исчезнулъ изъ моей памяти. Я уже нѣсколько наслышался о суровой святости его жизни и заранѣе воображалъ себѣ встрѣтить черствую наружность отшельника, чуждаго всему въ мірѣ, кромѣ своей кельи и молитвы, изнуреннаго, высохшаго отъ вѣчнаго поста и бдѣнья. Но какъ же я изумился, когда предсталъ предо мною прекрасный, почти божественный старецъ! И слѣдовъ изможденія не было замѣтно на его лицѣ: оно сіяло свѣтлостью небеснаго веселья. Бѣлая, какъ снѣгъ, борода и тонкіе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвѣта разсыпались картинно по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самаго вервія, которымъ опоясывалась его убогая монашеская одежда. Но болѣе всего изумительно было для меня услышать изъ устъ его такія слова и мысли объ искусствѣ, которыя, признаюсь, я долго буду хранить въ душѣ и желалъ бы искренно, чтобы всякій мой собратъ сдѣлалъ то же.

— Я ждалъ тебя, сынъ мой, — сказалъ онъ, когда я подошелъ къ его благословенью. — Тебѣ предстоитъ путь, по которому отнынѣ потечетъ жизнь твоя. Путь твой чистъ — не совратись съ него. У тебя есть талантъ; талантъ есть драгоцѣннѣйшій даръ Бога — не погуби его. Изслѣдуй, изучай все, что̀ не видишь, покори все кисти; но во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаженъ избранникъ, владѣющій ею. Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ. Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и презрѣнное

уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души... Намекъ о божественномъ, небесномъ раѣ заключенъ для человѣка въ искусствѣ, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше всякаго волненья мірского; во сколько разъ творенье выше разрушенья; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью свѣтлой души своей выше всѣхъ несмѣтныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны, — во столько разъ выше всего, что̀ ни есть на свѣтѣ, высокое созданье искусства. Все принеси ему въ жертву и возлюби его всей страстью, — не страстью, дышащею земнымъ вожделѣньемъ, но тихой, небесной страстью: безъ нея не властенъ человѣкъ возвыситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ звуковъ успокоенія; ибо для успокоенья и примиренья всѣхъ нисходитъ въ міръ высокое созданіе искусства. Оно не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты... — Онъ остановился, и я замѣтилъ, что вдругъ омрачился свѣтлый ликъ его, какъ будто бы на него набѣжало какое то мгновенное облако. — Есть одно происшествіе въ моей жизни, — сказалъ онъ. — Донынѣ я не могу понять, кто былъ тотъ странный образъ, съ котораго я написалъ изображеніе. Это было точно какое то дьявольское явленіе. Я знаю, свѣтъ отвергаетъ существованье дьявола, и потому не буду говорить о немъ; но скажу только, что я съ отвращеніемъ писалъ его: я не чувствовалъ въ то время никакой любви къ своей работѣ. Насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которыя объемлютъ всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства художника, ибо художникъ и въ тревогѣ дышитъ покоемъ. Мнѣ говорили, что

портретъ этотъ ходитъ по рукамъ и разсѣваетъ томительныя впечатлѣнія, зараждая въ художникѣ чувства зависти, мрачной ненависти къ брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранитъ тебя Всевышній отъ сихъ страстей! Нѣтъ ихъ страшнѣе. Лучше вынести всю горечь возможныхъ гоненій, чѣмъ нанести кому-либо одну тѣнь гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человѣку, который вышелъ изъ дому въ свѣтлой праздничной одеждѣ, стоитъ только быть обрызнуту одною каплей грязи изъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступилъ его и указываетъ на него пальцемъ, и толкуетъ объ его неряшествѣ, тогда какъ тотъ же народъ не замѣчаетъ множества пятенъ на другихъ проходящихъ, одѣтыхъ въ будничныя одежды, ибо на будничныхъ одеждахъ не замѣчаются пятна. —

— Онъ благословилъ меня и обнялъ. Никогда въ жизни не былъ я такъ возвышенно подвигнутъ. Благоговѣйно, болѣе, чѣмъ съ чувствомъ сына, прильнулъ я къ груди его и поцѣловалъ въ разсыпавшіеся его серебряные волосы.

— Слеза блеснула въ его глазахъ. — Исполни, сынъ мой, одну мою просьбу, — сказалъ онъ мнѣ уже при самомъ разставаньи. — Можетъ быть, тебѣ случится увидать гдѣ-нибудь тотъ портретъ, о которомъ я говорилъ тебѣ, — ты его узнаешь вдругъ по необыкновеннымъ глазамъ и неестественному ихъ выраженію, — во что бы то ни было, истреби его... —

— Вы можете судить сами, могъ ли я не обѣщать клятвенно исполнить такую просьбу. Въ продолженіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ не случалось мнѣ встрѣтить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описаніе, сдѣланное моимъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукціонѣ...

Здѣсь художникъ, не договоривъ еще своей рѣчи, обратилъ глаза на стѣну съ тѣмъ, чтобы взглянуть еще разъ на портретъ. То же самое движеніе сдѣлала въ одинъ мигъ вся толпа слушавшихъ, ища глазами необыкновеннаго портрета. Но, къ величайшему изумленію, его уже не было на стѣнѣ. Невнятный говоръ и шумъ пробѣжалъ по всей толпѣ, и вслѣдъ затѣмъ послышались явственно слова: „украденъ“. Кто то успѣлъ уже стащить его, воспользовавшись вниманьемъ слушателей, увлеченныхъ разсказомъ. Долго всѣ присутствовавшіе оставались въ недоумѣніи, не зная, дѣйствительно ли они видѣли эти необыкновенные глаза, или же это была, просто, мечта, представшая только на мигъ глазамъ ихъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваньемъ старинныхъ картинъ.

Примѣчанія.

Арабески.

Какъ показываетъ самое названіе этого сборника, онъ отличается пестротою содержанія. Въ него вошли повѣсти, лекціи, педагогическія и научныя замѣтки 1830—1834 гг., приведенныя въ порядокъ и приготовленныя для печати во второй половинѣ 1834 г. Цензурное разрѣшеніе было дано 10 ноября 1834 г., но вышли въ свѣтъ „Арабески“ только въ первой половинѣ января слѣдующаго года.

14-го ноября 1834 г. Гоголь писалъ Погодину: „ты спрашиваешь, что я печатаю. Печатаю я всякую всячину — всѣ сочиненія и отрывки, и мысли, которыя меня иногда занимали. Между ними есть и историческія, извѣстныя и неизвѣстныя. Я прошу только тебя глядѣть на нихъ поснисходительнѣе: въ нихъ много есть молодого“. Посылая ему же и Максимовичу свои „Арабески“ (22 января 1835 г.), Гоголь писалъ: „посылаю тебѣ всякую всячину мою. Погладь ее и потрепли. Въ ней очень много есть дѣтскаго, и я поскорѣе и старался выбросить въ свѣтъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ выбросить изъ моей конторки все старое и, стряхнувшись, начать новую жизнь“. „Посылаю тебѣ сумбуръ, смѣсь всего, кашу, въ которой есть ли масло, суди самъ“.

Отрицательный отзывъ Бѣлинскаго объ ученыхъ статьяхъ „Арабесокъ“ парализуется словами его письма (1842 г.) къ Гоголю: „съ особенною любовью хочется мнѣ поговорить о милыхъ мнѣ „Арабескахъ“, тѣмъ болѣе, что я виноватъ передъ ними: во время оно я съ жестокою запальчивостью изрыгнулъ хулу на ваши въ „Арабескахъ“ статьи ученаго содержанія, не понимая, что тѣмъ изрыгаю хулу на духа. Онѣ были тогда для меня слишкомъ просты, а потому и неприступно высоки; притомъ же на мутномъ днѣ самолюбія безсознательно шевелилось желаніе блеснуть и безпристрастіемъ“ („Русская Старина“, 1889. I, 143—144).

Скульптура, живопись и музыка. Эта статья впервые была напечатана въ „Арабескахъ“. Приготовлена къ печати, по указанію Тихонравова, въ 1834 г.

О среднихъ вѣкахъ. Первоначально была напечатана въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ 1834 г., сентябрь, стр. 409—427, подъ заглавіемъ: „О среднихъ вѣкахъ. Вступительная лекція, читанная въ С.-Петербургскомъ Университетѣ Адъюнктъ-Профессоромъ Н. Гоголемъ“. Перепечатывая ее въ „Арабескахъ“, Гоголь уничтожилъ всѣ черты лекціоннаго характера. Идя навстрѣчу возможнымъ нападкамъ Погодина, Гоголь писалъ ему 14 декабря 1834 г.: „не гляди... на статью „О среднихъ вѣкахъ“ въ департаментскомъ журналѣ. Она сказана только такъ, чтобы сказать что-нибудь и только раззадорить нѣсколько въ слушателяхъ потребность узнать то, о чемъ еще нужно разсказать, что оно такое“.

Лекція была написана Гоголемъ, выучена наизусть и произнесена въ сентябрѣ 1834 г.

Черновыя ея напечатаны г. Михайловымъ: „Вновь найденныя рукописи Гоголя“, Спб., 1902, стр. 37—49.

Очень любопытны воспоминанія о ней Иваницкаго („Отеч. Зап.“, 1853, II, 120):

„Гоголь читалъ исторію среднихъ вѣковъ для студентовъ 2-го курса филологическаго отдѣленія. Началъ онъ въ сентябрѣ 1834, а окончилъ въ концѣ 1835 года. На первую лекцію онъ явился въ сопровожденіи инспектора студентовъ. Это было въ два часа. Гоголь вошелъ въ аудиторію, раскланялся съ нами и, въ ожиданіи ректора, началъ о чемъ то говорить съ инспекторомъ, стоя у окна. Замѣтно было, что онъ находился въ тревожномъ состояніи духа: вертѣлъ въ рукахъ шляпу, мялъ перчатку и какъ то недовѣрчиво посматривалъ на насъ. Наконецъ, подошелъ къ каѳедрѣ и, обратясь къ намъ, началъ объяснять, о чемъ намѣренъ онъ читать сегодня лекцію. Въ продолженіе этой коротенькой рѣчи онъ постепенно всходилъ по ступенямъ каѳедры: сперва всталъ на первую ступеньку, потомъ на вторую, потомъ на третью. Ясно, что онъ не довѣрялъ самъ себѣ и хотѣлъ сначала попробовать, какъ то онъ будетъ читать. Мнѣ кажется, однакожъ, что волненіе его происходило не отъ недостатка присутствія духа, а просто отъ слабости нервовъ, потому что въ то время, какъ лицо его непріятно блѣднѣло и принимало болѣзненное выраженіе, мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логически и въ самыхъ блестящихъ формахъ. Къ концу рѣчи Гоголь стоялъ уже на самой верхней ступенькѣ каѳедры и замѣтно одуше-

вился. Вотъ въ эту то минуту ему и начать бы лекцію, но вдругъ вошелъ ректоръ... Гоголь долженъ былъ оставить на минуту свой постъ, который занялъ такъ ловко, и даже, можно сказать, незамѣтно для самого себя. Ректоръ сказалъ ему нѣсколько привѣтствій, поздоровался со студентами и занялъ приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впалъ въ прежнее тревожное состояніе: опять лицо его поблѣднѣло и приняло болѣзненное выраженіе. Но медлить ужъ было нельзя: онъ взошелъ на каѳедру, и лекція началась... Не знаю, прошло ли и пять минутъ, какъ ужъ Гоголь овладѣлъ совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно слѣдить за его мыслью, которая летѣла и преломлялась, какъ молнія, освѣщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ мракѣ средневѣковой исторіи. Впрочемъ, вся эта лекція изъ слова въ слово напечатана въ „Арабескахъ", кажется, подъ названіемъ: „О характерѣ исторіи среднихъ вѣковъ". Ясно, что и въ этомъ случаѣ, не довѣряя самъ себѣ, Гоголь выучилъ наизусть предварительно написанную лекцію, и хотя во время чтенія одушевился и говорилъ совершенно свободно, но уже не могъ оторваться отъ затверженныхъ фразъ и потому не прибавилъ къ нимъ ни одного слова. Лекція продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышелъ изъ аудиторіи, мы окружили его въ сборной залѣ и просили, чтобы онъ далъ намъ эту лекцію въ рукописи. Гоголь сказалъ, что она у него набросана только вчернѣ, но что современемъ онъ обработаетъ ее и дастъ намъ; а потомъ прибавилъ: „На первый разъ я старался, господа, показать вамъ только главный характеръ исторіи среднихъ вѣковъ, въ слѣдующій же разъ мы примемся за самые факты и должны будемъ вооружиться для этого анатомическимъ ножомъ".

Послѣдующія лекціи были неудачны. По воспоминаніямъ проф. Васильева („Русская Бесѣда", 1856, III, 24—26), который, повидимому, смѣшалъ двѣ лекціи — вступительную и послѣдующую, объ Ал-Мамунѣ, „весь университетъ восхищался „Вечерами на хуторѣ" и съ любопытствомъ ожидалъ появленія на каѳедрѣ пасѣчника Рудого Панька. На первую лекцію навалили къ нему въ аудиторію всѣ факультеты. Изъ постороннихъ посѣтителей явились и Пушкинъ и, кажется, Жуковскій. Сконфузился нашъ пасѣчникъ, читалъ плохо и произвелъ весьма невыгодный для себя эффектъ. Этого впечатлѣнія не поправилъ онъ и на слѣдующихъ лекціяхъ. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Образованіемъ своимъ въ Нѣжинскомъ лицеѣ и дальнѣйшими потомъ за-

нятіями Гоголь нисколько не былъ приготовленъ читать университетскія лекціи исторіи; у него не было для этого ни истиннаго призванія, ни достаточной начитанности, ни даже средствъ пріобрѣсти ее, не говоря уже о совершенномъ отсутствіи ученыхъ пріемовъ и соотвѣтственнаго времени взгляда на науку. Какъ ни плохи были вообще слушатели Гоголя, однакоже, сразу поняли его несостоятельность. Въ такомъ положеніи оставался ему одинъ исходъ — удивить фразами, заговорить; но это было не въ натурѣ Гоголя, который нисколько не владѣлъ даромъ слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что послѣ трехъ-четырехъ лекцій студенты ходили въ аудиторію къ нему только для того ужъ, чтобы позабавиться надъ „маленько-сказочнымъ“ языкомъ преподавателя. Гоголь не могъ того не видѣть, самъ тотчасъ же созналъ свою неспособность, охладѣлъ къ дѣлу и еле-еле дотянулъ до окончанія учебнаго курса, то являясь на лекцію съ повязанной щекою въ свидѣтельство зубной боли, то пропуская ихъ за тою же болью. На годичный экзаменъ изъ читаннаго имъ Гоголь также пришелъ съ окутанною косынками головою, предоставилъ экзаменовать слушателей декану и ассистентамъ, а самъ молчалъ все время. Студенты, зная, какъ не твердъ онъ въ своемъ предметѣ, объяснили это молчаніе страхомъ его обнаружить въ чемъ-нибудь свое незнаніе... „Боится, что Шульгинъ (въ томъ же или предшествовавшемъ году поступившій въ университетъ на каѳедру новой исторіи) собьетъ его самого, такъ и притворяется, будто рта разинуть не можетъ“ — говорили насмѣшники, и, нѣтъ сомнѣнія, была доля правды въ словахъ ихъ: самъ еще недавно оставивъ студенческую скамью, сознававшій, какъ непрочно зданіе его исторической мудрости и робкій или недовѣрчивый по характеру, Гоголь весьма естественно могъ побаиваться прицѣпокъ такой ученой знаменитости, какою былъ тогда Шульгинъ, самимъ „Телеграфомъ“ провозглашаемый за „мыслящаго историка“; и вотъ, чтобы избавиться отъ позора, засѣвши не въ свои сани, незабвенный художникъ нашъ призналъ за безопаснѣйшее притвориться больнымъ. Вслѣдъ за тѣмъ экзаменомъ онъ оставилъ университетъ“.

Такія же впечатлѣнія о профессурѣ Гоголя остались и у Тургенева („Литературныя и житейскія воспоминанія“). „Я былъ однимъ изъ его слушателей въ 1835 г., когда онъ преподавалъ (!) исторію въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Это преподаваніе, правду сказать, происходило оригинальнымъ образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекцій непремѣнно пропускалъ двѣ: во-

вторыхъ, даже когда онъ появлялся на каѳедрѣ, онъ не говорилъ, а шепталъ что то несвязное, показывалъ намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ — и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены (и едва ли мы ошибались), что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи — и что г. Гоголь-Яновскій, нашъ профессоръ (онъ такъ именовался въ расписаніи лекцій), не имѣетъ ничего общаго съ писателемъ Гоголемъ, уже извѣстнымъ намъ, какъ авторъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета. онъ сидѣлъ, повязанный платкомъ, яко бы отъ зубной боли, съ совершенно убитой физіономіей, и не разѣвалъ рта. Спрашивалъ студентовъ за него проф. И. П. Шульгинъ. Какъ теперь вижу его худую, длиннополую фигуру съ двумя высоко торчавшими, въ видѣ ушей, концами чернаго шелковаго платка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія: онъ въ томъ же году подалъ въ отставку. Это не помѣшало ему, однако, воскликнуть: „непризнанный взошелъ я на каѳедру — и непризнанный схожу съ нея!“ — Онъ былъ рожденъ для того, чтобъ быть наставникомъ своихъ современниковъ, но только не съ каѳедры“.

Глава изъ историческаго романа. Первоначально была напечатана въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ въ 1831 г. (ценз. разрѣшеніе 18 декабря 1830 г.).

О преподаваніи всеобщей исторіи. Напечатана въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ 1834 (II, 189—209: „Планъ преподаванія всеобщей исторіи“). Хотя Гоголь датировалъ эту статью 1832 г., но цѣлый рядъ вполнѣ основательныхъ соображеній заставилъ Тихонравова (т. V, стр. 564—568) пріурочить ее къ слѣдующему году. „Она явилась, съ одной стороны, какъ результатъ занятій всеобщею исторіей, веденныхъ Гоголемъ въ 1833 году, съ другой, какъ оффиціозное profession de foi при предъявленіи кандидатуры на каѳедру всеобщей исторіи въ Кіевскомъ университетѣ, кандидатуры, возможность которой Гоголь вычиталъ изъ письма Максимовича, полученнаго имъ въ декабрѣ 1833 года“.

„Планъ“ былъ предназначенъ для представленія министру народнаго просвѣщенія Уварову. 23 декабря 1833 г. Гоголь пишетъ Пушкину: „во мнѣ живетъ увѣренность, что если я дождусь прочитать „Планъ“ мой, то въ глазахъ Уварова онъ меня отличитъ отъ толпы вялыхъ профессоровъ, которыми набиты университеты“.

„Присовокупленіе объ истинной религіи“ было сдѣлано подъ давленіемъ Уварова и Сербиновича (редак

тора „Ж. М. Н. Пр.“). Забѣгая напередъ, Гоголь въ письмѣ къ Погодину называетъ свой „Планъ“ „давно писаннымъ“. Дата „1832 г.“ — обычная у него мистификація: тѣ произведенія, въ успѣхѣ которыхъ онъ сомнѣвался, Гоголь обыкновенно выдавалъ за болѣе ранія, какъ бы вызывая къ нимъ снисхожденіе.

Портретъ. Первоначальная редакція „Портрета“ была напечатана въ „Арабескахъ“. Въ 1837 г. въ Римѣ Гоголь принялся за коренную переработку этой повѣсти, напечатанную у насъ въ приложеніи. Посылая ее Плетневу, Н. В. писалъ: „Посылаю вамъ повѣсть мою „Портретъ“. Она была напечатана въ „Арабескахъ“, но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее: вы увидите, что осталась одна лишь канва прежней повѣсти, что все вышито по ней вновь. Въ Римѣ я ее передѣлалъ вовсе или, лучше, написалъ вновь, вслѣдствіе сдѣланныхъ въ Петербургѣ замѣчаній“. Напечатана она была въ „Современникѣ“ 1842 г. (III, 1—92), съ такимъ примѣчаніемъ: „повѣсть эта была напечатана въ „Арабескахъ“. Но вслѣдствіе справедливыхъ замѣчаній была вскорѣ послѣ того передѣлана вся, и здѣсь помѣщается совершенно въ новомъ видѣ“.

Повѣсть, дѣйствительно, была переработана кореннымъ образомъ. Измѣнены были не только стиль, языкъ, но и основная идея произведенія.

Въ новой редакціи, прежде всего, ослабленъ элементъ чудеснаго (нѣтъ таинственнаго появленія портрета у Черткова и въ мастерской написавшаго его художника, откровенія святого живописцу, мистическихъ ожиданій антихриста). Гибельное вліяніе портрета раньше объяснялось тѣмъ, что на немъ былъ нарисованъ ростовщикъ-антихристъ; теперь — бездушною вѣрностью природѣ, насиліемъ надъ своимъ творчествомъ. Въ заново отдѣланномъ описаніи картины, поразившей Черткова, и наставленіяхъ стараго художника Гоголь выразилъ свои взгляды на процессъ художественнаго творчества и значеніе „презрѣннаго и ничтожнаго“ въ искусствѣ, какъ они сложились у него къ концу 30-хъ годовъ. Подобные же взгляды выражены имъ въ „Театральномъ разъѣздѣ“ и извѣстномъ лирическомъ мѣстѣ „Мертвыхъ Душъ“. По словамъ Тихонравова (II, 593), въ нихъ „Гоголь выступаетъ съ апологіею того новаго литературнаго направленія, во главѣ котораго стоялъ онъ самъ“; объясняетъ „значеніе и смыслъ своей поэтической дѣятельности, свой художественный идеалъ“. Начатая въ 1837 г., переработка „Портрета“ была закончена къ началу 1842 г.: 17 марта рукопись уже была отправлена Плетневу.

Отдѣльныя черты этой повѣсти (живые глаза портрета, его демоническій характеръ и т. д.) навѣяны „Мельмотомъ-Скитальцемъ“ Матюрена, переведеннымъ въ 1833 г. См. Шляпкинъ, „Гоголевскій сборникъ Русскаго Библіологическаго Общества“, С.-Петерб., 1902, стр. 66—69.

Оригиналомъ ростовщика Петрамихали послужилъ индійскій ростовщикъ Моджерамъ-Мотомаловъ, о которомъ разсказываетъ Каратыгинъ въ своихъ „Запискахъ“ (стр. 148 — 149. См. замѣтку г. Коробки въ „Литер. Вѣстникѣ“ 1904, I, стр. 20—23). Разсказъ его относится ко второй половинѣ 20-хъ годовъ XIX в. „Нѣкоторые петербургскіе старожилы, вѣроятно, и теперь еще помнятъ... извѣстнаго въ то время богатаго индѣйскаго ростовщика Моджерама-Мотомалова, который съ незапамятныхъ временъ поселился въ Петербургѣ и объяснялся по-русски довольно порядочно. Эту оригинальную личность можно было встрѣтить ежедневно на Невскомъ проспектѣ въ своемъ національномъ костюмѣ: широкій, темный балахонъ былъ надѣтъ у него на шелковомъ пестромъ халатѣ, подпоясанномъ блестящимъ кушакомъ; высокая баранья папаха, съ красной бархатной верхушкой, была обыкновенно заломана на затылокъ; бронзовое лицо его было татуировано разноцвѣтными красками; черные зрачки его, какъ угли, блистали на желтоватыхъ бѣлкахъ съ кровяными прижилками; черныя широкія брови, сросшіяся на самомъ переносьѣ, довершали красоту этого индійскаго набоба; въ правой рукѣ у него была постоянно длинная бамбуковая палка, съ большимъ костянымъ набалдашникомъ; а въ лѣвой — онъ держалъ перламутровыя и янтарныя четки. Онъ былъ также очень старъ, приземистъ и, ходя, пыхтѣлъ отъ своей безобразной тучности“.

Взглядъ на составленіе Малороссіи. Статья эта была напечатана въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ (1834, IV, 1—15), подъ заглавіемъ: „Отрывокъ изъ Исторіи Малороссіи. Томъ I, книга I, глава I“ и съ примѣчаніемъ: „Авторъ избралъ первую главу Исторіи Малороссіи для помѣщенія въ журналѣ, потому что она представляетъ нѣчто цѣлое и вмѣстѣ служитъ введеніемъ въ самую Исторію. Приложенія и ссылки отлагаются за недостаткомъ мѣста“. Обработана въ началѣ 1834 г.

Нѣсколько словъ о Пушкинѣ. По указанію Гоголя, начата въ 1832 г., обработана къ 1834 г. Въ рукописи было нѣсколько любопытныхъ мѣстъ, исключенныхъ при печатаніи: „Въ немъ въ такой же чистотѣ и утонченности, какъ ландшафтъ отражается на выпуклой поверхно-

сти зажигательнаго стекла, отразилась русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ"; „онъ былъ какимъ то идоломъ молодыхъ людей: его смѣлые, всегда исполненные оригинальности, поступки и случай жизни заучивались ими и повторялись, разумѣется, какъ обыкновенно бываетъ, съ прибавленіями и варіантами. Стихи учились наизусть; армейскіе и штатскіе и кстати и некстати почитали обязанностью проговорить и исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки изъ его поэмъ. И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородныя чувства, несмотря на то, что старики и богомольныя тетушки старались увѣрить, что они разсѣиваютъ вольнодумство, потому только, что смѣлое благородство мыслей и выраженія и отвага души были слишкомъ противоположны ихъ бездѣйственной вялой жизни, почти безполезной и для нихъ и для государства. Онъ при самомъ началѣ своемъ (былъ) національненъ".

Объ архитектурѣ нынѣшняго времени. Хотя Гоголь отнесъ эту статью къ 1831 г., на самомъ дѣлѣ она была написана не раньше второй половины 1833 г. и обработана въ 1834. А. П. Брюловъ началъ строить Лютеранскую кирку въ 1833 г.

Ал-Мамунъ. Лекція, прочтенная Гоголемъ въ октябрѣ 1834 г., въ присутствіи Пушкина и Жуковскаго. Гоголь подготовилъ ее заранѣе, внѣ связи съ курсомъ, для своихъ пріятелей-литераторовъ, которые заявили ему о своемъ желаніи пріѣхать къ нему на лекціи. Передъ тѣмъ они явились въ университетъ, но Гоголь не пришелъ на лекцію — вѣроятно, чувствуя себя недостаточно подготовленнымъ. Цитированный уже выше Иваницкій такъ разсказываетъ о дальнѣйшихъ лекціяхъ Гоголя послѣ вступительной („Отеч. Записки", 1853, II, 120; Шенрокъ, II, 237—238, 382—383):

„Гоголь пріѣхалъ довольно поздно и началъ лекцію фразой: „Азія была какимъ то народовержущимъ вулканомъ". Потомъ поговорилъ немного о великомъ переселеніи народовъ, но такъ вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не вѣрили сами себѣ. тотъ ли это Гоголь, который на прошлой недѣлѣ прочелъ такую блистательную лекцію. Наконецъ, указавъ намъ на кое-какіе курсы, гдѣ мы можемъ прочесть объ этомъ предметѣ, онъ раскланялся и уѣхалъ. Вся лекція продолжалась 20 минутъ. Слѣдующія лекціи были въ томъ же родѣ, такъ что мы совершенно, наконецъ, охладѣли къ Гоголю, и аудиторія его все больше и больше пустѣла. Но вотъ однажды — это было въ октябрѣ — ходимъ мы по сборной залѣ и ждемъ Гоголя. Вдругъ

входятъ Пушкинъ и Жуковскій. Отъ швейцара, конечно, они ужъ знали, что Гоголь еще не пріѣхалъ, и потому, обратясь къ намъ, спросили только, въ которой аудиторіи будетъ читать Гоголь. Мы указали на аудиторію. Пушкинъ и Жуковскій заглянули въ нее, но не вошли, а остались въ сборной залѣ. Черезъ четверть часа пріѣхалъ Гоголь, и мы, вслѣдъ за тремя поэтами, вошли въ аудиторію, сѣли по мѣстамъ. Гоголь взошелъ на каѳедру и, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого, началъ читать взглядъ на исторію аравитянъ. Лекція была блестящая, въ такомъ же родѣ, какъ и первая. Она вся изъ слова въ слово напечатана въ „Арабескахъ“ [1]. Видно, что Гоголь зналъ заранѣе о намѣреніи поэтовъ пріѣхать къ нему на лекцію, и потому приготовлялся угостить ихъ поэтически. Послѣ лекціи Пушкинъ заговорилъ о чемъ то съ Гоголемъ, но я слышалъ одно только: „увлекательно!“ Всѣ слѣдующія лекціи Гоголя были очень сухи и скучны; ни одно событіе, ни одно лицо историческое не вызвало его на бесѣду живую и одушевленную... Какими то сонными глазами смотрѣлъ онъ на прошедшіе вѣка и отжившія племена. Безъ сомнѣнія, ему самому было скучно, и онъ видѣлъ, что скучно и его слушателямъ. Бывало, пріѣдетъ, поговоритъ съ полчаса съ каѳедры, уѣдетъ, да ужъ и не показывается цѣлую недѣлю, а иногда и двѣ. Потомъ опять пріѣдетъ, и опять та же исторія. Такъ прошло время до мая“.

Жизнь. Хотя Гоголь датировалъ эту статью 1832 г., но, по изслѣдованіямъ Тихонравова (т. V, стр. 589), она написана въ 1834 г.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ. Датирована 1832 г., но написана, повидимому, позднѣе.

Невскій проспектъ. Написанъ въ концѣ 1833 или началѣ 1834 г. Въ концѣ октября или началѣ ноября 1834 г. Пушкинъ прочелъ „Невскій проспектъ“ въ рукописи и писалъ Гоголю: „прочелъ съ большимъ удовольствіемъ. Кажется, все можетъ быть пропущено. Сѣкуцію жаль выпустить: она, мнѣ кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось, Богъ вынесетъ! Съ Богомъ!“ (Соч. Пушкина, изд. Т-ва „Просвѣщеніе“, т. V, стр. 377. Ошибочно отнесено къ 1835 году.) Въ „Современникѣ“ (1836, I, 312) Пушкинъ назвалъ „Невскій проспектъ“ „самымъ полнымъ изъ произведеній“ Гоголя.

Въ рукописи сцена сѣченія была передана такъ:

„Еслибы Пироговъ былъ въ полной формѣ, то, вѣро-

[1] „Ал-Мамунъ“.

ятно (навѣрное), почтеніе къ его чину и званію остановило бы буйныхъ тевтоновъ, но онъ прибылъ совершенно, какъ частный, приватный человѣкъ — въ сюртучкѣ и безъ эполетъ. Нѣмцы съ величайшимъ неистовствомъ сорвали съ него все платье; Гофманъ всей тяжестью своей сѣлъ ему на ноги, Кунцъ схватилъ за голову, а Шиллеръ схватилъ въ руку пукъ прутьевъ, служившихъ метлою. Я долженъ съ прискорбіемъ признаться, что поручикъ Пироговъ былъ очень больно высѣченъ".

О малороссійскихъ пѣсняхъ. Напечатано въ „Журн. Мин. Нар. Просв." (1834, IV, 16—26). По мнѣнію Тихонравова (т. V, 601—602), написано въ мартѣ 1834 г.

Мысли о географіи. Напечатана въ „Литературной Газетѣ" 1831 г. стр. 4—71, съ подписью Г. Яновъ и подъ заглавіемъ: „Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи". При статьѣ выноска: „просимъ читателей смотрѣть на предложенную здѣсь статью, какъ на одно только начало. Автору, который совершенно посвятилъ себя юнымъ питомцамъ своимъ, болѣе всего желательно знать о семъ предметѣ мнѣніе ученыхъ нашихъ преподавателей. Въ послѣдующихъ за симъ мысляхъ читатели встрѣтятъ, можетъ быть, болѣе новаго, болѣе относящагося къ облегченію науки и приведенію оной въ ясность и понятность для дѣтей".

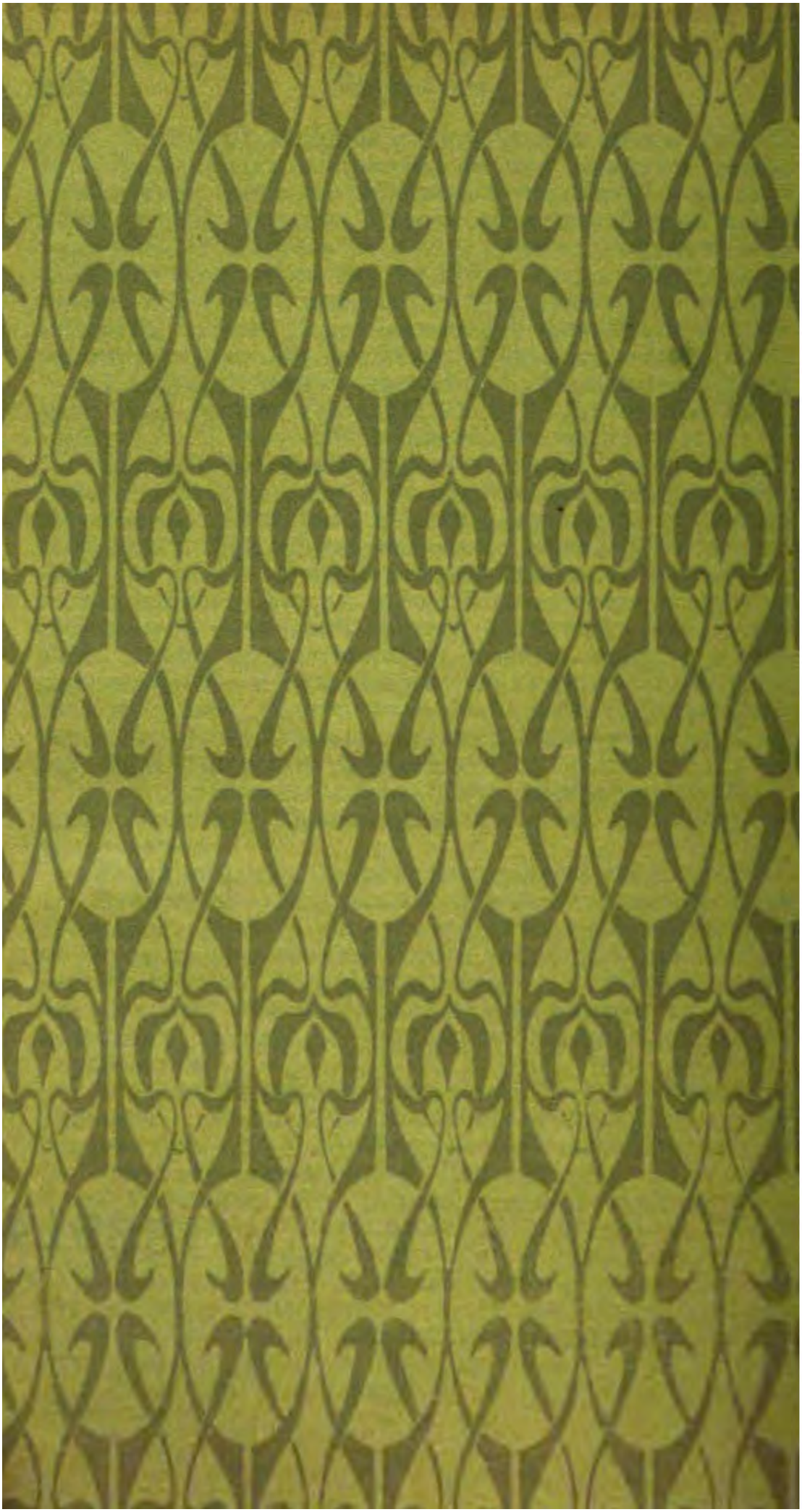
Для „Арабесокъ" статья была переработана кореннымъ образомъ. Поставленная Гоголемъ дата (1829 г.) фантастична.

Послѣдній день Помпеи. Написана въ августѣ 1834 г.

Плѣнникъ. Обыкновенно считается главою романа „Гетманъ" (1830 г.), хотя это предположеніе ни на чемъ не основано (примѣчаніе Гоголя къ „Главѣ изъ историческаго романа" къ этому отрывку не относится, потому что говоритъ о произведеніи, напечатанномъ въ періодическомъ изданіи, а „Плѣнникъ" появился только въ „Арабескахъ").

О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка. Вѣроятно, университетская лекція Гоголя, прочтенная въ сентябрѣ или октябрѣ 1834 г. и обработанная для печати.

Записки сумасшедшаго. Первоначально были задуманы Гоголемъ, какъ „Записки сумасшедшаго музыканта" (вѣроятно, подъ вліяніемъ повѣстей кн. В. Ѳ. Одоевскаго, которыми тогда Гоголь увлекался). Въ „Арабескахъ" при этой статьѣ подзаголовокъ: „Клочки изъ записокъ сумасшедшаго". По требованію цензуры многія мѣста были исключены (возстановлены Тихонравовымъ и вошли въ наше изданіе).

„Душеньки часокъ не видя" — стих. Николева. Соч., V, 200—203.

783514